

КОНТИНЕНТ 7

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



«По Москве ходило огромное количество как всегда противоречивых слухов. Через неделю в «Москов-

ском комсомольце» напечатали статью «Кто сильнее, лев или тигр?», но речь там шла только об Азии и Африке».

Анатолий Гладили

«Имя Сахарова приобрело всемирную известность 8 лет назад. За эти годы Сахаров, подвергающийся непре-



преследованиям, стал одним из важнейших символов духа свободы и разума...»

Лешек Колаковский

«Наши «присяжные», как говорится, для мебели. Приговор вынесен без их участия, — их информируют, не приводя доказательств и обходясь не только без адвокатов, но даже и без обвиняемого».

«Писать в России — это героизм. Писать — это почти приближаться к святости. Когда Солженицын нам рассказывает о том, что он пережил на дне дантовского ада, мы чувствуем, что здесь не только литература, но сама истина».

Эжен Ионеско



«Молчание Анны Ахматовой, о котором часто упоминают западные исследователи, никогда не было молчанием в самом деле. Оно всегда было словом, хотя порой беззвучным, речью, хотя порою и безгласной».



Лидия Чуковская



«Спасти наше общество может только преодоление страха».

Ефим Эткинд

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Евгений Терновский
Заведующая редакцией: Наталья Горбаневская

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу
Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Вольф Зидлер · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Михайло Михайлов · Людек Пахман · Андрей Сахаров
Игнацио Силоне · Странник · Иозеф Чапский
Зинаида Шаховская · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Игорь Голомшток Igor Golomshtok, 47 Oakthorpe Road, Oxford OX2 7BD, Great Britain
Израиль	Михаил Агурский Michael Agurski, Mevaseret Zion 26a, Merkaz Klita, Israel
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N.W. Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

7

Издательство «Континент»
1976

Анатолий Г л а д и л и н

ТИГР ПЕРЕХОДИТ УЛИЦУ

Рассказ

Теперь он стал начальником отдела, приказ подписан, все, точка, и что бы они там еще ни чирикали, приказ подписан, а если подписан, значит это все давно согласовано и утверждено. Завтра он впервые, не торопясь, пройдет в кабинет, в тот кабинет, и скажет Танечке, чтобы она никого не пускала, а потом нажмет кнопку звонка и будет по очереди вызывать Тимошкина, Топоркова и всех прочих отделских интеллектуалов. «Ну, — скажет он, пристально глядя на каждого, — какие предложения, что вы там задумали?» И сотрудники будут нервно подергивать плечами и отводить глаза. И не потому, что они в чем-то уже успели провиниться. И не потому, что он стал начальником. Просто у него тяжелый взгляд, его трудно выдержать, это он сам знает. Даже в метро, если он на кого-нибудь посмотрит, человек отворачивается. Это еще со школы, с детской игры в гляделки. Он и тогда был чемпионом. Даже Эдик Иванов, и тот смог продержаться всего две минуты.

Он усмехнулся. Так, воспоминания, шалости. А взгляд остался. Жена утверждает, что у него глаза, как у дьявола. «Я поэтому и боюсь тебя обманывать», — говорит она. Льстит, конечно. Льстит, потому что любит, а может, действительно? К чёрту, все, точка, приказ подписан, конечно, не ради его прекрасных глаз, он вообще хороший работник, плюс прежние заслуги, плюс железные нервы. Но все-таки на-

чальник не должен быть размазней. Начальника должны бояться.

Он стоял перед клеткой, в дальнем углу которой спал один тигр, а другой тигр мягко, как кошка, но упрямо, как маятник, ходил от одной стенки к другой.

Вот, то же, — подумал он, — хозяин, тигр, когда выходит из логова, все живое перед ним, впрочем, смешно, конечно, но интересно проверить...

Он сосредоточился и стал следить за тигром. Их глаза встретились, но тигр пока еще ничего не почувствовал, не понял, скользнул пустым взглядом, прошел.

Так повторялось несколько раз. От напряжения он уже не видел зверя — мелькал полосатый черно-желтый шарф. Но вот появились глаза. Тигр остановился. Теперь они смотрели друг на друга.

«Я сильнее тебя, — гипнотизировал его человек, — ты глупая большая безвольная кошка, я могу делать с тобой все, что угодно, я всемогущ».

Тигр зажмурился, зевнул и возобновил маятниковое движение.

Тогда он опустил веки и усмехнулся. Ну, доволен? Можно будет мимоходом сообщить жене, так небрежно, на юморе, что дескать, даже тигр не держивает его взгляд.

Он посмотрел на часы. Ну ладно, хватит заниматься ерундой. Погулял, развеялся, подышал кислородом, порядок. Время идти обедать. А завтра ты другой, и что бы они там ни чирикали, точка, приказ подписан. Ладно, хватит, завтра все серьезно, завтра работа.

Кстати, он действительно не лишен чувства юмора и понимает, что думал тигр, когда он уставился на зверя. «Дескать, тренируйся, крошка, показывай власть, изгаляйся, я же в клетке, за железными

прутьями. Вот попадись ты мне в джунглях, на рассвете. Я бы тогда заглянул в твои черные очи». Вот так, наверно, думал тигр. Если он вообще способен думать.

Спустились сумерки, и в зоопарке стало тихо, и только откуда-то со стороны доносились резкие отрывистые шумы. С наступлением темноты все звери ложились спать, и только тигр все ходил, ступая мягко, как кошка, но упорно, как маятник, от стены к стене.

Днем все было в порядке, днем все было привычно и согласно режиму. Сначала служители убрали клетку, потом приносили еду. Потом приводили людей, приводили специально для него (ну, конечно, не только для него одного, манией величия, слава Богу, он не страдал). Люди своими глупыми, лишенными всякой шерсти лицами, развлекали обитателей зоопарка, развлекали честно, стараясь громким разговором, смехом, воплями привлечь к себе внимание. Если им это не удавалось, они отходили грустными и разочарованными. Зато когда он показывал, что, дескать, заметил людей, восторгу их, особенно маленьких, не было предела. Иногда они пытались установить более близкий контакт, просовывали сквозь прутья палки или ветки. Но этих быстро отгоняли служители. За людьми строго следили и не разрешали резвиться. Бедные, что они получали за свое дежурство около клеток? Перепадал ли им кусок мяса или хотя бы мозговая косточка? Иногда среди людей попадались комики, вроде сегодняшнего идиота, который устоял на него и замер. Тигру тогда стало так смешно, что он даже зажмурился. Нет, днем было интересно, и время летело незаметно.

Но эти долгие тоскливые вечера! Почему-то приходило меланхолическое настроение, и мелькали смутные воспоминания чего-то непережитого, неясного, непонятного. Мечта о другой жизни? Но какой? Од-

нажды в соседнюю клетку поселили какого-то ободранного новичка, так этот придурок все время бормотал о каких-то джунглях, где живому тигру надо целые дни бегать, искать пищу, и где никто тигра не охраняет, никто его не развлекает, не заботится о нем, не показывает новых людей. Когда он слушал этот детский лепет, так у него даже шерсть становилась дыбом. Случаются же такие ужасы на свете!

Тигр понимал, что ему дико повезло — с самого рождения на всем готовом, жизнь без всяких забот, — и не хотел ничего другого. Вот разве что вечером... И то немного, ну хотя бы пройтись по аллеям, посмотреть на соседей. Вряд ли бы кто-нибудь его стал обижать. Он же никому зла не делал. А может, еще раз посетить город? Городом люди называли все то, что окружало зоопарк. Клетки, в которых жили люди, назывались домами, а аллеи между домами — улицами. Тигра один раз возили по городу. Правда, тогда впечатление о городе сложилось самое отвратительное. Шум! Суeta! И запах! Точнее, просто воняло чем-то неестественным и противным. И потом эти стада ревущих, фырчащих животных, которые носились друг за другом по аллеям. Кстати, на одном из них везли и самого тигра. Ничего, зверь вел себя мирно и не тронул тигра, хотя тигр взгромоздился ему на спину. Поэтому тигр надеялся, что если он будет осторожен, то его эти звери не тронут. А в город тигру хотелось. Может, все-таки ему повезет, и он отыщет уголок поукромнее, где не будет так скверно пахнуть и удастся спокойно попрыгать. Слишком уж скучны и однообразны вечера в зоопарке.

Он взглянул в угол. Вот ОНА, его законная. Дрыхла целый день и опять дремлет! Что и говорить, его семейной жизни не позавидуешь. Он достался первой же попавшейся тигрице, которая была гораздо старше его, ленива, нелюбопытна и очень редко к себе подпускала. То и дело она ставила ему в пример ка-

кого-то Багира, с которым жила до него. И может, у нее был не только Багир. Тигрицы, они коварны, никогда не узнаешь, о чем они думают. И детей она не хотела. Дескать, и так тесно. А завести тигрят было бы неплохо. Он бы играл с малышами.

Он еще раз взглянул в угол. Конечно, одним глазом она наблюдает за ним. Знает, что он скоро будет топтаться около нее и робко повизгивать.

Впрочем, ее можно понять. Когда нет других интересов, единственное развлечение — показывать свою власть над ближним.

Он отвернулся и вдруг неожиданно ударил лапой по дверце. Ударил просто так, от досады на самого себя, оттого, что ему никогда не хватало силы воли хоть однажды показать характер и демонстративно пойти в свой холостяцкий угол, ни разу не взглянув на тигрицу. Но тут что-то треснуло, и дверца распахнулась.

Обычно дверца никогда не открывалась. Служители тщательно ее запирали. Иначе в клетку мог проникнуть кто-нибудь посторонний, унести мясо, разворошить соломенную подстилку, или, что еще хуже, пристать к тигрице со всякими глупостями.

Но может, не было бы счастья, да несчастье помогло? Теперь у него появилась возможность прогуляться по аллеям.

Он остановился в нерешительности. Сзади тигрица подала голос:

— Доигрался? Допрыгался? Теперь жди беды. А я тут ни при чем.

Это было очень на нее похоже. В беде оставлять его одного. Что ж, чем хуже, тем лучше. Он прыгнул через барьер и неслышно приземлился на песок.

Теперь тигрица вскочила на лапы. Теперь она забегала.

— Куда? На поиски приключений? Смотри, обдерут тебе шкуру. Потом не приходи ко мне жаловаться.

Она подошла к дверце, высунула голову и про-рычала более нежно:

— Ладно, уж так и быть. Вернись, я все прошу.

Прикидывается добренькой, подумал тигр. Види-те ли, она простит, она разрешит. Будь хоть раз муж-чиной. Ну?

Медленно, оглядываясь, он уходил в глубь аллеи.

Тигрица стояла у дверцы и осуждающе смотрела вслед.

Сначала он надеялся найти себе компаньона. Вместе бы прошвырнулись взад-вперед, чего-нибудь сообразили. Но все звери при его приближении заби-вались в угол и даже повизгивали от страха. При-вычка, подумал тигр, все дисциплинированы, бояться из клетки нос высунуть, бояться ответственности, бояться лишиться обеда.

И только один орел не сдвинулся с места, а толь-ко помахал своими короткими обрезанными крыль-ями. Вот, подумал тигр, встретил одного смельчака, да и тот инвалид.

А буйвол, известный ябеда и провокатор, при приближении тигра поднял такой истошный рев, что пришлось срочно свернуть с аллеи и бежать куда гла-за глядят. А что оставалось делать? Придут служи-тели, поймают, доложат директору зоопарка, и утром жди неприятностей.

Возвращаться на аллею было опасно. Встревожен-ные шумом, по ней могли ходить служители.

Тигр увидел дыру в заборе и пролез туда. Отси-жусь здесь, подумал он, пускай там все успокоятся.

Он осмотрелся. С трех сторон его окружали стены дома. Сзади был забор.

Маленькая собачонка с лаем выскочила из какой-то щели и вдруг, мгновенно смолкнув, с невероятной скоростью исчезла в воротах, через которые была видна улица. Там было светло, мелькали фигуры

людей, и с ревом пробегали огромные животные с горящими глазами. Тигр подошел поближе к воротам. Мысль его работала быстро и четко: «Все меня знают, в обиду не дадут, а мне интересно, что делают люди, когда не ходят в зоопарк развлекать меня. Где их кормят? Чем их кормят? Как они проводят вечера? Ну, решайся, пан или пропал».

Он вышел на улицу, прижался к стене. Первый зверь пробежал мимо и не тронул. Потом сразу несколько, взревев, пронеслись друг за другом. На тигра ноль внимания. Но, Боже, какой отвратительный запах! У тигра закружилась голова и подогнулись колени.

Прошел человек. Человек шел тихо, смотря прямо перед собой, а в руке нес какой-то сверток, от которого пахло привычным родным мясом. Пойду за ним, решил тигр, все-таки сверток, если держаться к нему близко, несколько отбивает вонь улицы.

* * *

Конечно, у Ивана Николаевича, как и у каждого человека, есть свои слабости, кто спорит, он не любит, когда в классе открыта форточка, или там громко смеются, ну, смейтесь на здоровье, но в коридоре, во время перемены, но не на занятиях, ясно, не тогда, когда Иван Николаевич делает неправильное ударение, произнося процент, доцент и портфель. Иван Николаевич уже пожилой человек, и надо уважать его возраст и его привычки. Ясно? Иван Николаевич любит, чтобы в классе стояла тишина, чтоб муху было слышно, ясно, чтоб не задавали лишних провокационных вопросов, история есть история, что в учебнике написано — закон, и нечего показывать свою образованность, я доходчиво объясняю? И по коридору положено ходить парами, а не носиться вперегонки, стыдно, молодые люди, перешли в десятый класс, солидности

никакой. И Иван Николаевич правильно сделал, что вызвал в школу родителей Владимирова и Мальцевой — рано им еще по кино ходить на вечерние сеансы и целоваться в темноте. Иван Николаевич все видел, специально сзади сидел. Он отвечает за своих учеников. Знаем, сначала кино, поцелуи, а потом девушка идет на аборт, или там ребенок внебрачный рождается, из РОНО звонок, учителю неприятность. Так что Иван Николаевич вовремя пресек, вовремя сигнализировал. И вместо благодарности... Раньше молодежь уважала стариков. А теперь? Каждый говорит, что хочет, думает, что хочет, а отношение к нему, Ивану Николаевичу? Это же не люди, это же форменные звери! Ну, то, что он всегда находит кнопку на стуле, это привычно. Но недавно он получил письмо из Америки от президента Джонсона. Президент сообщил, что удовлетворил ходатайство двоюродного брата Ивана Николаевича и приглашает самого Ивана Николаевича в Америку. С Иваном Николаевичем чуть инфаркт не случился. Он всегда гордился, что у него нет родственников за границей, и вдруг объявился братец. Он понес письмо куда следует и сказал, что никакого брата у него нет, а если есть, то Иван Николаевич его никогда не признает. Но там, куда он понес письмо, только посмеялись. Оказывается, конверт был поддельный, и штампы самодельные, и за президента расписался кто-то из учеников Ивана Николаевича. Но где это видано так разыгрывать старого больного человека! Дома к телефону он боится подойти. Все время звонки. Соседи подозрительно на него косятся. Женские голоса назначают свидания под часами. Это все происки Мальцевой, и весь класс с ней заодно. Ловят его, подсиживают. Выгнать их всех надо из школы! Он так и сказал директору. А тот, начитался газет, говорит, что на учеников не надо кричать, надо с ними работать, убеждать. Убедите их, бандитов. В любую минуту могут тебе подстроить такую каверзу...

Иван Николаевич оглянулся, и внутри у него все оборвалось. Как чувствовал. Ужас! Это же надо додуматься. Живого тигра достали! Вот он, образина, топает сзади. А сами, наверно, крадутся по другой стороне, выжидают, когда Иван Николаевич бросится бежать или позовет на помощь. То-то завтра смеху будет в школе. Но на этот раз, голубчики, у вас ничего не выйдет. Иван Николаевич знает, что у Владимирова друзья в цирке работают. На этот раз фокус не пройдет, хватит. Но им-то, циркачам, как не стыдно, взрослые люди!

Иван Николаевич остановился и повернулся к тигру. Тигр тоже остановился. Остановилась и толпа, что следовала за ними. Там, наверное, ученички его любимые, прячутся за спинами.

— Иди, голубчик, спокойно, — сказал Иван Николаевич громким мужественным голосом.

— Мама, — крикнул ребенок из толпы, — я же говорил, что он ручной.

Иван Николаевич снова возглавил шествие. «Что, съели?» — ликовал он. Вот только как бы от него отвязаться. В магазин заскочить, что ли? Тигр-то дрессированный, но чёрт знает, что ему в голову взбредет.

Все получилось лучше, чем он предполагал. Люди плотно обступили его и не подпускали к нему рычащих зверей, что бегали по середине улицы. Тигр обратил внимание, что у большинства зверей четыре глаза. Два больших — спереди, два маленьких — сзади. Некоторые звери останавливались, и люди сами покорно лезли к ним в пасть, которая находилась у зверей сбоку. Но тигр заметил, что эти же звери выплевывали людей, живых и невредимых, и те, как ни в чем не бывало, топали по улице. Надо было только держаться края улицы, ибо на тех смельчаков, что пытались перебегать ее, звери рычали и визжали, и тогда люди быстро улепетывали к домам.

Все шло хорошо, но вдруг человек, за которым он следовал, начал переходить улицу. Тигр замер. Он хотел крикнуть: «Опомнись, безумец, что ты делаешь!» Однако отставать от человека со свертком не хотелось. Положение создавалось безвыходное. Но звери, как по команде, все остановились, человека со свертком никто не трогал, и тигр ступил на мостовую.

Сборище народу? Крики? Наверно, драка. Ну, конечно, как всегда, из службы никого не видно. Вечно уличные происшествия должен расхлебывать ОРУД. Его дело следить за транспортом. Но попробуй, усиди тут. Мордобой, наверное, страшный. С чего бы? День полочки?

Инспектор Говоров переключил светофор на «мигалку» и вылез из стакана. Но не успел он сделать несколько шагов по направлению к месту происшествия, как из толпы вышел тигр и остановился у перехода.

За пять лет работы у инспектора Говорова не было ни одного взыскания. Он был на хорошем счету у начальства и уверенно шел на повышение. Капитан Максимов как-то сказал на собрании, что Говоров — исполнительный и толковый сотрудник, который мигом разберется в любой сложной ситуации, а капитан Максимов слов на ветер не бросал.

Понятно, подумал инспектор Говоров, скоро увидим что-нибудь вроде «Полосатого рейса». А кто будет в главной женской роли? Только бы не Гурченко. Зачем ее вообще снимают? И не красивая совсем, и голоса нет, одни лишь «хи-хи» да «ха-ха», да есть сигналы, что в личной жизни морально неустойчива... Лучше бы на роль укротительницы взяли бы Жанну Прохоренко. Скромная девушка и хорошо смотрится. И не важно, что с цирком раньше не работала. Вот тигр какой смирный. Куда его ведут? Наверно, на объект. Жаль, что не здесь съемки. А вдруг все-таки

будут снимать, и он, инспектор Говоров, попадет в кадр? Нет, тогда бы предупредили заранее. Ладно, милиция всегда на своем посту.

Инспектор Говоров вышел на середину перекрестка, поднял руку, и сразу все такси и частники, словно споткнувшись, замерли.

— Смотрите! — пискнула девушка и схватила шофера за рукав куртки, — тигр переходит улицу!

Шофер, старый московский таксист, сначала бросил взгляд на пассажирку, потом на перекресток, потом неторопливо высвободил руку, опустил боковое стекло и сплюнул на мостовую.

— Первым делом, барышня, шофера нельзя за руку хватать. Хорошо, что стоим. А если б, к примеру, на скорости шли? Врезал бы мне грузовик, и ремонтируй машину за счет профсоюза. А таксиста колеса кормят. Да, барышня, нам не позавидуешь. Поворот на красный отменили, холостой пробег уменьшили, да еще тигров на улицу выпускают. Все нас ловить пытаются. Реакцию проверяют. Чуть зазеваешься, и сразу дырка в талоне.

— Петя! Тигр переходит улицу!

— Где? Этот? Тьфу. Нашел чем удивить! Вот, слушай, как только Сидор Петрович объявил о сокращении, у нас в отделе такой зоопарк начался...

— Тигр! Тигр на переходе!

— Так. Ясное дело. Иностранец. Наших-то, небось, в клетке держат, а этому за валюту гулять разрешают.

— Мама, я хочу такого, полосатого. Купи!

— Вовочка, нет у меня сейчас денег.

— Купи! Мама, купи! Ты же обещала! Я два дня съедаю всю манную кашу.

— Вовочка, ну посмотри. Он помятый, облезлый. Мы лучше завтра зайдём в «Детский мир» и купим новенького, блестящего и с голубым бантиком.

За человеком со свертком он вошёл в теплую, очень светлую клетку, где было так много народу, что тигр испугался, как бы ему не отдавили лапы. Но зато удивительные, приятные и разнообразные запахи, можно сказать, прямо ударили ему в нос. Он даже облизнулся от удовольствия.

Женщина, которая шла прямо на него, смотря куда-то в сторону, вскрикнула и уронила сумку на пол. Раздался звон, и белая жидкость потекла к лапам тигра.

Жидкость оказалась вкусной и напоминала что-то далекое, детское.

— Безобразие! — вопила женщина. — Стиляги проклятые! Мало им, что кошек и собак за собой таскают! Тигров в магазины приводят! Я за молоком очередь отстояла. У, образина, жрет и не давится.

Женщина наступала. Он почуял недоброе и подался назад. Но где дверца из клетки? Он побежал, люди расступались, давая ему проход. Перед ним был барьер. Он хотел его перепрыгнуть, стал на задние лапы. За барьером лежали куски сочного мяса. И ещё он увидел лицо человека в белом халате. Прямо на глазах тигра лицо сделалось мокрым. По нему текли капли воды. Нижняя губа у человека дергалась.

— Давай, киса, — вдруг сказал человек хриплым шепотом, — лезь!

И отступил в сторону. Тигр перемахнул через барьер, стукнувшись о стену. Но боль тут же забылась, потому что первый же кусок мяса оказался просто прекрасным. Он и не подозревал, что такое бывает.

— С ума сошел, Вася? — зашептал, заикаясь, другой человек в белом халате.

— Тащи побольше, дура, — ответил первый, — потом на него спишем, понял? И будет порядок.

Второй человек понял, и перед тигром шлепнулось сразу несколько кусков.

— Кушай, киса, не стесняйся, — шептал первый.

А второй, понятливый, громко и уверенно покрикивал на столпившихся за барьером людей.

— Ну чего стоите? Не видите, что ли? Отдел закрыт на учет.

— Что происходит?

— Смотри, Валька, кино снимают.

— Привет, какое кино? А где прожектора?

— Скрытой камерой работают. Сейчас это модно.

— Научились у итальянцев. А в белых халатах с какой киностудии?

— Да не артист он, сынок. Продавец он. Я давно его знаю.

— Значит, массовка. По три рубля за день. Неореализм.

— За три рубля такого страха натерпеться?? Смотри, как тигра урчит.

— Да это не тигр. Просто хмырь какой-то переоделся.

— Ну да, переоделся! Подойди поближе, посмотри. Ишь как зубами щелкает.

— А ему, бабушка, по десять рублей в день платят. За десять рублей я бы еще лучше щелкал.

— Возможно, они делают методом блуждающей маски...

— Какая маска? Гляди, как прыгнул! И побег, побег на улицу. Тут любую маску надень, а так не прыгнешь.

— Так парень циркач, второй Брумель.

— А куда он побёг?

— Ясно куда, переодеваться. Да будь это настоящий тигр, он бы дал шороху.

— Да, была бы потеха.

— Вот так, походишь по магазинам, насмотришься...

— Это еще что! Вчера в овощном продавщица молодая, нахальная, взяла чек и говорит: «какой чек?» Я, говорит, вашего чека в глаза не видала.

Почему он убежал? И не потому, что его смутила необычная обстановка, сильное освещение, гудящая людская толпа за барьером. И не потому, что неожиданный поздний ужин как-то выпадал из привычного режима дня, и организм больше не принимал пищи. И не потому, что он вдруг вспомнил о тигрице и об открытой дверце и испугался, дескать, кто-либо войдет, обидит. А убежал он потому, что инстинктивно почуял: слишком много дармового мяса — это не к добру.

Сверху что-то загремело, — гигантская вспышка осветила площадь. Серая стена надвигалась на него, казалось, шел обвал, еще мгновение — и потоки воды прижали тигра к мостовой. Он присел и зажмурился.

Когда ливень чуть стих и тигр открыл глаза, он увидел, что налетевший шквал смыл всех людей, и только он каким-то чудом уцелел, да еще четырехглазые звери осторожно скользили по середине улицы.

Промокший до костей, озябший, тигр медленно побрел вдоль домов, пытаясь найти укрытие.

А пьяный все лез и лез, настырный какой, и тогда Павлович запер дверь и отвернулся. Что с ним говорить? Все равно не поймет. Правда, в кафе, которое наполнилось почти мгновенно, как только начался ливень, нашлось бы еще одно место, но Павлович наметанным взглядом определил, что пьяный — шантрапа, плана с него не будет. А пустишь, еще скандал затеет, а отвечать кому? Опять же...

В дверь застучали. Пьяный прилип к стеклу.

— Хошь милицию вызову? Хошь протокол схлопотать? — спросил Павлович, чуть приоткрыв дверь.

— Папаша, будь человеком, — попросил пьяный.

— Вот и ты будь сознательным. Ступай спать, протрезвись. Сказал не пушу, и конец. Привет родным.

— Конечно, чем меньше человек, тем больше власть хочет показать, — заметил язвительно пьяный.

— Большой какой выискался, начальник! Да я таких начальников за шиворот таскал! — рассвирепел Павлович, хотя в обычной жизни был весьма смирным и унижался даже перед буфетчицей.

Пьяный пытался просунуть ногу, но Павлович опередил его и захлопнул дверь. Пьяный достал рубль и показал его Павловичу.

— И не проси, и не буду, — сказал Павлович, понимая, что его слов пьяный все равно не услышит. — Купить меня вздумал, начальник, мать твою.

Павлович вошел в вестибюль и собрался было пройти в туалет, как в дверь застучали так сильно, что Павлович испугался за стекло.

Он подбежал, но пьяного уже не было видно. Спрятался, наверное. Ну, появишься только, подумал Павлович, я тут же дам свисток, и схлопочешь ты суток пять, ишь какой, рублем размахивает, да я эти рубли...

Вдруг сбоку в стекло заглянула страшная полосатая морда. Павлович сначала оторопел, а потом погрозил кулаком.

— Я тебе прикинусь. Ишь как рожу разрисовал, я тебе такого тигра покажу. Обмануть вздумал?

Полосатая морда исчезла.

— Вот так, — сказал Павлович, — ученый нашелся. Хотел взять меня «на понял». Если Павлович сказал не пушу, все, конец. И привет родным.

Лейтенант не успел поднести трубку к уху, как услышал отчаянный вопль:

— Тигр, тигр стоит около будки! Тигр, живой тигр!

— Что? — спросил лейтенант.

— Тигр! — визжал голос из трубки. — Я дверь держу, а он стоит, зубами щелкает.

— Послушайте, гражданин, — устало сказал лейтенант, — если уж пьете, так закусывать надо побольше. И потом, поймите, в милиции тоже люди работают.

Он положил трубку. Старшина вопросительно смотрел на него.

— Ничего особенного, — сказал лейтенант, — просто один решил повеселиться.

* * *

— Дежурный по городу Леонов.

— Леонов? Говорит капитан Чесноков. Я следую на патрульной машине за тигром. Тигр идет по Садовому кольцу в направлении площади Маяковского.

— Тигр? Что он там делает?

— Что делает? Погулять, наверно, вышел. Спросить у него?

— Ладно, Чесноков, ты эти хохмочки оставь. Высылаю людей.

Не оборачиваясь, он почувствовал, что за ним следят. Он остановился. И тот зверь тоже остановился. Он побежал. А зверь не отставал. Он понесся прыжками, а зверь продолжал преследование, держась от него слева и чуть сзади.

Тигр увидел освещенную широкую дыру, и инстинкт, древний спасительный инстинкт подсказал ему правильное решение.

Он оказался в узком коридоре, где было сухо и светло. Только бы в другом конце нашелся выход,

подумал тигр, иначе мне крышка. Но в другом конце коридора показался человек. Значит выход был. Тигр бросился к выходу. В последнее мгновение мелькнула мысль: «Вдруг человек его остановит?» Но человек тихо сел на пол, а тигр проскочил мимо него, а потом вверх по ступенькам и выпрыгнул снова на эту же улицу, но с другой стороны. И дальше тигр, словно умудренный опытом предков, уходящих от погони, повернул обратно.

Он неся прыжками по улице, и ливень по-прежнему хлестал мостовую, и люди все куда-то попрятались, а, может, их всех тогда смыло потоками воды, и он обгонял четырехглазых зверей, бегущих слева от него, но это были звери мирные, и он это чувствовал, а потом почувствовал, что его нагоняет тот, агрессивный зверь, и тогда тигр свернул направо, и дальше он уже знал, куда бежать, он знал, что скоро появятся те ворота, из которых он впервые вышел в город.

Надо было пересечь улицу, и он, не раздумывая, перепрыгнул ее в два прыжка, прямо перед носом у маленького зверя, который от неожиданности взвизгнул, резко свернул вправо и даже попытался влезть на столб.

Его преследователь нагонял его, воя яростно и зло. Но тигр свернул в знакомые ворота и проскочил в щель, и дальше он бежал, безошибочно находя кратчайший путь к родной клетке, но бежал уже не так быстро, понимая, что в эту щель преследователю не пролезть, не те размеры.

Дверца все еще была открыта, тигрица ходила из угла в угол, и когда тигр совершил свой последний прыжок и оказался в клетке, она подошла к нему и больно ударила лапой.

Потом она закатила форменную истерику. Она высказала все, что думала про него: молокосос,

развратник, шляется Бог знает где, а она тут одна, нервничает, волнуется, а ему, конечно, наплевать.

А он молча забился в угол и все еще дрожал, каждую минуту ожидая услышать вой и фырканье агрессивного зверя. Но потом он понял, что зверь его потерял. И он успокоился.

А тигрица еще долго и нудно ворчала. Потом, правда, она была добра к нему.

* * *

Зав. отделом информации отодвинул листок.

— Не пойдет. Вот помнишь, Петя, у нас однажды прошла заметка? Всего тридцать строк. Пионер из шестого класса собрал у себя дома летательную машину, точно такую же, как Леонардо да Винчи пять веков тому назад. Вот это был ударный материал! Автору триста рублей старыми деньгами выписали. На доске почета висел. Шеф на летучке отмечал. А ты лезешь с ерундой. Подумаешь, тигр гулял по улицам. Нашел, чем удивить. Ищешь дешевые сенсации? А выговоров с занесением ты еще не зарабатывал?

По Москве ходило огромное количество как всегда противоречивых слухов. Через неделю в «Московском комсомольце» напечатали статью «Кто сильнее, лев или тигр?», но речь там шла только об Азии и Африке.

На Западе все крупные газеты на следующий день вышли с огромными заголовками на первых полосах: «Тигр идет по Москве», «Тигр-людоед», «Москва в панике», «Тигр пожирает девушку» и т.п.

Солидная «Таймс» сухо информировала, что количество жертв насчитывается до 59 человек, съеденных или искалеченных. От каких-либо комментариев «Таймс» отказывалась.

«Нью-Йорк пост» напечатала фотографию тигра, сидящего у входа в Политехнический музей.

Несколько ультраправых газет поместили подробный отчет своих московских корреспондентов. Автор одной из статей намекал, что, дескать, происшествие неслучайно, и, дескать, это своеобразный протест животных против новой экономической реформы.

В Москве в районных отделениях милиции зачитывался приказ начальника управления о повышении бдительности.

Капитану Чеснокову вынесли благодарность с занесением в личное дело.

Инспектора Говорова уволили из органов.

Директор зоопарка, красный и потный, ерзал в кожаном кресле, а человек с очень тихим голосом продолжал:

— И если так дальше пойдет, и звери, когда им захочется, будут выходить на улицу...

(И вообще, плохо у вас поставлена воспитательная работа — чуть было, по привычке, не добавил человек с очень тихим голосом, но вовремя спохватился.)

Когда тигров снова перевели в старую клетку, там была уже новая дверь, новый замок, а с внешней стороны повешено объявление:

«Ввиду крайней опасности категорически запрещается заходить за барьер».

1965 г.

ГЛАДИЛИН Анатолий Тихонович — родился в Москве в 1935 г. Учился в Литературном институте им. Горького. Автор многочисленных повестей («Хроника времен Виктора Подгурского», «Бригантина поднимает паруса», «Первый день Нового года» и др.). Член ССП. В 1972 году издательство «Пусев» выпустило роман Гладиллина «Прогноз на завтра», не опубликованный в советской прессе.

(Перевод письма Ф. Кригеля А. Д. Сахарову)

Прага, 12 октября 1975 г.

*Секретарю Комитета по Нобелевским
премиям мира — Осло*

Дорогой сэр,

*ввиду того, что адрес профессора Сахарова в
Москве мне неизвестен, я прошу Вас не отка-
зать в любезности и передать профессору Саха-
рову следующее послание:*

*Дорогой Андрей Дмитриевич, примите, по-
жалуйста, мои самые сердечные поздравления с
высокозаслуженной Нобелевской премией мира.
Вы вели и продолжаете вести длительную и
бесстрашную борьбу за политические и основ-
ные права и свободу человека.*

*Я желаю Вам сил и доброго здоровья для
продолжения Вашей борьбы за права человека и
справедливость.*

Сердечно Ваш

Франтишек Кригель

На Сметанце 16, 12000 Прага 2

Иосиф Бродский

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

А. Б.

I

Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады умолкают в траве газонов. Классические цитаты на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно чернеет, словно бутылка, забытая на столе. Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре, звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи, дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне лязгают ножницами. Пот катится по лицу. Фонари в конце улицы, точно пуговицы у расстёгнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце замирает на время, но всё-таки бьётся: кровь, поблуждав по артериям, возвращается к перекрёстку. Тело похоже на свёрнутую в рулон трёхвёрстку, и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду. Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч., превращая их не столько в бежавших прочь, как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от какового еще сильнее выступает пот.

То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь одним — звездою.

Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладёт в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.

II

Как бесщётным жёнам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырёх сторон — хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошёл сквозь строй янычар в зелёном,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с солёным
вкусом этой воды во рту,
я пересёк черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.
Всё погасло. Гудела турбина и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперёд. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчёлки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,

как это делает отродясь
плоская вещь, пылясь.

III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же одиночество. Кожа спины благодарна коже спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на подлокотнике деревянеет. Дубовый лоск покрывает костяшки суставов. Мозг бьётся как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой биллиардной некто вырывает из мрака своё лицо пожилого негра, чиркая спичкой. Белозубая колоннада Окружного Суда, выходящая на бульвар, в ожидании вспышки случайных фар утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара, письма «Кока-Колы». В заросшем саду курзала тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз, не сумевши извлечь из прутьев простой рулады, шебуршит газетой в литье ограды, сооружённой, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружьё, Незвестный Союзный Солдат делается ещё более неизвестным. Траулер трётся ржавой переносицей о бетонный причал. Жужжа, вентилятор хватает горячий воздух США металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след, океан громоздится во тьме, миллионы лет мёртвой зыбью баюкая щепку. И если резко шагнуть с дебаркадера вбок, вовне, будешь долго падать, руки по швам, но не воспоследует всплеска.

IV

Перемена империи связана с гулом слов,
с выделением слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров,
с превращением мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба
дремлет); с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях — суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвётся поведать про

сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,
летающий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.

V

В городках Новой Англии, точно вышедших из приюта,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуёй черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыла сельдь
и треска. Ни треска, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.
Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертёж
в тучи задранных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
горлом. Ночной мотылёк всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессоницы: пробираясь пешком и вплавь,
в полушарьи орла сны содержат дурную явь
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений, далёкий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.
В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

VI

Потому что поздно сказать «прощай»
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как «на-чай»
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
всё, что сорвётся с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить «на кой»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края
опускаются под воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же, почти, что глобус.
То есть, дальше некуда. Дальше — ряд
звёзд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря «бесконечность», в виду всегда
я имел искусство деления литра
без остатка на три при свете звёзд,
а не избыток вёрст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».
Легионы стоят, прислонясь к когортам,
форумы — к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.
Голый паркет — как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII

Только затканый сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав «браво»,

с полу встаёт актёр. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.

Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не шадящую ничего
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слёзы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять-восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, —
пчёлы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движение руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII

Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,

уходит, как от пера — строка,
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и — сказать ли — горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.

Даже то царство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют её пески
тихой песне трески:

«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —
сгустки его. И товар похлеще —
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздаётся слово.
То ли «любить», то ли просто «эй».
Но пока разобрать успеваю, снова
всё сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос».

IX

Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе.
Мысль выходит в определённый момент за рамки
одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечно, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к электрической цапле.

Чу, смотри: Алладин произносит «сезам» — перед ним
 золотая гряда,
 Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
 соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
 лампы дева качает ногой колыбель; нагой
 папуас отбивает одной ногой
 на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
 понимаешь внезапно в постели, что это — брак:
 что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
 тело, с которым давным-давно
 только и общего есть, что дно
 океана и навыв

наготы; но при этом не встать вдвоём. Потому что пока там светло, в твоём полушарии темно. Так сказать, одного светила не хватает для двух заурядных тел, так как глобус так склеен, как Бог хотел. И его не хватило.

X

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай — это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это

вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть «Земля»!

Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остаётся следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,
ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они — слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.

XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
на его лице, у него в уме
ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость костей, уязвимость паха,
тело служит в виду океана цедащей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебра,

человек есть конец самого себя
и вдаётся во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь — по горло.
Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
то есть, слышит собственный голос. Это
развивает связки, но гасит взгляд.
Ибо в чистом времени нет преград,
порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх — в направлении исконно немых губерний.
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.
Спи, как спят только те, кто сделал своё пи-пи.
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
И не спрашивай, если скрипнет дверь,
«Кто там?» — и никогда не верь
отвечающим, кто там.

XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога.
Не отпустишь прохожего без куска.
И дорогу покажешь ему. Дорога
извивается. Рыба уходит прочь.
Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.
(Меж собой две рыбы, что два стакана.)
И всю ночь идут они косяком.
Но живущие около океана
знают, как спать, приглушив в ушах
мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она
просто длинна: бугорки, лощины.
А длинней земли — океан: волна
набегает порой, как на лоб морщины,
на песок. А земли и волны длинней
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:
рай, где есть ангелы, ад, где черти.
Но длинней стократ вереницы той
мысли о жизни и мысль о смерти.
Этой последней длинней в сто раз
мысль о Ничто, но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так — во сне — и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи — смотря, кто спит.
И дверью треска скрипит.

1975

Иржи Г о х м а н

ЧЕШСКИЙ ХЭППЕНИНГ

(Продолжение)

Глава IV

Автобиография и показания
дежурного вахмистра Варголика Б.

(Документ эпохи)

Зовут меня Благодослав Варголик, и родился я по случаю победы Общественного Блага в родильном доме в Праге, на Карлове.

Мой родной отец, хоть и продавал бильярдные кии фирмы «Таусиг», но ночами не развлекался и был при этом трудящимся. Мама развелась с ним позже и заочно, когда он уже находился в Сиди бел Аббес, а она ждала мою сестру Виолу, опекаемая господином Малекон, который надолго остался в нашем семействе.

Чуть позже папа поступил в Иностраннный легион, хотя я тогда уже был против. В то время ростом я был невелик, но характером весьма тверд, так что дома меня звали Блажо, а в окрестностях я пользовался всеобщей любовью, за исключением зубного врача Хорвата, который вырвал мне два зуба прямо во дворе.

По причине малого роста в школу меня взяли на год позже, но зато мне была предоставлена возмож-

См. КОНТИНЕНТ № 6

ность посещать первый класс дважды, чтобы получить солидную основу.

Еще припоминаю, что когда я родился, то наше семейство радовалось надвигающимся событиям, — это мне рассказывала мама, — потому что папа был уже в Сиди бел Аббес. И господин Малек радовался вместе со всеми — он нас тогда еще не знал и не мог себе представить, чем все это кончится.

Девятилетку я закончил в восьмом классе, несмотря на то, что господин учитель Вейвода меня не любил и иногда говорил мне недружелюбно:

— Варголик, экая ты мышь.

Господин учитель Вейвода — как было о нем известно — был против наших порядков и думал, что я доношу на него господину директору, который был на нашей стороне, отчего стал директором он, а не господин учитель Вейвода, так как директором не может быть тот, кто не с нами.

То, что думал обо мне господин учитель Вейвода, было хоть и правдой, но только отчасти. На самом деле господин директор отозвал меня однажды в сторону, чтоб его никто не слышал, и сказал мне:

— Варголик, как комсомолец, ты должен незаметно проследить, придерживается ли Вейвода учебника на уроках истории. У него иногда бывают очень странные идеи.

Я рапортовал потом господину директору, что господин учитель Вейвода во время урока истории учебника не придерживался и почти весь урок придерживался за палку, поскольку, как партизан, он хромал и ходил всегда с палкой.

Господин директор мне тогда сказал:

— Если бы ты не был комсомольцем, Варголик, то я сказал бы, что ты осел.

Это услышала через открытые двери секретарша господина директора, которая, наверное, тоже была против наших порядков, а может быть — против гос-

подина директора, потому что она сразу побежала и наболтала все господину учителю Вейводе, который меня невзлюбил и говорил мне, что ямышь, о чем я уже упоминал.

Когда я учился в ремесленном училище второй год, то у нас в интернате пропали два парика и так как их после личного обыска нашли у меня в шкафу, то меня перевели в контору «Парки и сады». Там я развозил разный материал и тоже кое-что знал, потому что парки не служат лишь для отдыха, но и для разных распутств, которые я, как работник, имел возможность наблюдать.

По этому случаю я познакомился с господином инспектором полиции Капланом, который тоже любил подглядывать и случайно обнаружил, что госпожа Каплан не хранит супружеской верности. Я помогал ему наблюдать за этим делом, мы оба убедились, что она неоднократно попирала супружескую верность, сначала с несовершеннолетним студентом Фулином, который играл на контрабасе у «Ред Хопперс», а потом — с водителем похоронного фургона Кальводой. Господин капитан в долгу не остался и при случае доказал, что тот спекульнул двумя гробами, в результате чего Кальвода схлопотал год тюремного заключения.

Несмотря на то, что я так хорошо зарекомендовал себя в «Парках и садах», меня призвали на военную службу, и я вовремя пришел в армию и приветствовал вступление дружественных войск. Это вступление я приветствовал на кухне в совершенном одиночестве, потому что, кроме меня, его никто не приветствовал, а десятник Марженка даже нагадил в котел, в котором дружественным войскам везли фасоль — у них с собой не было никакой еды.

Хотя я не был против вступления, однако, завербовался в жандармы сразу же, по той причине, что стал получать в два раза больше, чем в «Парках и

садах», а также служебная одёжка была получше, хоть иногда я рисковал жизнью из-за разных ночных элементов.

По чину я сейчас вахмистр, и в Барахолкове мне всё нравится, кроме населения, которое, наверное, против нового порядка. Несмотря на это, подвернись мне удобный случай, я тут же женюсь и создам семью в служебной квартире, в жилом районе Трдань.

Хоть я и хочу жениться, но веду порядочный образ жизни — я непьющий, некурящий и культурой не интересуюсь. Наоборот, я еще состою в добровольной дружине по охране общественного порядка, в свободное время помогаю следить за тем, чтоб здешние собаки не справляли нужду на тротуаре, а уж если нагадили, то чтоб после них было немедленно всё убрано собаководом. Когда собаковод не хочет этим заниматься, с него берется штраф в зависимости от размера стула, а также от того, где пёс нагадил.

24-го декабря я нёс службу с 17.00 до утра вместе с прапорщиком Мейстржиком. Нам сказали, чтобы на вокзале был полный порядок, поскольку приедет важный дружественный деятель, которого будут приветствовать.

Сначала ничего не происходило. Просто была метель, на что жаловались железнодорожники, однако по вопросу снега нам не дали никаких инструкций, и прапорщик Мейстржик отправился домой по причине раздачи рождественских подарков, так что я остался один. Потом я — по собственной инициативе — позвонил городскому начальнику полиции и главному инспектору общественного порядка Горимиру Зуске и обратил их внимание на то, что даже при таком сильном снегопаде многие владельцы собак могут изгадить тротуары и что надо было бы объявить всеобщую готовность. Главный инспектор поблагодарил меня и сказал, что сам этим займется, так как ему

Рождество все равно действует на нервы. На это я, опять же, поблагодарил его, потому что такая преданность обязанностям в наше время — дело редкое, а главный инспектор еще раз снова поблагодарил меня, из-за чего наш разговор немного затянулся, но несмотря на это, я все равно смотрел из телефонной будки во все стороны. На всякий случай я заглянул в вокзальный буфет, заведующая которого Балажова пользуется дурной славой и уже несколько раз ее имя мелькало в рапортах, но ее посещает одно определенно влиятельное лицо, и поэтому ей всё сходит с рук. В буфете я уже снаружи заметил трёх граждан цыганской национальности, один из которых ел маринованную селедку с луком, второй пил пиво, а третий чинил свое зимнее пальто. Я вошел внутрь, дабы видеть, что закон не дремлет, и спросил у Балажовой, когда она собирается закрывать свое заведение.

Не хочу повторять, что она мне на это ответила, потому что присутствовавшие там посетители не подтвердили бы ее ответа, сама Балажова — насколько я ее знаю — все бы отрицала, а что предприняло бы влиятельное лицо, которое с ней заодно, — могу лишь догадываться.

Чуть позже прибыла группа наших работников в штатском, числом около двенадцати, которые тщательно обследовали уборные, включая дамскую, камеру хранения багажа и рельсы. Пока я им помогал, прибыли братские офицеры, которые, однако, из-за опоздания поезда удалились в буфет к Балажовой. Там они оставались почти два часа; и я с неудовольствием наблюдал, как, наконец, один из них поменялся с гражданином цыганом зимним пальто, хотя тот перед этим целый час зашивал подкладку. Потом этот офицер, к счастью, уснул, так что в самой встрече не участвовал. Зимнее пальто я хотел взять под стражу, но на это уже не хватило времени.

Когда поезд прибыл, то я уже стоял на перроне

и видел, что, на первый взгляд, она беременна. Из поезда ее вынесли, как только состав остановился, причем у второго вагона происходила встреча, но я это лично не видел. Несли ее головой вперед, потому что поезд на 160 минут опоздал, а также оттого, что не могли найти носилки. Эти носилки — как я потом ночью выяснил — кто-то отнес в буфет и положил на них братского офицера в цыганском кафтане, хочу сказать — зимнем пальто.

Ее личности я не устанавливал, потому что проводник сообщил мне, что дело идет к родам. По вопросу беременных женщин меня не инструктировали, поэтому ее положили в зале ожидания.

Я хотел как раз вызвать скорую помощь, когда в этот момент вижу — по перрону бежит Балажова и кричит, что братская армия должна ей за всю пьянку семь сотен.

Музыку я тоже слышал, но не понял, что это был китайский гимн, так как не понимаю по-китайски. В стремлении задержать Балажову перед каким-нибудь необдуманном поступком, я вышел из зала ожидания, но именно там на меня сверзлись часы. Из-за этого я потерял сознание, поскольку это были довольно большие часы, скорее всего, — довоенного образца.

В то время, пока я имел возможность в зале ожидания наблюдать задержанную беременную женщину, никаких политических речей она не произносила и что зовут ее Покорна также не упоминала.

На предложенной мне фотографии узнаю гражданина Танцоша, которого я в прошлом году в Международный женский день помогал снимать с Морового столба, однако клетчатого пиджака на нем тогда не было, он был в одних трусах.

По словам больничного швейцара, которого я расспрашивал, меня туда привезло большое количество братских машин. Назад я уже возвращался пешком,

так как упомянутые машины, по-видимому, куда-то уехали.

Голова у меня была завязана, фуражку я должен был нести в руке, потому что она мне на голову не налезала. Снега было примерно около полметра: я установил это по тому, что мне приходилось искать мост через Белявку, у которого отбился кусок перил. Мост я все же нашел и помню, что шлагбаум на переезде оказался опущенным, причем в таком положении он находился все время, чтобы не надо было о нем особенно заботиться. А что должны люди ездить и скорая помощь иногда в больницу проедет, и машины должны гудеть часами, так на это внимания не обращают.

Я подлез под шлагбаумом и перебрался на другую сторону, из-за чего сильно вывалился в снег и, когда пришел на вокзал, то прапорщик Мейстржик спросил меня, почему я катился по сугробам, вместо того, чтобы идти по дороге. О том, что мне упали на голову часы, он уже знал от трудящихся и сказал, что мне будет возмещен физический урон.

Видя, что из-за поврежденной головы я не могу надвинуть служебную фуражку, прапорщик Мейстржик освободил меня от дальнейшего несения службы и послал домой со словами приветов: «Катись колбаской», — а потом, счастливый и веселый, проводил меня к выходу. Сколько было времени, я точно не помню, потому что вокзальные часы повредились из-за падения.

С вокзала я пошел прямо к себе в Трдань, но дорога была завалена снегом, поэтому я двинулся в обход, через площадь, где было расчищено, а потом — задом, за казармами. Проходя через площадь, я с большой радостью заметил главного инспектора Горимира Зуску — городского начальника полиции; он, спрятавшись за памятник Основателю и почти засыпанный

снегом, бдительно следил за поведением собаководладельцев.

Что касается остального, то ничего подозрительного я больше не видел и добавить мне нечего.

(Под диктовку свидетеля записала вахмистр Абстейхова Людмила).

Глава V

Дежурный по станции Станислав Конопасек о жизни чешского железнодорожника

Что часы на него свалились — это факт. И притом, знаете, он всегда был дохлым: когда я его видел, прямо чувствовал, что государство нас надувает, — налоги человек платит стопроцентные, а на улице сторожит порядок пятидесятипроцентный жандарм! Уж если бы я вправду это дело организовывал, так сбросил бы эти часы на башку второму жандарму. Но его, как нарочно, не было в тот момент на месте, а этот бедняга встал как раз туда, куда те часы грохнулись! Видно, судьба уж его такая!

При этом у меня и раньше бывало такое скверное предчувствие, что часы могут когда-нибудь сверзиться. Висели они, правда, на довольно солидной довоенной цепи; и австро-венгерские балки наверху, над перроном, тоже вызывали полное доверие, но что поделать — ничто не длится вечно. Все-таки весили они много, да к тому же долгие годы они должны были поддерживать, наверное, два центнера самых различных украшений, что не под силу даже австро-венгерским балкам.

Но Блатника не убедишь. Он всегда страшно спешил, привозил все в своей машине уже готовым, по-

том только развешивал эти украшения, а часы его притягивали, он их никогда не оставлял в покое, на них все время должно было что-нибудь висеть — и чаще всего их вообще не видно было из-за какой-нибудь хвои.

В остальном, разумеется, я против оформления ничего не имел; меня беспокоили только эти часы и, главное, потому, что я люблю часто смотреть на часы — это уже у меня профессиональное. А если говорить о Блатнике, то надо отдать ему должное — он профессионал. Брал за работу восемь сотен в месяц, делал всё со знанием дела, и поскольку был оформителем — в Барахолкове эта профессия вне всякой конкуренции, — то мог даже держать помощника, потому что сам он не любил лазать по верхотурам и пачкаться. А у нас, конечно, никакого настоящего оформления нельзя сделать было без того, чтобы не перемазаться с ног до головы.

Так что я не только не был против оформления, но относился к этому делу с полным пониманием! Ведь я из деревни Брдечко, а кто родом из Брдечка, тот очень хорошо знает, что значит в жизни вовремя и правильно изготовить оформление!

Посмотрите — у нас в Брдечке есть насчет этого столетний опыт и передавался он из поколения в поколение. Брдечко было евангелической деревней, но уже через три года после Белой горы на площади был изящно смонтирован памятник святому Норберту. Наверное, еще раньше, чем мощи этого святого привезли с той же целью из Магдебурга в Прагу. Мы свое дело знаем: головой стену не прошибешь, к оформлению человек привыкает — через какое-нибудь время ходит уже мимо, будто там вообще ничего и нету. А тот, кто должен обратить внимание, тот обратит, вот что важно! И Брдечко, благодаря Норберту, на 150 лет оставили в покое иезуиты, а когда через неделю после указа о веротерпимости вся деревня пришла

в княжескую канцелярию, чтоб переписаться обратно в евангелическую веру, то господина епископа из Запук от этого хватила кондрашка.

О Норберте со временем настолько забыли, что он там остался до 1939 года, но мы этот памятник сразу после 15 марта* быстренько отпилили и на тот постамент привинтили чудесную мемориальную доску, согласно которой в Брдечке был еще в школьном возрасте на каникулах господин Хорст Вессель**. Написано это было готическим шрифтом — по-чешски писать вовсе не нужно было, потому что делалось это не для населения. Мы рассчитывали, что поскольку этот герой давно уже умер, то вряд ли кто-нибудь начнет копать и выяснять, был ли он у нас или не был. И снова это произвело впечатление. Первым к нам приехал один главарь из барахолковского оберландсрата***; он был в коротких кожаных штанах, на которых красовалась надпись: «На память о 1916 годе». Когда он увидел эту мемориальную доску, то заплакал от умиления. И так же было со всеми остальными.

Благодаря этому, мы в Брдечке опять следующих шесть лет жили спокойно, и у нас даже все это время был старостой еврей Эрвин Полак, которому, собственно говоря, и пришла в голову эта идея с мемориальной доской; он потом принимал союзническую армию хлебом-солью — прямо на том пьедестале, оставшемся от святого Норберта, причем мемориальная доска все еще там была, кое-как замазанная, потому что Брдечко переходило тогда из рук в руки

* 15 марта 1939 г. — день оккупации Чехословакии нацистской Германией. (Прим. пер.)

** Хорст Вессель — автор известного нацистского боевого марша. (Прим. пер.)

*** Оберландсрат — нацистское административное управление в Чехии. (Прим. пер.)

так быстро, что у нас даже не было времени отвинтить эту доску.

Господин Полак примерно через год после войны, к сожалению, продал трактир и уехал в Америку, — он говорил, что местные порядки ему не нравятся. Еще перед отъездом он подарил нам собственный надгробный памятник, который у него уже был подготовлен на тот случай, если он умрет. Поскольку он там был изображен грустно склонившимся долу, то мы использовали его как памятник раненому партизану. У нас все равно нигде никаких партизан не было, поэтому не грозила опасность, что в памятнике признают господина Полака, а мы были рады, что у нас там есть господин Полак даже после его отъезда в Америку. Он был уважаемым человеком в деревне. А когда умер в Америке и его сын приехал к нам, чтобы захоронить урну с прахом отца на нашем кладбище, то её провожала вся деревня.

Когда из-за своего характера я должен был уйти с паровоза и вследствие оздоровления порядков начал работать дежурным по станции в Барахолкове, быстро оценил всю ситуацию, которая тогда, должен сказать, выглядела по всякому, мне сразу стало ясно: Станда, пришло снова то время — пора вешать украшения!

К сожалению, вокзал — это неподходящее пространство для украшения. Даже бюст трудно поставить. Там надо украшать, как говаривал Блатник, на массовой основе. Именно я сообщил об этом начальнику станции Шалфею, которого от оздоровления порядков спас желчный пузырь, а иначе он и по сей день был бы нормальным человеком. Вначале он даже сопротивлялся моим идеям относительно украшений. Он утверждал, что, мол, это ни к чему, потому что военное начальство не ездит поездом.

— На это нельзя полагаться, — убеждал я его. —

Проезжают же у нас тут тоже международные скорые поезда.

Мне удалось его убедить.

Мы позвали Блатника, договорились обо всем — ему было ясно, что нам надо, а нам было ясно, что надо ему, так что понимание было взаимным. И Блатник взял дело в свои руки. Должен сказать, что как раз вовремя. Когда на оформление начался общегосударственный спрос, то мы, благодаря моей дальновидности, на полгода опередили остальных.

И снова все действовало образцово. На целые годы нас оставили в покое, никто к нам не приставал понапрасну, а когда приезжал контроль, то с первого же взгляда он просто восхищался нашим оформлением.

Единственным местом на вокзале безо всякого оформления был буфет, причем, в основном с того времени, как там стала заведующей Балажова.

Когда я однажды пришел к ней с просьбой повесить в буфете хотя бы министра пищевой промышленности, она мне сказала:

— С такими штуками ко мне не ходите, господин Конопасек. Я эти вещи не люблю. Газет я не читаю, радио не слушаю, сегодня я его тут повешу, а завтра они его объявят преступником и я буду в этом деле замешана. Ну нет, господин Конопасек, я такое барахло у себя в пивной держать не стану. Уж, пожалуйста, забирайте обратно своего красавца и повесьте его хоть у себя в спальне — над постелями. Посмотрите на него, как он выглядит, — еще распугает моих клиентов.

Посмотрел я на министра еще раз и вроде не нашел, что выглядит он уж так ужасно. Правда, мне пришло в голову, что я мог бы найти ей кого-нибудь попримягднее, хоть и не из самого ведомства, но потом я уразумел, что Балажова просто не хочет украшать из принципа. Раз уж я там у нее был, то заказал

себе кофе с ромом, а министра поставил на пол, у ноги. Пока я пил кофе, кто-то его у меня украл. До сегодняшнего дня не перестаю этому удивляться.

Балажова, однако, была привлекательной женщиной, и, кроме того, она путалась по большей части со старостой, пока, конечно, тот не стал гомосексуалистом, а поэтому ей тоже многое сходило с рук. Ну, оставим ее в покое.

Знаете, между нами говоря, действительно не так-то это уж было привлекательно, когда вы проходили, например, около автомата, на стекле изнутри был прилеплен плакат, ну, хотя бы: «Приветствуем радостно что-то», — а над ним, у пива — шесть рож с налитыми кровью глазами. Но людям как будто бы это было все равно! Никому не приходило в голову войти и сказать этим пьяницам: «Отойдите прочь, бесстыдники, от этого красивого плаката!» А заведующий? Тот обычно только жадно гонялся за прибылью, плакаты ему приносили с предприятия, и он их там лепил, причем, в большинстве случаев даже сам не знал, что на них было. Скажу вам, мало у кого такое отношение к оформлению, как у меня!

Как-то, под самое Рождество, в последний момент — уже началась метель, — дали нам знать об одном генерале. Оформление было действительно мощное. Позвать Блатника мы уже не успели; у нас самих тоже оставалось мало времени, и тогда мы просто развесили все, что оказалось на складе. Над перроном вились гирлянды, зал ожидания приветствовал Первый май, но кому в той суматохе пришла в голову несчастная идея украсить часы — этого я в самом деле не знаю. Знаю только, что это был не я. Я всегда был против того, чтобы на часы что-нибудь вешать!

Всего нас — дежурных по станции — было тогда пятеро, но у Бартоничка недавно случился инфаркт, и он лежал в больнице. Вместо него тут висела его фуражка. Она тоже имеет значение, эта фуражка,

потому что у Бартоничка была, наверное, самая большая голова в районе — в его фуражку входило восемь с половиной литров воды, мы даже один раз сами это проверили. Само собой разумеется, дежурным в этот день оказался я; и вот возьмите и взвесьте все вместе: на улице — снежная буря; дорожный мастер падает с ног от усталости; с обеих сторон мне постоянно сообщают о разных опозданиях; по всему вокзалу шарит полиция и ищет адские машины; на шее у меня этот генерал, а за спиной ноет начальник станции, что он несчастный и его тошнит от поцелуев. Еще бы не тошнило! Ровно месяц тому назад он вынужден был — при нашем радостном одобрении — лобызаться с целой делегацией тридцати монгольских пестунов верблюдов и упал в обморок только на девятнадцатом, поставив выдающийся рекорд. Сегодня же не было повода плакать, так как его ждал всего один генерал, и со своей тренировкой он должен был с этим справиться играючи.

Поезд ужасно опаздывал; в салоне уже ждала вся Районная диспетчерская; а начальник мне только за несколько секунд до прибытия говорит:

— Заведи-ка какой-нибудь хорошенький братский марш, Станда, когда поезд подойдет.

Подчеркиваю, что в нашем вокзальном собрании грампластинок имелись исключительно братские марши и ничего другого, поэтому я насчет этого слишком себе голову не ломал, выбрал один и все подготовил. Когда поезд остановился, я поставил пластинку и выбежал на перрон. По дороге я только схватил флажок и фуражку с вешалки. Я занял надлежащую позицию, фуражку небрежно нахлобучил на голову, и это оказалось первым камнем преткновения. Если бы она была с дырой, то очутилась бы у меня на шее. Схватил я, как нарочно, фуражку Бартоничка.

Пришлось быстро засунуть ее за воротник, потому что бежать за своей уже некогда было. Из вагона

справа от меня как раз выбрался генерал, целовались там, аж искры сыпались, а я лишь краем глаза смотрел, когда подойдет очередь начальника станции (положа руку на сердце, в каждом из нас хватает злорадства — ведь все мы не святые).

Вдруг слышу, как открываются двери соседнего вагона; и когда мне удалось повернуть голову так, чтобы фуражка при этом не упала, то вижу — выносят женщину. На то, что она беременная, я сразу внимания не обратил, потому что у меня и так глаза лезли на лоб от удивления. Несли ее четверо мужчин — проводник и трое штатских. И в этот момент, очевидно, отстартовал генерал. Разметал диспетчерскую и пулей — за той бабой, которую между тем уложили в зале ожидания. Больше я ничего не видел. Поверни я голову немного больше — фуражка полетела бы на землю.

В это время мужчины уже возвращались в поезд, а проводник — раньше, чем закрыть за собой дверь, — сказал мне:

— Будет рожать, Пепа. Ну-ка, давай свистни, чтоб мы тут зря не торчали.

Хотя меня никогда и не звали Пепой, но я поднял руку и засвистел. Конечно, в этот момент фуражка слетела, причем — прямо на рельсы. Но вокруг происходило такое, что я, наверное, даже не успел всего заметить.

Прежде всего — недалеко над моей головой ужасно орал какой-то бас, вроде Шаляпина, кто-то кричал с противоположной стороны: «Немедленно прекратите, мерзавцы, это китайский гимн!» Я слышал, как тенор охнул, будто его кто-то проткнул, и радио затихло. Почти одновременно я увидел Балажову, бегущую по перрону и во весь голос орущую, что ее братская армия нагрела на семь сотен. Это заглушило грохот паровоза, выпустившего на перрон облако пара. Поезд трогался.

Интересно, что меня вдруг больше всего заинтересовало, что же осталось от фуражки Бартоничка. Я ждал, пока отойдет последний вагон и я смогу полюбоваться на гибельные последствия случившегося, как вдруг за мною послышался громовой удар. Я вздрогнул так, что чуть сам не попал под поезд. Обернувшись, я увидел незабываемую картину. На перроне лежали — вот так — слева направо: наши вокзальные часы, посредине — этот маленький жандарм, а направо — Энгельс или Маркс, я их всегда путал.

Все-таки упали — промелькнуло у меня в голове. Я уже хотел было сделать шаг, чтобы посмотреть, какой ущерб эти часы нанесли жандармерии, но вдруг прибежали двое, схватили маленького жандарма и исчезли с ним на улице. На перроне остались только часы и Маркс. А вокруг — ни души.

Между тем поезд уехал, путь освободился. От фуражки Бартоничка остался только околыш. Прочее мчалось с двести семидесятым скорым в Запуки. Хотя немного радости ко всем этим страстям.

Часы я оттащил к стене, Энгельса приставил к весам и пошел в канцелярию — отсигналить отбытие этого поезда в Запуки.

Начальник станции сидел верхом на стуле; пот тек с него ручьями. Хрипел:

— Всех нас за это посадят.

— За что? — удивился я. Связь событий мне все еще была неясна. К тому же, я был отчасти под впечатлением бартоничковой фуражки.

— Он еще спрашивает! — заломил руки начальник. — А говорят — самый осторожный человек на железной дороге! Он этого не знает!

Я подождал, пока он успокоится. Шло это медленно.

— Так вот, во-первых, — начал он, немного придя в себя. — Та пластинка, которую ты им запустил, была китайским гимном. Во-вторых...

Я не дал ему договорить. Надев очки, я взял в руки эту пластинку.

— Вряд ли это китайский гимн. Это о дружбе!

— Покажи! — он нетерпеливо забрал у меня пластинку. Минуту он старался разобрать надпись, но потом сказал с еще бóльшим отчаянием:

— Так это гораздо хуже. Это о любви с Китаем. Тут государственная измена, Станда. За это — веревка или пожизненное.

— Я думал, что у нас казнят как-нибудь посовременней, — заметил я.

— Ты всегда был дураком, — закончил начальник первый пункт, чтобы перейти к следующему.

— Во-вторых, — сказал он, — та баба была беременная и, скорее всего, это старуха того генерала. И я тебя спрашиваю: где носилки? Как я смогу объяснить, что дамочку братского генерала должны были тащить за ноги и за руки?

Где находились в то время носилки, — у меня не было никакого понятия. Что в них как раз спал в буфете братский офицер и его потом Балажова велела цыганам отнести к себе домой в качестве залога за те семь сотен, — я, конечно, не мог знать.

— В-третьих, — поехал начальник дальше, — Копецкого никто не разубедит, что эти часы должны были в самом деле упасть на голову того генерала и вся история не что иное, как подстроенное нами покушение.

Теперь я наконец понял, что дело принимает серьезный оборот. Я смог выдавить из себя только убогое замечание, что я всегда говорил, чтобы Маркса на часы не вешали.

— Это был не Маркс, а Энгельс, — поправил меня начальник. — Маркс висит на вентиляторе.

Оба мы были, как говорится, под тенью виселицы, но при этом еще спорили о таких деталях. Но

поскольку я характера скорее веселого, мне захотелось немного подбодрить начальника.

— Сейчас Рождество, Эмиль, — сказал я ему. — Мы могли бы спеть хоть какую-нибудь колядку.

— С колядками иди в ж..., — ответил он мне без колебаний. — Пойду спать, утром нас все равно заберут.

И ушел.

Надо сказать, что последствия он предчувствовал вполне точно.

Забрали нас сразу же после окончания службы. Ждали нас перед вокзалом. Я уже сидел в машине, когда увидел, что выводят начальника станции и запикивают в другую машину. Наверху в окне супруга начальника громко плакала. Все еще падал снег. Только это немного примиряло меня с судьбой — наконец, хоть одно стихийное бедствие, при котором я не буду присутствовать.

Я сидел сзади, органы — с каждой стороны по одному. Они интимно ко мне прижимались и явно пахивали вермутом. Третий сидел около шофера, но несло ли от него вермутом, — этого я на таком расстоянии не мог чувствовать. Наверное, тоже несло, потому что он по дороге заснул.

Мне пришло в голову, что я не взял с собой теплых домашних шлепанцев и что в тюрьме у меня могли бы зябнуть ноги. Тот слева будто прочитал мои мысли, он сказал:

— Мы вам покажем, как сбрасывать на людей часы, — вам от этого жарко станет.

Очень скоро я узнал, что, оказывается, замешан в этой истории вместе с начальником станции, но мне пообещали, что вскоре у нас будут дальнейшие участники. Наблюдая их усердие и старательность, я знал наперед, что слов на ветер они не бросают.

— Как тот малый, на которого они упали? —

отважился я спросить, когда мне давали подписать, наверное, уже пятый протокол.

— Загибается, — успокоил меня следователь. — Пятнадцать лет вам обеспечено. Разве что, если вспомните того иностранца, который все это оплатил и организовал.

Тут всё и провалилось. У нас с начальником станции была связь с границей. Я это почувствовал сразу, как только меня сцапали. Итак, я вскоре стал участником разветвленного международного заговора, организованного одним итальянцем, который долгие годы выдавал себя за цыгана и народил кучу цыганенков. Еще у нас была связь с покойником Ведлейшем, причем, — даже после его смерти. Вследствие рождения шестерняшек, в этом деле были замешаны также один бывший верховный диспетчер с женой, один доцент, работавший швейцаром в больнице, один композитор, а может быть, и многие другие, о которых я позабыл.

Поскольку нас там держали почти два месяца, то к концу мы были могучей организацией, связанной с помощью агентов с Крживоклатом*, где у нас имелся тайный радиопередатчик!

Меня тоже вызывали на перекрестный допрос с тем цыганом, который около пятнадцати лет маскировался в Барахолкове под итальянца. Он утверждал, что деньги и инструкции клал мне на вокзале в фуражку. Это был шпионский тайник. С умилением я при этом вспомнил о Бартоничке. Да, его фуражка могла бы быть тайником! Сколько бы туда вошло денег!

— Скажите господину Конопасеку, — понукали этого итальянца, — сколько вы ему, синьор Сальвадини, дали долларов!

Бедняга неуверенно посмотрел на следователя, но тот сразу его подбодрил.

* Замок в Западной Чехии. (Прим. пер.)

— Ну, выкладывайте, — сказал он. — Как с итальянским подданным, с вами, к сожалению, все равно ничего не случится. Когда все закончится, пошлем вас мигом домой, и дело в шляпе. Но, конечно, если будете себя хорошо вести.

Я видел, как эта перспектива вдохновила моего подельника.

— Всего десяц тишонц, — сказал он с типичным итальянским акцентом.

— В мою фуражку? — не удержавшись вмешался я. — В нее бы они не могли поместиться! У меня голова — пятьдесят один!

На меня зашикали, чтобы я не вмешивался, что меня не касается, сколько он мне дал долларов, что это они сами решают.

Тогда я обдумал все еще раз и предложил им, что если бы меня потом послали мигом в Италию, то я бы тоже по случаю в чем-нибудь признался.

— Вы не итальянец, Конопасек, вас пошлем мигом разве что в Вальдице*, — объяснил мне следователь.

В камере у меня действительно зябли ноги. Впервые, оттого, что там был железобетонный пол, а во-вторых, потому, что мне выдали совершенно дырявые летние носки и рваные тапки. Поэтому я был рад, когда это кончилось.

Когда мы с начальником станции вылезли на улицу, была слякоть, и улицы — совсем безлюдные. По дороге на вокзал мы не встретили ни души.

Мы вошли в вокзальную канцелярию. В углу там сидел Бартоничек, которого как раз выпустили из больницы.

— Какой-то негодяй украл мою фуражку, — было первое, что он нам сказал. — У нас мученики при жизни благодарности никогда не дождутся.

* Тюрьма в Северной Чехии. (Прим. пер.).

Мы с начальником станции посмотрели друг на друга. Потом он сказал:

— Я не удивляюсь, что ты ее ищешь. В твою фуражку, жадюга, один итальянец пихал два года по ошибке доллары от китайцев. Мы тут со Стандой строили козни, как сумасшедшие, а получали за это — дерьмо. А ты нас не угостил за все это время даже газировкой.

Бартоничек смотрел на нас испуганно.

— Конечно, не удивительно, что ты себе при этом заработал инфаркт, — добавил начальник.

Была моя очередь.

— Кроме того, — заявил я, — надо правильное выбирать выражения. У тебя была не фуражка, а бадья.

Мы с начальником станции пожали друг другу руки, он пошел вверх заказать жене обед, а я отправился в Брдечко. Пешком. По той самой слякоти. Потому что свобода есть свобода, уважаемый господин.

Глава VI

И з в о с п о м и н а н и й у п р а в л я ю щ е г о б о л ь н и ц е й

На самом деле в тот вечер должна была дежурить моя жена Мерседес. Но как муж и управляющий больницей, я сказал ей прямо: «Ты должна сказаться больной. Пусть подежурят-ка эти интеллигенты».

Мерседес свалилась, как подрубленная, за три дня до Рождества; в два часа я зашел в проходную, так как именно в это время они сменялись. Застиг я их обоих: Боушу и Фрагнера.

На первый взгляд — странные элементы, но в те

времена просто никто не хотел там работать за жалких пару сотен. Что же касается Мерседес, то она ходила туда посидеть, чтобы спокойно повязать.

Так вот, эти двое: один был доцент, второй — только доктор. Этот доцент был философ. Доктор занимался какими-то камнями. В анкете он называл это минерогенезом. Что он в этом нашел, — не знаю. Наверное, эта наука уже им обоим достаточно надоела, раз они сидели в проходной.

Я все же был рад, что они работают у меня — они были аккуратными и ни тот, ни другой не пил, тогда как все предшествующие вахтеры были алкоголики. У них никогда не было уверенности, что они вообще дойдут до проходной. Последняя пивная на пути из города в больницу находилась, как известно, на вокзале, и поскольку там продавалось «Пильзенское», каждого прямо так и манило вылезти из автобуса, пусть хоть и с добрым намерением: выпью только парочку кружек, а потом остаток пути дойду через Белявку пешком — сейчас только полвторого, до двух там преспокойненько буду. Но только редко так бывало; за второй кружкой следовала третья, а для многих людей именно третья кружка — вроде бы заколдованная, и как только она выпита, то тут им каюк, следуют новые и новые — аж до немоты. Дело не в том, что иногда они вообще не являлись на службу, но часто приходили, настолько нализавшись, что мне самому надо было за ними ухаживать; и согласитесь, как управляющий больницей, то есть главное лицо в больнице после директора Райздравслужбы господина доктора Пытлика, я не мог этого допустить.

Притом эта Балажова, заведующая вокзальной пивной, наверное, зарилась на моих вахтеров. Из-за неё я менял в год до пятнадцати вахтеров; и если принять во внимание, что добрая половина из них были пенсионеры, то это неспроста.

Так что, работа в проходной сразу двух непьющих

имела свои выгоды. Но одновременно это было подозрительно, так же, как и их титулы. И это еще не всё. У меня в то время состояли два таких истопника, некие Ваха и Грдличка. Грдличка был евангелическим священником, которого выгнали, потому что, наверное, вел с кафедры не те речи, и тогда ему сказали: так, Грдличка, закрывайте-ка молитвенник и айда делать что-нибудь другое! Это я как марксист и как римский католик полностью одобрял, потому что Чешские братья* мне были с детства противны, и еще наша бабка говорила, что это еретики и чтоб я с ними не водился.

Но в качестве истопника этот священник был что надо. На работу ходил вовремя, само собой — не пил, разве что содовую, в общем, такой тихий; и я знал о нем, что стоит появиться у него свободной минуте, он читает книжки. Какие книжки он читал, — на это мне было наплевать; пусть уж они были такие или сякие, но читал он себе потихоньку, и все равно это было лучше, чем если бы он пьянствовал, — от этого уже один раз чуть было не случилась большая трагедия. Служил у меня раньше истопник Цайтамл, которому шнек прищемил голову, но дело это давнее, и Цайтамл стал потом директором строительной фирмы Армабетон.

Кроме Грдлички, у меня еще был истопником Ваха. У того, правда, насколько мне известно, никаких титулов не имелось, он был писатель, но я сразу понял, что это за писатель, раз он предпочитает кормиться в котельной. Но уж чёрт с ним, топи, если тебя эти деньги устраивают, — люди в тогдашнее время тоже на эту работу не рвались, и выбирать я не мог. Кроме того, Ваха вообще был ловкий и работал в бараке слесарем, и я поэтому был довольно рад, что

* Чешские братья — гуситская реформистская церковь. (Прим. пер.)

он бросил писанину и пошел заниматься физическим трудом.

Ваха не был совсем непьющим, но зато он был бабник. Красавчик он, правда, — ничего не скажешь. Меня только удивляло, что он ничуть не стесняется священника. У них внизу была такая каморка, где они переодевались и закусывали. Там стоял старый диван из инспекторской — чего запретить я им не мог, потому что иногда один из истопников должен был остаться и после службы, и я был рад, когда такая компания сидела у меня в подвале.

Ну, так вот: этот писатель страшно злоупотреблял этим диваном. На нем перебивали, наверное, все бабы из больницы, включая врачей, и, конечно, куча посторонних баб, потому что такого бугая, как этот Ваха, свет еще, кажется, не видывал. Мои люди мне тоже доносили, что там видели и Мерседес, но это была сушая клевета, так как она сама мне объяснила, что пошла туда ночью предупредить Ваха, чтобы он побольше подкладывал уголька — в ту ночь подморазивало.

Знаете, этот Ваха позволил себе такую дерзость: примерно через год пришел ко мне и потребовал новый диван, так как старый, мол, уже совсем не годился — из него на все стороны лезли пружины.

— Это меня удивляет, — старался я притвориться глупым, когда он пришел сообщить мне это. — Ведь такой отличный и хорошо сохранившийся диван!

— Меня это тоже очень удивляет, господин Климент, — сказал на это Ваха, — ведь это еще довоенная мебель, и она должна бы побольше выдержать. Но раз уж в подвале все-таки довольно сыро, то всё там подвергается коррозии. Представьте себе, у господина священника Грдлички там за одну ночь проржавели даже вставные зубы.

Жулик это был, но мне, как бывшему кельнеру,

даже нравилось, как он треплется. Диван, говорит, подвергается коррозии!

Мне было наплевать, как он это называет, до тех пор, пока никакая из этих баб не жаловалась, — пусть скачет хоть с трамплина, лишь бы выполнял свои обязанности. А уж насчет этого мне придраться было не к чему. Поэтому я ему и диван этот поменял, хоть новый опять выдержал всего год. Тогда я ему туда прямо дал списанную железную кровать, которая всё выдержала.

Вот, судите сами: у меня было двое образованных в проходной и двое — в котельной, так что совсем нормальным это быть не могло. Как-то раз я был на общегосударственной конференции управляющих больницами, ну, и там мне захотелось хоть за обедом похвастаться перед коллегами, какой у меня образованный персонал и что у меня даже культурные вахтёры, которые вместо того, чтоб пьянствовать, играют в шахматы и за все эти годы никого не послали, а наоборот — сама любезность, сплошные «что вам угодно» и тому подобное. Но никого это не поразило! Видно, каждая больница в Чехии имела в то время таких квалифицированных вахтёров и истопников! Вот это была культурная политика! Разве это нужно, чтоб вахтёр был хамом или алкоголиком, а часто еще — и то и другое одновременно? Разве не было для людей приятным сюрпризом, когда они, нервничая, приближались к проходной и ожидали самого худшего и вдруг наталкивались на вежливого служащего, который им охотно советовал, что и как, тогда как, например, в ратуше, где никого культурного, наверно, заполучить не удалось, вахтер натравливал своего пса на посетителей?

И кроме того, — в отличие от врачей и, главное, от главного врача, — мои истопники даже со мной обращались культурно и вежливо и подарили мне к пятидесятилетию учебник йоги!

Но дело, конечно, не было совсем уж в порядке. Знаете, если бы у меня был только, скажем, один истопник с дипломом, но иметь сразу четырех таких светил да для такой работы, с которой, в конце концов, может справиться любой недотёпа, — это все-таки дело серьёзное, и я уж не говорю о том, сколько таких профессоров и экспертов в те дни околачивалось по всяким котельным и прочим захолустьям! Мне прямо казалось, будто бы для этого имелась какая-то тайная организация, хотевшая, может быть, нарочно опустошить научные учреждения, из-за чего правительство тогда было бы вынуждено напихать туда разных необразованных ослов и баранов, и тем самым привести страну к полному банкротству. Поэтому я совсем не удивлялся, что о моих вахтерах и истопниках регулярно приходила справляться тайная полиция посредством одного высокопоставленного стукача; и я вначале тоже не слишком удивлялся, когда после шестерняшек сцапали этого Боушу. Куда там, у меня все время было правильное предчувствие, что тут будет еще что-нибудь почище, чем просто внезапное увлечение котельной и тому подобное.

А то, что в рождественский вечер в проходной дежурил вместо моей жены Мерседес, именно этот доцент, объяснялось, главное, тем, что его жена была у нас операционной сестрой в родильном отделении и как раз тоже работала в это время.

Но еще сегодня у меня мурашки по спине бегают, когда мне приходит в голову, что я мог назначить дежурить в тот вечер в проходной Мерседес! Не потому, что была метель и что мы бы, наверно, всю ночь ничего другого не делали, как разгребали снег, что на меня сразу тоску наводит, но, главное, потому, что её могли бы потом заподозрить в каком-нибудь участии в этих родах, а тем самым — и меня!

Мы, знаете, тоже уже пережили достаточно. Я был

при немцах младшим кельнером в Стелле — это был их бордель в Старом городе, — а потом мне повесили на шею Малый декрет^{*)}. Что касается моей жены Мерседес, о ее биографии тоже не скажешь, что она без сучка и задоринки, оттого мы рады, что дешево отделались. А должность управляющего больницей была, между нами говоря, настоящей удачей, поскольку у нас с Мерседес не было почти вообще никаких расходов, да еще к тому же я получал настолько приличную зарплату, что Мерседес вообще вахтершей могла и не работать, а пошла туда только из-за своего вязанья.

Вместе с тем, я, как управляющий и главное лицо в больнице сразу после господина доктора Пытлика, должен был знать, что где у меня делается, не крадут ли уж слишком, а также — не происходят ли подрывные рейды, — это мне всегда особенно внушали господин директор и тот референт из полиции, который к нам ходил; так вот: с воровством считались даже в плане, а с рейдами — нет, за этим, наоборот, строго следили. Ну, а так как эти интеллигенты не воровали, — что было, между прочим, очень подозрительно всем трудящимся, — так, собственно, надо было следить только за этими рейдами.

Я, правда, сам не знал точно, как на самом деле такие рейды выглядят, но показалось бы глупо, если бы я спросил об этом того шпика или господина доктора Пытлика, потому что они могли бы подумать, что я для такой работы не гожусь и начали бы искать кого-нибудь другого. Поэтому я лучше делал вид, что мне вроде бы всё совершенно ясно, а когда тот из полиции пришел ко мне снова напомнить, чтоб я проследил, главное, за этими рейдами,

^{*)} Административная форма наказания лиц, сотрудничавших с немцами во время Второй мировой войны. (Прим. пер.)

так я сделал совсем осведомленный вид и сказал ему:

— Можете на меня положиться, господин референт, рейды у меня полностью находятся под контролем и как только какие-нибудь будут, то сразу же вам позвоню.

Тем не менее, покою мне это не давало, и вот однажды, когда я позвал к себе на квартиру Ваху, чтоб он мне в ванной поменял прокладки в кранах, так мне пришло в голову незаметно спросить его об этом. Этот человек ведь не мог подозреваться ни в чем нечестном, думал он исключительно о бабах и был этим все время так занят по горло, что у него какие-нибудь рейды были — по моему мнению — совершенно исключены.

И вот когда он уже поменял прокладки, я сварил ему кофе, налил стопочку и просто так, как бы между прочим, говорю:

— Сейчас в газетах много пишут о рейдах.

Посмотрел я на него, что он на это скажет, но он ничего, молчит, только со знанием принимает к стопке. И тогда я перешел прямо к делу:

— А интересно, большинство людей даже не знает, что такое эти рейды.

Ваха молчит, только медленно влил в себя стопочку, запил ее глотком кофе, а потом говорит:

— Так это бывает, господин начальник, со многими иностранными словами. Люди их повторяют и часто уже даже не знают, что они значат. Вот насчёт этого рейда вы говорите чистую правду. Это по происхождению английское слово и означает оно — поворачивать. Не стану вам говорить, что оно значит на жаргоне. У нас же, если кто-нибудь где-нибудь что-нибудь стащит, то есть — провернет, так это нормальная кража, а у суда это называется — хищением. Но если кто-нибудь крадет изящно или крадет что-нибудь непривычное, как, например, на прошлой

неделе, когда кто-то за одну ночь украл 150 тумб на Бенешовском шоссе, — так это уже не обыкновенный грабеж, это уже рейды, господин управляющий. Правые или левые, смотря по тому, с какой стороны крали, или же — рейдили. Вот видите, такая простая вещь, но как туда начнут впутывать иностранные слова, то потом в этом и свинье не разобраться.

Налил я ему еще две стопочки, хотя, правда, третью он выпил с уговорами.

— Меня в проходной невестка ждет, — оправдывался он, — в деревне свинью зарезали, вот она мне и принесла угощение — не хочу, чтоб от меня несло.

— Ну и плут же вы, Ваха, — сказал я ему по-дружески, — у вас, куда ни глянь — сплошные невестки.

— У нас в семье двенадцать человек было, — сказал он извиняющимся голосом и опустил глаза так невинно, что не знай я, какой это кобель, так подумал бы, что он еще девственник.

Он очень мне помог: наконец-то я узнал, за чем, собственно, мне надо следить. И стало мне легче на душе, потому что у нас ничего такого вообще не приходило в расчёт. Во-первых, взять хотя бы этих четверых... У Вахи времени не было на такие вещи, Грдличка читал книжки, Боуша с Фрагнером играли в шахматы, — просто я мог быть совершенно спокоен и регулярно рапортовать наверх, что интеллигенты сидят тихо и никаких рейдов нет и в помине.

Кроме того, всё, что у нас в больнице можно было украсть, уже долгие годы крали на научной основе и было это разработано до последней детали, начиная от простыней — аж до кислородной бомбы, так что если бы эти четыре олуха захотели бы в это включиться, так на их долю все равно ничего приличного бы не осталось, — только разве какая-нибудь дрянь, вроде корпии.

Мерседес я все-таки оставил в проходной и дальше, с одной стороны, как никак, она получала своих двенадцать сотен, для пенсии это ей тоже засчитывалось, а я мог и теперь, когда все мне стало ясным, всегда сказать господину доктору Пытлику или тому сыщику, что в проходной бдительно следит за всеми моя жена Мерседес, причем, как за этими двумя интеллигентами, так и за старым Пешekom. А это тоже был фрукт, доложу я вам.

Звали его Пешек Рудольф, было ему уже почти восемьдесят, и раньше он бывал старостой Сокола в Барахолкове. Он никому не говорил иначе, чем «Привет», весь год носил сапоги, и я не поклялся бы, что он все еще дома не делал упражнения на гигантских шагах, потому что был в такой фантастической физической форме, что на работу ездил каждый день на велосипеде.

Мерседес, однако, из проходной не могла уследить за всей больницей, поэтому для этой цели у меня еще были к услугам два медбрата, находившиеся там почти постоянно и знавшие всё, что где случалось; это они, например, первыми предупредили меня, чем занимается писатель-истопник Ваха у нас в подвале.

Одного медбрата звали Залабак. Он отличался недюжинной силой: мог спокойненько унести и стопятидесятикилограммового покойника. Это был бывший чемпион Протектората*) в греческо-римской борьбе; пришел он к нам сразу же после того, как закрыли Гаекговскую арену. Имелась у него только одна слабая сторона — он так ужасно гнусавил, что должен был мне в большинстве случаев все писать, а это, к сожалению, он не слишком-то умел. Гнусавым сделал его один турок, с которым он боролся. Турок

*) Протекторат Богемия и Моравия образован немцами в 1939 г., после того как Словакия стала «самостоятельным» государством. (Прим. пер.)

выбросил Залабака из ринга, тот пролетел шесть метров и свалился прямо на раскаленную печку, и при этом нос у него вдавился глубоко внутрь, и никто уже никогда не смог вытащить его обратно. Этот турок, говорили, был еще сильнее, чем Залабак, и его коронным номером было — бросать своих противников в публику. Он не предполагал, что там будет эта печка и много раз потом извинялся перед Залабаком и даже посылал ему открытки из Стамбула, где после открыл педикюрную.

Второго медбрата звали Коханный Михаил. Он был украинского происхождения, и его папаша служил помощником атамана у батьки Махно. Этого папашу, по словам Михаила, рассек пополам лично маршал Будённый. Тем самым сиротка Коханный перебрался в Барахолково, а когда вырос, то стал у нас медбратом.

Коханный далеко не обладал такой силой, как Залабак, но зато он был крайне бдительным и осторожным, верно, по той причине, что всегда помнил, что сотворил Будённый с его папой. Люди его не любили, и когда у нас однажды потерялась нога господина бухгалтера Коцмана из Государственной сберкассы, то люди говорили, что Коханный её украл. Но никто его не обвинил, а для меня это была ужасно полезная сила, потому что он меня сразу же обо всем подробно информировал и, главное, — сообщал, что когда врачи обо мне между собой говорили, утверждали, что я болван, а господин директор — негодяй.

Поэтому было лучше, что в тот вечер дежурил Коханный, а не Залабак, поскольку прежде, чем тот мне что-нибудь прогнусавил бы или написал, наступил бы Крещенский вечер.

Сразу, как её привезли, Коханный быстро предупредил меня по тайному телефону из склада, где хранились «утки» и подкладные судна для большой

нужды, о том, что происходит. Мы с Мерседес побежали в кухню, где было окно, из которого видно проходную, и, несмотря на пургу, наблюдали за всем. Приехало не менее пятидесяти братских военных машин, и думаю, там были тоже танки и пушки, но не могу утверждать этого наверняка, потому что во вторую половину дня я ходил к господину доктору Пытлику пожелать ему счастливого Рождества и, как обычно, я так назююкался, что домой меня должна была привезти скорая помощь. Хотя это сюда и не относится, но господин доктор Пытлик, как директор Райздравслужбы, был известным во всем районе выпивохой, и кто шел к нему в гости, тем более — перед Рождеством, — тот уж должен был рассчитывать, что ему это даром не пройдет. И вот, когда я стоял рядом с ней у окна и смотрел на эту кавалькаду, голова у меня была обвязана мокрым полотенцем и всё вокруг меня так кружилось, что сам я более всего был занят тем, чтоб не выпасть.

Ну, двигались они медленно, потому что снегу жутко навалило. Впереди ехали вездеходы и расчищали дорогу. Когда первый остановился у проходной, то конца этого хвоста вообще не было видно. Внизу я увидел Боушу, который стоял у шлагбаума, совершенно застыв, с метлой в руках, вроде как бы не желая пустить их внутрь. В этот момент я даже почувствовал к нему симпатию, потому что есть моменты, когда человек вдруг понимает, что все мы, собственно, — чехи. Но мои размышления прервала Мерседес, закричавшая:

— Ганс, приехали за нами, всё пропало, отправят нас теперь на Северный полюс!

В ту минуту и я тоже — к тому же еще накачавшийся спиртом доктора Пытлика, — не находил другого объяснения: для чего бы тащиться почти всей дружественной армии по такой погоде в нашу больницу?

Только когда вынесли ту бабу, а потом —

жандарма, и весь конвой повернул обратно в Бараново, мы начали догадываться, что нас не заберут. Однако зачем сюда приехало такое множество народа, чтоб выгрузить одну бабу и одного жандарма, — это было для нас загадкой.

Коханный потом незамедлительно меня информировал: На жандарма, мол, упал балкон возле ратуши, так как не выдержал заносов. Баба того и гляди родит и её положили прямо в родильное отделение. Вся больница, мол, полна слухов, что это жена важного дружественного деятеля. Доктор Черный сказал Коханному, что это татарская принцесса и забеременела она от Тараса Бульбы.

Еще счастье, что Мерседес очень начитанная и регулярно смотрит передачи по австрийскому телевидению. На это она сразу сказала, что если эта баба, факт, забеременела от Тараса Бульбы, так она не может быть татарская принцесса — ведь Мерседес сама видела собственными глазами, как Тарас Бульба бросил ее вместе с приплодом в реку, лишь бы от нее избавиться.

Около полуночи Коханному удалось выяснить, что это обыкновенная баба из Праги, которую в спешке вытащили из поезда. Но вот опять тут загадка, почему обыкновенную бабу должна везти рожать половина дружественной армии? Потом говорили — это была случайность. Держи карман шире, случайность! Какое там, у меня у самого опыта достаточно, и ни в какие случайности в таких делах я не верю.

Рожала она всю ночь; и мы с Мерседес почти совсем не спали, так как Коханный каждую минуту звонил по этому тайному телефону от «уток», что она родила ребёнка. Когда он звонил уже в третий раз, то я не удержался и закричал на него:

— Коханный, вы пьяны в стельку!

— Клянусь, господин управляющий, что я с обеда

выпил только две бутылки пива и тверёзый совсем. У бабы этой тройняшки.

У меня страшно болела голова, поэтому я умолк. Коханный меня спросил, надо ли меня известить о дальнейшем.

— Нет, не надо, — сказал я ему. — Тройняшек уже хватит, скажите им, пусть всё бросят и идут спать.

На всякий случай я выключил телефон — этот парень мог валять дурака хоть до утра, сообщал бы мне всю ночь о каждом кормлении.

По этой причине я лишь в первую половину дня узнал, какое это было светопреставление: что должны были позвать главного врача, что всё было совершенно шиворот-навыворот и что эта гражданка родила шестерняшек.

Мне, к сожалению, не пришло в голову, какая это редкость. Ведь у нас с Мерседес детей не было, и, вообще, мы за такими вещами не слишком-то следили — сколько у кого родится детей. Даже Мерседес, хоть и сама баба, не очень удивлялась. У нас была тогда кошка Гермина, то и дело приносившая от шести до двенадцати котят, которых я потом должен был топить в ведре, и помню, как Мерседес, узнав об этих шестерняшках, только посмотрела на Гермину, спавшую в кресле, и сказала той:

— Видишь, Герминка, эта баба чуть тебя не переплюнула!

Для этого ведь должно быть образование, чтоб человек распознал, когда народится больше детей, чем предусмотрено нормой, а мне была вверена техническая эксплуатация больницы, а не измерение плодовитости пациенток.

В родильном отделении у нас был в то время главным врачом Белый; его к нам в наказание переве-

ли из Праги. Говорилось о нем, что это светило, но для меня это был такой чудной чудила, почти со мной не разговаривал, руки мне ни разу не подал, но зато с теми интеллигентами из проходной был свой в доску, на это у него находилось время, чтоб с ними трепаться. А когда он въезжал внутрь и Боуша поднимал шлагбаум, так тот ему даже кричал, чтобы все вокруг слышали: «Ну, как дела, господин доцент, как поживаете?»

Это мне было неприятно, мог услышать кто-нибудь чужой и подумать, что мы с ума сошли, раз у нас вахтером — доцент, потому что, например, в Заветрове уже третий год не хватало районного врача. Поэтому я немедленно информировал товарища директора, но тот только пожал плечами и сказал:

— Он разлагающий элемент, этот Белый, но, к сожалению, мы должны еще его тут оставить; у наших дам тоже есть гениталии, и я не могу доверять их какому-нибудь, пусть и сознательному, олуху.

И вот — был Троицын день; Мерседес жарила утку, мы поели, и хотя на втором этаже, в родильном отделении, стоял порядочный гул, но мне это казалось нормальным при таких больших родах. Что надо было бы сообщить об этом как о подозрительном событии — мне тоже не пришло в голову, особенно, раз у этой гражданки была самая лучшая, какую только можно себе представить, политическая свита — ну, кто бы тут искал в те времена что-нибудь подозрительное?

На праздник Штепана у нас к обеду была жареная свинина, и я находился в хорошем настроении, как вдруг затрещал телефон. Звонил господин доктор Пытлик. Я сразу понял — что-то происходит и звонит он с тем, чтобы хорошенько меня пропесочить, что не предвещало ничего хорошего, поскольку доктор Пытлик являлся не только директором Райздравслужбы и во всем районе признанным алкоголиком, но

также влиятельным членом руководства и поэтому лучше было пользоваться его расположением.

— Климент, вы идиот, — начал он вместо приветствия, — почему вы мне сразу не подали донесение?

У меня во рту был как раз кусок пирога, я его быстро проглотил неразжёванным и тут же почувствовал, как он застрял в пищеводе. Из-за этого мой голос переменялся и зазвучал фальцетом; когда я отошел, Пытлик подумал, что это Мерседес, и говорит:

— Это вы, Климентова? Дайте мне немедленно вашего дурака!

— Минуточку, господин директор, — сказал я все еще фальцетом, — я его как раз послала в котельную, но он сразу же вернется.

Мне надо было, однако, выиграть время. Я положил трубку на шкафчик в коридоре и побежал к Мерседес в кухню, чтоб она сначала вышибла из меня этот пирог. Когда она ударила меня по спине, всё так и вылетело прямо в клетку с канарейкой.

— Что случилось, детка? — в спешке я старался её расспросить. — Должен был произойти какой-то ужасный скандал, звонит Пытлик и так злится, что я боюсь, как бы он не убил меня по телефону.

Мерседес сохраняла спокойствие.

— Тут не могло случиться вообще ничего особенного, — успокоила она меня. — Еще полчаса тому назад я встретила Залабака, он ничего не гундосил, а если хочешь узнать точно, в чем дело, то я должна буду сбегать к нему.

Залабаку понадобилось бы не меньше получаса, прежде чем он был бы способен что-нибудь нам сообщить, а так долго я не мог заставить Пытлика ждать. Не было другого выхода — пришлось мне идти к телефону.

— Здравствуйте, господин директор, — сказал я как можно почтительнее. — Будьте добры, извините,

я был как раз в котельной, как вы мне велели, хотел незаметно поразведать, не крадет ли там чего-нибудь этот священник.

Директор Райздравслужбы, однако, не проявил к этому интереса.

— Вы и ваша котельная можете катиться в ж..., — сказал он вульгарно. Образованный, а так выражался. — Вы дурака валяете со священником в подвале, а что должны немедленно сообщать мне чрезвычайные происшествия — на это плюете. Вы уволены, Климент, вы и ваша шлюха. На ответственной политической должности я не могу держать такого ленивого и неспособного прохвоста, как вы.

Дело принимало серьёзный оборот — это мне было ясно. Но так как даже после такой бомбежки он не бросил трубку, то я осмелел и сказал:

— Господин директор, по моей информации в последнее время в больнице ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Я слышал, как он заорал. Так должны были орать в средневековые люди, когда палачи их сажали на раскаленную кочергу. Потом это затихло, и Пытлик начал снова меня распекать:

— Что же, по-вашему, шестерняшки не из ряда вон выходящие, вы, бестолочь? А что эту бабу привез лично командующий дружественной армией? А что он уже пять раз сюда звонил, как она себя чувствует?

— Об этом, извините, я не информирован, что он сюда звонил, — схватился я за последнее.

— Но зато я информирован! — разъярился он снова, как бык. — Копецкий всё подслушивает, вы, кретин!

Он тут же понизил голос, так как до него, очевидно, дошло, что Копецкий подслушивает его и сейчас. Он поспешил добавить прямо-таки восторженным тоном:

— Только благодаря бдительности нашей народ-

ной жандармерии промахов у нас не больше, чем могло бы быть.

Это вызвало некий поворот в нашей беседе и я спросил:

— Есть у вас какие-нибудь конкретные приказания, господин директор?

Он действительно успокоился и сказал:

— За всем внимательно следить и подавать мне донесения о каждом движении.

Сказал это и бросил трубку.

Я стоял перед двумя проблемами. Во-первых, установить, о каком движении шла речь. И, во-вторых: объявить тотальную мобилизацию Залабака и Коханного, а на всякий случай — и Мерседес, потому что Пытлик, наверное, об этом увольнении не говорил всерьёз, но, все-таки, в воздухе носилась огромная катастрофа, и теперь речь шла о том, чтобы выйти из неё без лишних неприятностей.

События, к счастью, быстро развивались дальше, и, благодаря этому, нам с Мерседес удалось совсем потеряться в такой сумятице. А когда приехали за Боушей, так мне было ясно, что мы выйдем сухими из воды. Тайфун обрушился в другом направлении.

Меня вызывали на допрос только раз, причем, к тому же, в совершенно фантаσμαгориической связи.

Привели меня в такой тихий кабинет, посадили и даже предложили американскую сигарету. Через пару секунд привели одного известного барахолковского цыгана, жена которого у нас регулярно раз в год рожала, и у него, наверное, было больше всего детей в целой округе. Дома у него из-за этого, верно, был такой сумасшедший дом, что он предпочитал все время сидеть в какой-нибудь пивнушке. Его посадили напротив меня. Я не имел понятия, что все это значит.

При этом присутствовал тот известный шпик,

ходивший к нам потихонечку следить за этими интеллигентами. Он задал мне вопрос:

— Господин Климент, спрашиваю вас как свидетеля, узнаете ли вы присутствующего здесь синьора Энрико Сальватини?

У меня прямо дыхание остановилось. Насколько я знал, этого типа звали, кажется, Тангош, или нечто вроде этого, и я помнил, как он у нас в больнице полгода тому назад перекапывал вместе с другими рабочими канализацию. Поэтому я засомневался.

Но референт не дал мне долго раздумывать.

— Так узнаете его, чёрт побери, или нет? — нетерпеливо спросил он.

Этот вопрос был задан вполне невинно, я сказал бы — он ни к чему не обязывал, но я по всему почувствовал, что они были бы рады, если бы я его узнал.

— Да, узнаю его, — сказал я тогда. — Это он.

Тангош даже ноздрей не пошевелил, будто бы ему было до фонаря, что из него сделают. А дома у него была такая куча детей!

Когда его опять увели, я подписал протокол, где говорилось, что в вызванном я признал итальянского гражданина, который, якобы, в последнее время часто оставлял свой автомобиль оливкового цвета у больницы, а также задерживался в проходной.

После этого референт отвел меня вниз к выходу, подал мне по-товарищески руку и сказал:

— Вы опять нам очень помогли, господин Климент, и мы умеем это ценить. Если у вас будут какие-нибудь проблемы, то можете с полным доверием к нам обратиться.

Когда я вышел на улицу, опять падал снег. Раньше, чем я успел надеть шапку, какая-то большая птица наделала мне на голову. Стояла, действительно, гнусная зима.

Глава VII

Прощальное письмо спецагента Доудеры

Милая Божка, пишу тебе свое последнее письмо в дамской уборной на вокзале в Запуках, потому что, благодаря игре судьбы, на гостиницу у меня уже денег не осталось, ресторан как раз закрылся, а заведующая этим местом госпожа Гоуфова оказалась настолько любезной, что в таком тяжелом положении предоставила мне пристанище и позволила — за плату 5 крон — посидеть тут у нее и написать это письмо, а также сварила мне кофе за 3 кроны, хотя ты, Божка, всегда варила кофе гораздо вкуснее; впрочем, не хочу проявлять неблагодарности, но мне досадно, что такой человек, как я, проводит последние минуты жизни в дамском вокзальном писсуаре, хоть уж тут ничего не поделаешь.

Когда допишу письмо, то выйду на улицу, прямо в снежную бурю, и пойду искать ближайший водоём, который не замерз, потому что повеситься я не умею, а также и не на чем, а застрелиться тоже не могу, поскольку служебное огнестрельное оружие у меня украл какой-то негодяй, видимо в поезде, в котором я сюда доехал, о чем тебе еще напишу, чтобы ты могла подробно информировать вышестоящие инстанции, ведь ты сама знаешь, Божка, кого я имею в виду, — не хочу здесь, в уборной, выдать служебную тайну, как будто не достаточно того, что уже случилось.

Нет другого выхода, Божка, чем этот водоём, надеюсь, что найду какой-нибудь подходящий, а если нет, то буду искать его до самого утра, ибо после того позора, который со мной, Божка, случился, я, спецагент и разведчик после стольких лет службы, которому всего три месяца недостает до пенсии, я бы

потом, будучи пенсионером, стыдился даже кормить синичек в парке.

Таскался я, Божка, за этой Покорной столько лет, и Мацоурек, сменявший меня в последнее время, может подтвердить, какая это была адская работа — пробираться за этой бабой по всем магазинам в Праге; тут только человек видит, каково это — достать каждую идиотскую рубашку, когда в витринах всё выглядит, будто всего полно, а хуже всего было, когда она искала ему пижаму, можно было с ума спятить, и я должен был от отчаяния так устроить, чтобы ей незаметно подсунули под руку хотя бы одну, какую она искала, из особого магазина для руководства, иначе свалилась бы от изнеможения сначала Покорна, а потом — я, но, скорей всего, было бы наоборот, Божка, о чем тебе еще напишу подробнее.

Ведь Мацоурек не случайно сейчас больным прикинулся, так что я и на Рождество, вместо того, чтобы хоть стоять в воротах на Коломазниковой улице или сидеть в машине на углу и время от времени заходить выпить чего-нибудь тепленького в трактир, должен вместо него тащиться по всей земле чешской, аж до самого Погорелова, а потом — автобусом и наконец, наверное, пять километров пешком в эту ужасную погоду, по колено в снегу, потом ждать два часа в лесу и снова волочиться обратно, и еще потом ждать три часа в нетопленном зале ожидания — ты бы сказала, Божка, моему вышестоящему органу, что это не шутка — быть в этом государстве простым трудящимся и не иметь в распоряжении служебной машины — так можно и здоровья лишиться, как, например, в моем случае.

Не замерз я в зале ожидания, где мы ждали уже обратный поезд, только потому, что когда Покорна там спокойно сидела и была при этом одна, я мог время от времени забегать в вокзальный ресторан попить грогу — хоть немного внутренне прогреться,

и не будь она на девятом месяце, так я, может быть, и ей чего-нибудь принес. Впрочем, я от этого удержался, я и так почти в пять раз превысил суточные — тут уж, Божка, мне тебе не приходится рассказывать, — но как мне теперь придумать какие-нибудь чрезвычайные расходы, раз я не способен выдумать даже какой-нибудь более благородный способ покончить с собой, чем отыскать незамерзший водоём?

Всё я, наконец, Божка, выдержал; сели мы с Покорной в поезд и поехали. Я думал: в Праге уж будет покой, братишка, так постарайся не заснуть, будь рад, что сидишь в тепле, теперь только смотри в оба, не будет ли она устанавливать с кем-нибудь контакт.

Сидела она у окна, я сел совершенно незаметно у дверей и делал вид, что сплю. С нами в купе ехали еще двое штатских и один железнодорожник из Лугачовиц, который пил из плетеной бутылки домашнюю сливовицу и нам тоже всё время предлагал. Ты, конечно, знаешь, Божка, что ради бдительности я из этой бутылки пить не стал — в ней и мышьяк мог быть подсыпан — но опять же ради незаметности я должен был в это включиться, раз уж не отказывались и те штатские, один из которых был водолаз, о чем я тебе, Божка, оттого пишу так подробно, поскольку это, с одной стороны, мое прощальное письмо, но также, отчасти, — служебное донесение для господина полковника, раз уж у меня нет другой возможности, чем тут, благодаря любезности здесь присутствующей госпожи Гоуфовой, которая мне как раз налила в кофе немного рому, — это очень приветливая дама, хоть, конечно, она и не знает, что я шпиик, иначе она, наверное, гнала бы меня в три шеи, — но она, во-первых, в самом деле этого не знает, а во-вторых, ты, Божка, умеешь варить кофе намного лучше.

Так вот, Божка, опять об этом поезде, в котором мы ехали, — железнодорожник из Лугачовиц пускал по кругу домашнюю сливовицу, в которой было не

меньше семидесяти градусов, а с Покорной перебрался лишь парочкой совершенно невинных слов, вроде: куда, мол, мать, в Сочельник да в такую непогодищу, ведь вы бы могли разрешиться и произвести на свет сынка прямо в поезде и тому подобное. Одним словом, никаких подозрительных или ехидных разговоров; только тот водолаз говорил, отпивая от бутылки: «Хоть выпивку нам еще не запретили», — на что железнодорожник из Лугачовиц сказал: «Могут нам всем поцеловать сам знаешь что». Этого он бы уж не должен говорить как государственный служащий, потому что кто другой, как не рабочий класс, его содержит, мы — своими мозолями; но прямо он этого не сказал — кто его там поцелует в зад, так что преследовать по суду его за это нельзя, хотя, конечно, каждый сразу догадается, кого он подразумевает, раз он уж так говорит. Я, конечно, должен был — ради незаметности — закрыть на это глаза, как будто я ничего не слышал, ведь мне была поручена Покорна, а не какой-нибудь вокзальный служащий из Лугачовиц, и, кроме того, если бы каждый, кто попало, хотел бы, чтоб ему поцеловали это самое, — этак мы бы набегались с господином полковником!

Когда мы понемногу приближались к Барахолкову, — а ехали мы из-за пурги, словно с кислым молоком, — то мне начало хотеться по маленькой нужде, в чем был виноват тот грог, выпитый мною в Погорелове. Ничего нельзя было поделать — я должен был на секунду выйти. Я как раз натягивал штаны, когда поезд останавливал. Хватаю за ручку, но ни за что на свете не могу открыть. Дёргал я за неё изо всех сил, наконец я даже снял ботинок и колотил в дверь каблуком, но всё напрасно — оказался я там запертым и не мог выйти, разве что начал бы стрелять в эту проклятую дверь, но это я, опять же — ради незаметности — делать не мог, хотя служебное огнестрельное ору-

жие у меня еще, думаю, было — его у меня, наверное, позже украли в вагоне-ресторане.

Мне хотелось расколошматить этот замок вдребезги; всё это случилось потому, что для венгерских вагонов ввозят болгарские дверные замки; было бы куда лучше, если бы они занимались выращиванием лука и делали мышеловки, а не такой важный промышленный товар, держащий человека и административный орган взаперти в уборной как раз в наименее подходящее для него время.

Я начал стучать в дверь, думал — не поможет ли мне кто-нибудь открыть её снаружи; это мы уже стояли на станции, как вдруг наконец мне с другой стороны кто-то говорит: будь, мол, спокоен, братишка, я позову проводника.

— Я схожу! — заорал я, чтоб заставить этого незнакомца поторопиться, а он мне на это спокойно:

— Так вылазь через окно, раз такая спешка!

В этот момент слышу, как на улице играет капелла, и вообще мне показалось слишком что-то уж шумно для такой дыры, как Барахолково; тогда я с огромным усилием поднял это примерзшее и, по крайней мере, пять лет не мытое окно, и тут мне открылась невообразимая картина. Прямо напротив моей уборной был зал ожидания и из него как раз три дружественных офицера выносили мою Покорную и тащили её куда-то прочь от вокзала. Это всё были высокие чины, один должен был быть не меньше полковника, Божка. А за ними тянулся целый хвост людей, даже детишки с цветами, — на что смотрю из окна моей маленькой уборной, совершенно беспомощный, и не верю своим глазам.

Совсем меня это добило. Сел я на унитаз и рассуждаю: это была, очевидно, другая Покорна, поменяли мне её в Погорелове, когда я бегал выпить грогу, я потом вместо неё следил за совсем другой бабой да еще, — судя по всему, — за супругой дружественного

полковника, которую теперь ждала в Барахолкове вся районная диспетчерская вместе с детишками и цветами, хоть и была такая собачья погода и рождественский вечер, к тому же.

Я опять начал колотить в дверь — теперь я уж стучал со всей мочи; поезд стал отходить и когда набрал скорость, кто-то выпустил меня наружу. Это был даже не проводник, а какой-то штатский, сразу же бросившийся внутрь, и к тому же хам, так как сказал мне: на станции на рельсы не валят, дядя, а особенно, когда приветствуют братскую делегацию, это же шикарная провокация, смотри, с этим поосторожнее! Подмигнул мне; я вылез вон, он засел внутри, и я только услышал, как он там воюет с открытым окном, чтобы на него не летел снег.

Я, само собой, не стал ждать. Помчался, как стрела, пролетел через вагон и нашел свое купе, конечно, пустым. Пальто там висели, но только мужские. Баба исчезла, и её сумка тоже испарилась — это было ясно. Я быстро прошел весь поезд до самого тендера; почтальонам я должен был даже, хоть и не рад, показать удостоверение; но не только нигде не было Покорной, но во всем поезде не было даже ни одной другой беременной!

Очевидно, я стал жертвой очень хитро организованного бегства, раз мне уже в Погорелове вместо моей Покорной подсунули такую похожую, скорее всего, — чучело вместо бабы. Но как ко всему этому припуталась дружественная держава?

Вражеская агентура, — сказал я себе грустно, — делает тут всё, что хочет, я могу с ног сбиться, а Мацоурек валяется дома в постели и симулирует прострел.

Так я и кончил в вагоне-ресторане, где нашел тоже железнодорожника из Лугачовиц да еще тех двоих из нашего купе. Они между тем допили сливовицу и пош-

ли продолжать в ресторан. Я спросил их: «Куда подевалась та гражданка?»

Объяснил мне это железнодорожник: она, дескать, забеспокоилась, попросила: господа, помогите мне выйти, у меня уже начинается. Ну, конечно, мы её сразу подхватили и вынесли в Барахолкове наружу, а там её прямо схватила дружественная армия!

— Наверняка, женушка того генерала, что к ней первый подскочил, — сказал один из штатских. — Хоть и говорила по-чешски совершенно нормально.

— А выглядела так прилично, — пожаловался второй, но мне уже начинало всё быть совсем до лампочки. Я спросил их:

— Что пьёте, господа?

Пили «Монастырскую тайну», потому что у заведующего ничего другого уже не осталось. Пока мы доехали в Запуки, то выпили еще три бутылки этой «Монастырской тайны», и до меня все время доходило, какие страшные последствия — в том числе международные — должны были произойти из-за того, что я потерял Покорную, которая сейчас — Бог знает где; и я не хотел думать, что майор Вывртник точно так же мог в этой метели потерять и Покорного.

Ты знаешь меня, Божка, — мне нельзя пить сверх меры; напиваясь, я устраиваю тарарам, что именно и случилось: при этом разбилось кое-какое стекло, и, вкратце, в Запуках меня из того вагона выперли, причём я перед тем должен был всё заплатить, так что в кармане у меня осталось две пятерки; и еще ко всему у меня украли служебное огнестрельное оружие. И не будь сочувствия любезной госпожи заведующей Гоуфовой, которая позволяет побыть у неё, хоть здесь довольно сильно воняет, — я замерз бы на дворе и не оставил бы после себя ни одной строчки; к тому же меня бы, наверное, засыпало снегом, и нашли бы меня разве что только весной, когда началась бы оттепель.

Так что, милая Божка, прощаюсь с тобой и с гос-

подином полковником, почтите мою память молчанием, стал я жертвой ловко организованного заговора западных шпионских центров. Сбери книжки лежат в ящике, под инструментом, похороны бы у меня должны быть государственные, будь здорова, я иду искать, где бы утопиться.

Твой любящий Карел.*

Глава VIII

О т в е т н а о б ъ я в л е н и е

Уважаемый П. Т.!

С большим интересом и удовольствием я прочитал Ваше объявление в воскресной «Народной политике», которая, к сожалению, попала мне в руки со значительным опозданием при затапливании печки, по той причине, что я работаю школьным сторожем в Первой экспериментальной вспомогательной школе в Гуменне.

В Вашем почт. объявлении Вы обращаетесь ко всем, кто были очевидцами памятных событий в Барахолкове, чтобы они любезно отозвались, или же посылали свои сообщения прямо.

Поскольку как раз я являюсь одним из таких свидетелей, то я попросил нашего господина директора, чтобы он был так добр и написал под мою почт. диктовку то, что я знаю об этих вещах, так как у господина директора почерк красивее, чем у меня, что Вы учтете, надеюсь, и в вопросе величины гонорара.

Зовут меня Василь Цибулак; я бывший денщик бывшего полковника Багратиона, позже — генерала,

* Господин Доудера жив и здоров, бодрый пенсионер в Погоре-лове. Вместо водоёма он прыгнул в силосную яму, и ничего с ним не случилось. Однако несколько недель он всё же скрывался, отчего возникли слухи о его похищении.

с которым я провел восемь незабываемых лет своей жизни, из них два года — прямо в Барахолкове. С полковником Багратионом я также прибыл в Барахолково в то время, когда он там принимал пост командира 117-го сапёрного полка дружественного гарнизона, размещенного прямо на площади.

Сначала я должен сказать несколько слов о моем генерале. Надеюсь, Вам не мешает, когда я говорю «генерал», хотя он был тогда только полковником, а генералом стал позже.

Мой полковник был большой добряк. Например, меня самого он мог спокойно приказать казнить пять или шесть раз, однако за всё время сделал это только один раз. Старший лейтенант Эйдельштейн, правда, правильно написал список приговоренных к казни, но сержант Рогаль, приводивший приказ в исполнение, умел читать только печатные буквы и поэтому приказал казнить вместо меня некоего Илкива, хотя тот и был как раз дома в отпуску на Земле Франца Иосифа.

До сегодняшнего дня вспоминаю об этом с большим волнением, а иногда даже плачу. Слышу залп, должен бы припасть к земле, пробитый, по крайней мере, тремя пулями, при условии, что в меня попала хотя бы треть, но вместо этого спокойно продолжаю чистить ботинки дальше, а через неделю казненный Илкив возвращается из отпуска с Земли Франца Иосифа — у него до сих пор на голове иней, и идет он в сопровождении чешской полиции, так как по дороге с вокзала от избытка радости перешиб уличный фонарь. Все мы очень радовались, потому что: «Тяжело в ученье — легко в походе».

Генерал получил — еще будучи простым майором — тяжелое ранение, когда наводил в Будапеште порядок вследствие беспорядков, к которым венгры питают такую слабость. Некий вероломный Лайош срезал ему пулей одно место — причем, особое сожаление

вызывает тот факт, что сделал он это прямо с третьего этажа Центрального Комитета здания Взаимной дружбы!

С того времени мы с генералом уже никогда не жили на третьем этаже, и денщиком генерал выбрал именно меня, чтобы госпожа Марфа не поддавалась случайно искушению. Однако бедняга генерал не предполагал, что в Барахолкове мы натолкнемся, с одной стороны, на мерзавца Блатника, который ей 15 раз отливал ручку, хотя их у неё было всего две, а потом передал её следующему бесстыднику в какую-то котельную, куда она должна была ходить переодетая почтальоншей!

Из-за несчастного выстрела начались и другие затруднения. С момента, когда его так варварски лишили мужской силы, генерал был прямо одержим стремлением оказывать помощь беременным женщинам. Может, потому, что сам он мог быть абсолютно уверен, что забеременели они от кого-нибудь другого, или же, наоборот, ему было жаль их, что они не могли забеременеть от него. Пусть уж причины были какие угодно, с того времени, в чём бы мы ни ехали, хоть на подъемном кране для понтонов, и где угодно, — хоть среди пустыни, — и случайно встретили беременную женщину, генерал приказывал остановить, мы погружали указанную особу и отвозили её как можно скорее в ближайший родильный дом. В большинстве случаев — не хотели, но генерал был неумолим.

К сожалению, за все это время, что мы вот так возили будущих матерей в родильные дома в самых различных городах, — а подобных случаев была масса, — только один раз действительно имелась такая необходимость. А случилось это именно в Барахолкове. Поэтому генерал никогда не переставал этим восхищаться, в особенности же, когда узнал, сколько детей сразу эта мать родила.

Я несколько предвосхищаю события, так как к

генералу я поступил в то время, когда он служил в Темешваре. В городе и окрестностях он отвез указанным выше способом за восемь месяцев в местный родильный дом всего 731 беременную женщину, причем, 617 женщин из этого числа было венгерской национальности, 102 оказались румынками, а 12 из них были настолько напуганы, что даже не могли указать нам свою национальность. Шестерых женщин из общего числа генерал распорядился отвезти вертолетами, а 27 — бронетранспортерами. За такую заботливость Областное общество по охране беременности в Банате на своем Шестом съезде единогласно присвоило генералу Почетную грамоту и Золотой значок повивального дела I степени.

Из этого, к сожалению, возникла политическая интрига. Темешвар, правда, принадлежит Румынии, но живут там почти сплошные венгры; кроме того, председателем Областного общества по охране беременности в то время был, по каким-то странным причинам, девяностолетний восточногерманский консул Классенбрудер, будто бы потому, что в молодости он был гомосексуалистом. Патронат над Шестым съездом взял на себя, чтоб это не путалось, болгарский Красный Полумесяц, а ту самую Почетную грамоту для генерала написали, видимо, по ошибке, по-сербски, так что единственная сторона, которая, — наверное, по традиции — не протестовала, была именно Чехословакия. Как раз по этой причине нас потом перевели в Барахолково, но афера из этого была ужасная, поскольку за это, понятно, ухватилась Албания и размазывала всю историю еще следующих три года в Организации Объединенных Наций.

Этим объясняется, почему после приезда в Барахолково, как увидел мой генерал, что из вагона выносят ту беременную, так немедленно пулей вылетел вон и забыл обо всем остальном. Кстати, я был тоже одним из тех, кто вместе с генералом, начальником

штаба и заместителем по снабжению помогал нести роженицу в Газик, хотя я нес лишь её сумку. Поэтому могу засвидетельствовать, что она была действительно в положении. Я также — общим счётом пять раз — до того, как к нам приехала госпожа Марфа и положила этому конец, носил за генерала в роддом цветы, а именно, — искусственные розы, потому что других тогда в цветочном магазине не имели. Продавщица всегда относилась ко мне приветливо, улыбалась и хотела знать, не делаем ли мы из них котлеты.

Так же дружески со мной обращались в проходной больницы, где я отдавал цветы, потому что дальше меня не пускали. В Чехии тогда было привычкой сажать в проходных исключительно людей образованных, докторов, доцентов, так как, очевидно, это считалось работой, требующей самой высокой квалификации.

Они мне в этой проходной обычно варили чай с ромом и разговаривали со мной, потому что, в отличие от других, те вахтеры знали и мой родной язык, который, собственно, до того времени даже я сам не знал как следует.

Один из этих докторов меня даже убедил в том, что было бы жаль, если бы я остался денщиком, и что мне надо бы продолжать учиться. Эти добрые люди сами записали меня потом на заочное обучение в какое-то высшее учебное заведение в Праге, и прямо в проходной я после сдал экзамены и был через полгода торжественно удостоен звания доктора РП, хотя, к сожалению, даже сам точно не знаю, что это такое*, но должно это быть что-то важное, потому что тот декрет, выданный мне ими, был совершенно оригинальный, с печатью, и подписали его семь чешских академиков.

* Д-р Василь Цибулак имеет, очевидно, в виду Академию Общественного Блага, выпускники которой получали звание РП Д-р — т.е. Родной Партии Доктор.

Вследствие этого декрета, я потом воспользовался дальнейшим хаосом и там же вернулся к штатской жизни, поскольку под влиянием слушания радиоприемника я думал, что чем дальше от Китая, тем лучше.

В первое время после этого я работал в антиалкогольной консультации в Оломоуце, где меня научно демонстрировали как пример последствий сливовицы. После запрещения антиалкогольной пропаганды я работал сурком в Татранском национальном парке, но когда между нами разнеслось, что готовится отстрел, то я отказался от работы и ушел в Бардейов, в Высшую пастушескую школу, где я читал лекции, как овец загонять.

Предложение стать ректором этого заведения я отклонил, потому что в Гуменне освободилось выгодное место школьного сторожа в Первой экспериментальной вспомогательной школе, где я работаю до настоящего времени.

Надеюсь, что мой рассказ поможет объяснить некоторые, до сих пор неясные, обстоятельства событий в Барахолкове.

В ожидании Вашего ответа, кончаю с приветом

Миру мир

Василь Цибулак, РП Д-р
собственноручно.

(Продолжение следует)

Иван Елагин

ЦИРК

Леониду Ржевскому

Гаснут лампы постепенно.
Стихла музыка. Пора.
На округлую арену
Хлынули прожектора.

Замаячили медведи
В голубом луче густом,
И в вечернем платье леди
Дирижирует хлыстом.

А медведи косолапы
И на роликах смешны,
А у клоуна-растяпы
С треском падают штаны!

Звонко хлопают копыта
В наступившей тишине,
По арене три джигита
На одном летят коне!

... Луна сегодня нанята
Сопутствовать стиху.
Вон жизнь моя натянута,
Как проволока вверху!

Деревья, трубы, кровельки,
Ворона на кресте.

А я иду по проволоке
На страшной высоте!

... Артиллерия ахает,
Дым столбами встает,
Верховые в папах
Разогнали народ.

Машут саблями бешено
И кричат на скаку,
Моя люлька подвешена
На крюках к потолку.

Может, вместо этого
Плыл над головой
Небосвод брезентовый —
Купол цирковой!

Вместо бедной квартирки,
Вместо стирки белья —
Там, под куполом цирка
Колыбелька моя!

Жонглер кидает обручи
И ловит в тот же миг,
Жонглер на этом поприще
Великого достиг!

Смотрите, настоящие
Творит он чудеса —
Бросает вверх горящие
Четыре колеса!

Мое же местожительство
Я сам не знаю где,
Летят, горя, правительства
В бесовской чехарде!

Что сделаешь, — с эпохою
Столкнулся таковой,
И я над суматохою
Качаюсь цирковой.

Луна ныряет в облаке,
Как ягодка во мху,
А я на тонкой проволоке
Качаюсь наверху.

Вон акробат с трапеции
Летит вниз головой,
Подхвачен по инерции
Трапедией другой.

Однако неперменные
Условия таковы,
Чтобы внизу ареною
Прогуливались львы!

Ступаю нерешительно.
Вот-вот я упаду!
Как головокружительно
Жилось мне в том году!

Казалось — вовсе лишнее
Мое житье-бытье:
Под проволокой хищное
Шатается зверье!

(И, занятый уборкой,
Внизу бежит бочком
Лауреат с ведерком,
С услужливым совком!

Там вурдалак во френче
Ведет локомотив,

Рычаг как можно крепче
Когтями ухватив!

А клоун — кто он?
Жилет, как радуга,
Походит клоун
На Карла Радека!

Любому ясно, чай,
Что пуля клоуну,
Как ни паясничай,
Приуготована!)

Луна бросает промельки
Продрогшему стиху,
А я иду по проволоке
Под куполом вверху.

Вот бегут по арене
Боевые слоны —
Это столпотворенье,
Это грохот войны!

За слона ухватиться
И бежать наравне,
Как бегут пехотинцы,
Прижимаясь к броне.

Непременно сирена
Загудит с вышины,
И, гремя, на арену
Пушку вкатят слоны.

А жерло в три обхвата!
Выше зданий-громзд!
И туда-то, меня-то
Запихнут, как снаряд!

Пробезумствует выстрел —
И куда-то, Бог весть,
Пролечу я со свистом
Через цирк — через весь,

Пролечу исступленно,
Как летит метеор,
До мостов над Гудзоном,
До Великих озер,

До холмов Сан-Франциско,
До вермонтских холмов...
Остается приписка —
Только несколько слов:

Ночь вагонами брякала,
Ночь звенела дождем,
Надымила, наплакала,
Наврала обо всем.

Вниманию любителей поэзии!

Группа поэтов и критиков
новой эмиграции начинает
издание серии

«Р И Т М»

(Библиотека современного поэта)

«Ритм» ставит себе целью издание книг:

1. Поэтов, живущих на родине и не имеющих возможности там печататься.
2. Поэтов новой эмиграции.
3. Иноязычных поэтов в переводе своих современников.

В ближайших планах серии:

Елена Игнатова (Ленинград). «Стихи о причастности».

Анри Волохонский (Иерусалим). Стихи.

Вера Френкель (Ленинград).

Шоке Гасан (Ереван). Перевод с курдского В. Бетаки.

Вышла первая книга «Ритма»:

Виолетта Иверни — Стихи.

Книга в ближайшее время поступит в магазины.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Главы из второй книги романа

70

Майор Ершов, вернувшись с работы, остановился у нар Мостовского, сказал:

— Слышал американец радио, — наше сопротивление под Сталинградом ломает расчеты немцев.

Он наморщил лоб и добавил:

— Да еще сообщение из Москвы — о ликвидации Коминтерна, что ли.

— Да вы что, спятили? — спросил Мостовской, глядя в умные глаза Ершова, похожие на холодную, мутноватую, весеннюю воду.

— Может быть, америкашка спутал, — сказал Ершов и стал драть ногтями грудь. — Может быть, наоборот, Коминтерн расширяется.

Мостовской знал в своей жизни немало людей, которые как бы становились мембраной, выразителями идеалов, страстей, мыслей всего общества. Мимо этих людей, казалось, никогда не проходило ни одно серьезное событие в России. Таким выразителем мыслей и идеалов лагерного общества был Ершов. Но слух о ликвидации Коминтерна совершенно не был интересен лагерному властителю дум.

Бригадный комиссар Осипов, ведавший политическим воспитанием большого воинского соединения, был тоже равнодушен к этой новости.

Осипов сказал:

— Генерал Гудзь мне сообщил: — вот через ваше интернациональное воспитание, товарищ комиссар, драп начался, надо было в патриотическом духе воспитывать народ, в русском духе.

— Это как же — за Бога, царя, отечество? — усмехнулся Мостовской.

— Да всё ерунда, — нервно зевая сказал Осипов, — тут дело не в ортодоксии, дело в том, что немцы шкуру с нас живьем сдерут, товарищ Мостовской, дорогой отец.

Испанский солдат, которого русские звали Андриюшкой, спавший на нарах третьего этажа, написал «Stalingrad» на деревянной планочке и ночью смотрел на эту надпись, а утром переворачивал планку, чтобы рыскавшие по бараку капо не увидели знаменитое слово.

Майор Кириллов сказал Мостовскому:

— Когда меня не гоняли на работу, я валялся сутками на нарах. А сейчас я себе рубаху постирал и сосновые щепки жую против цынг.

А штрафные эсэсовцы, прозванные «веселые ребята» (они на работу ходили всегда с пением) с еще большей жестокостью придирались к русским.

Невидимые связи соединяли жителей лагерных барачков с городом на Волге. А вот Коминтерн оказался всем безразличен.

В эту пору к Мостовскому впервые подошел эмигрант Чернецов.

Прикрывая ладонью пустую глазницу, он заговорил о радиопередаче, подслушанной американцем.

Так велика была потребность в этом разговоре, что Мостовской обрадовался.

— Вообще-то источник неавторитетный, — сказал Мостовской, — чушь, чушь.

Чернецов поднял брови, — это очень нехорошо

выглядело — недоуменно и неврастенично поднятая над пустым глазом бровь.

— Чем же? — спросил одноглазый меньшевик. — В чем невероятное? Господа большевики создали Третий Интернационал и господа большевики создали теорию так называемого социализма в одной стране. Сие соединение суть нонсенс. Жареный лёд... Георгий Валентинович в одной из своих последних статей писал: «социализм может существовать как система мировая, международная, либо не существовать вовсе».

— Так называемый социализм? — спросил Михаил Сидорович.

— Да, да, так называемый. Советский социализм. Чернецов улыбнулся и увидел улыбку Мостовского. Они улыбнулись друг другу потому, что узнали свое прошлое в злых словах, в насмешливых, ненавидящих интонациях.

Словно вспоров толщу десятилетий, блеснуло острие их молодой вражды и эта встреча в гитлеровском концлагере напомнила не только о многолетней ненависти, а и о молодости.

Этот лагерный человек, враждебный и чужой, любил и знал то, что знал и любил в молодости Мостовской. Он, а не Осипов, не Ершов, помнил рассказы о временах первого съезда, имена людей, которые лишь им обоим остались не безразличны. Их обоих волновали отношения Маркса и Бакунина, и то, что говорил Ленин, и что говорил Плеханов о мягких и твердых искровцах. Как сердечно относился слепой, старенький Энгельс к молодым русским социал-демократам, приехавшим к нему, какой язвой была в Цюрихе Любочка Аксельрод!

Чувствуя, видимо, то, что чувствовал Мостовской, одноглазый меньшевик сказал с усмешкой:

— Писатели трогательно описывали встречу друзей молодости, а что ж встреча врагов молодости,

вот таких седых, замученных старых псов, как вы и я.

Мостовской увидел слезу на щеке Чернецова. Оба понимали: лагерная смерть скоро заровняет, занесет песком всё, что было в долгой жизни, — и правоту, и ошибки, и вражду.

— Да, — сказал Мостовской. — Тот, кто враждует с тобой на протяжении всей жизни, становится поневоле и участником твоей жизни.

— Странно, — сказал Чернецов, — вот так встретиться в этой волчьей яме. — Он неожиданно добавил: — Какие чудные слова: пшеница, жито, грибной дождь...

— Ох и страшен этот лагерь, — смеясь сказал Мостовской, — по сравнению с ним всё кажется хорошим, даже встреча с меньшевиком.

Чернецов грустно кивнул.

— Да, уж действительно, нелегко вам.

— Гитлеризм, — проговорил Мостовской, — гитлеризм! Я не представлял себе подобного ада!

— Вам-то чего удивляться, — сказал Чернецов, — вас террором не удивишь.

И точно ветром сдуло то грустное и хорошее, что возникло между ними. Они заспорили с беспощадной злобой.

Клевета Чернецова была ужасна тем, что питалась не одной лишь ложью. Жестокости, сопутствующие советскому строительству, отдельные промашки Чернецов возводил в генеральную закономерность. Он так и сказал Мостовскому:

— Вас, конечно, устраивает мысль, что в тридцать седьмом году были перегибы, а в коллективизации головокружение от успеха, и что ваш дорогой и великий несколько жесток и властолюбив. А суть-то в обратном: чудовищная бесчеловечность Сталина и сделала его продолжателем Ленина. Как у вас любят писать: Сталин это Ленин сегодня. Вам всё кажется,

что нищета деревни и бесправие рабочих — всё это временное, трудности роста. Пшеница, которую вы, истинное кулачье, монополисты покупаете у мужика по пятаку за кило и продаете тому же мужику по рублю за кило, это и есть первооснова вашего строительства.

— Вот и вы, меньшевик, эмигрант, говорите — Сталин это Ленин сегодня, — сказал Мостовской, — мы наследники всех поколений русских революционеров от Пугачева и Разина. Не ренегаты меньшевики, бежавшие за границу, а Сталин — наследник Разина, Добролюбова, Герцена.

— Да, да, наследники! — сказал Чернецов. — Знаете, что значили для России свободные выборы в Учредительное собрание? В стране тысячелетнего рабства! За тысячу лет Россия была свободна немногим больше полугода. Ваш Ленин не наследовал, а загубил русскую свободу. Когда я думаю о процессах тридцать седьмого года, мне вспоминается совсем другое наследство; помните полковника Судейкина, начальника третьего отделения, он совместно с Дегаевым хотел инсценировать заговоры, запугать царя и таким путем захватить власть. А вы считаете Сталина наследником Герцена?

— Да вы что, впрямь дурак? — спросил Мостовской, — вы что, всерьёз о Судейкине? А величайшая социальная революция, экспроприация экспроприаторов, фабрики, заводы, отнятые от капиталистов, а земля, забранная у помещиков? Проглядели? Это чье наследство, — Судейкина, что ли? А всеобщая грамотность, а тяжелая промышленность? А вторжение четвертого сословия, рабочих и крестьян, во все области человеческой деятельности? Это что ж, — судейкинское наследство? Жалко вас делается.

— Знаю, знаю, — сказал Чернецов, — с фактами не спорят. Их объясняют. Ваши маршалы и писатели, и доктора наук, художники и наркомы не слуги проле-

тариата. Они слуги государства. А уж тех, кто работает в поле и цехах, я думаю, и вы не решитесь называть хозяевами. Какие уж они хозяева!

Он вдруг наклонился к Мостовскому и сказал:

— Между прочим, из всех вас я уважаю лишь одного Сталина. Он ваш каменщик, а вы чистоплюи! Сталин-то знает: железный террор, лагеря, средневековые процессы ведьм, — вот на чём стоит социализм в одной отдельно взятой стране.

Михаил Сидорович сказал Чернецову:

— Любезный, всю эту гнусь мы слышали. Но вы об этом, я должен вам сказать откровенно, говорите как-то особо подло. Так паскудить, гадить может человек, который с детства жил в вашем доме, а потом был выгнан из него. Знаете, кто он, этот выгнанный человек... Лакей!

Он пристально посмотрел на Чернецова и сказал:

— Не скрою, сперва мне хотелось вспомнить то, что связывало нас в девяносто восьмом году, а не то, что развело в девятьсот третьем.

— Покалякать о том времени, когда лакея еще не выгнали из дома?

Но Михаил Сидорович всерьёз рассердился.

— Да, да, вот именно! Выгнанный, бежавший лакей! В нитяных перчатках! А мы не скрываем: мы без перчаток. Руки в крови, в грязи! Что ж! Мы пришли в рабочее движение без плехановских перчаток. Что вам дали лакейские перчатки? Иудины серебряники за статейки в вашем «Социалистическом вестнике»? Здесь лагерные англичане, французы, поляки, норвежцы, голландцы в нас верят! Спасение мира в наших руках! В силе Красной Армии! Она армия свободы!

— Так ли, — перебил Чернецов, — всегда ли? А захват Польши по сговору с Гитлером в тридцать девятом году? А раздавленные вашими танками Латвия, Эстония, Литва? А вторжение в Финляндию?

Ваша армия и Сталин отнимали у малых народов то, что дала им революция. А усмирение крестьянских восстаний в Средней Азии? А усмирение Кронштадта? Всё это для ради свободы и демократии? Ой ли?

Мостовской поднес руки к лицу Чернецова и сказал:

— Вот они, без лакейских перчаток!

Чернецов кивнул ему:

— Помните, жандармского полковника Стрельникова? Тоже работал без перчаток: писал фальшивые признания вместо забитых им до полусмерти революционеров. Для чего вам понадобился тридцать седьмой год? Готовились бороться с Гитлером, этому вас Стрельников или Маркс учил?

— Ваши зловонные слова меня не удивляют, — сказал Мостовской, — вы ничего другого не скажете. Знаете, что меня действительно удивляет? К чему вас гитлеровцы держат в лагере? Зачем? Нас они ненавидят до иступления. Тут всё ясно. Но зачем вас и подобных вам, держать Гитлеру в лагере!

Чернецов усмехнулся, лицо его стало таким, каким было в начале разговора.

— Да вот видите, держат, — сказал он. — Не пускают. Вы походатайствуйте, может быть, меня и отпустят.

Но Мостовской не хотел шутить.

— Вы с вашей ненавистью к нам не должны сидеть в гитлеровском лагере. И не только вы, вот и этот субъект. — И он указал на подходившего к ним Иконникова-Моржа.

Лицо и руки Иконникова были запачканы глиной.

Он сунул Мостовскому несколько грязных, исписанных листов бумаги и сказал:

— Прочтите, может быть, придется завтра погибнуть.

Мостовской, пряча листки под тюфяк, раздраженно проговорил:

— Прочту, почему это вы собрались покинуть сей мир?

— Знаете, что я слышал? Котлованы, которые мы выкопали, назначены для газовни. Сегодня уже начали бетонировать фундаменты.

— Об этом ходил слух, — сказал Чернецов, — еще когда прокладывали широкую колею.

Он оглянулся и Мостовской подумал, что Чернецова занимает — видят ли пришедшие с работы, как он запросто разговаривает со старым большевиком. Он, вероятно, гордится этим перед итальянцами, норвежцами, испанцем, англичанами. Но больше всего он, вероятно, гордился этим перед русскими военнопленными.

— А мы продолжали работать? — спросил Иконников-Морж, — участвовали в подготовке ужаса?

Чернецов пожал плечами:

— Вы что думаете, — мы в Англии? Восемь тысяч откажутся от работы и всех убьют в течение часа.

— Нет, не могу, — сказал Иконников-Морж. — Не пойду, не пойду.

— Если откажетесь работать, вас кокнут через две минуты, — сказал Мостовской.

— Да, — сказал Чернецов, — можете поверить этим словам, товарищ знает, что значит призывать к забастовке в стране, где нет демократии.

Его расстроил спор с Мостовским. Здесь, в гитлеровском лагере, фальшиво, бессмысленно прозвучали в его собственных ушах слова, которые он столько раз произносил в своей парижской квартире. Прислушиваясь к разговорам лагерников, он часто ловил слово — Сталинград, — с ним, хотел он этого или нет, связывалась судьба мира.

Молодой англичанин показал ему знак виктории и сказал:

— Молюсь за вас, — Сталинград остановил лавину. — И Чернецов ощутил счастливое волнение, услышав эти слова.

Он сказал Мостовскому:

— Знаете, Гейне говорил, что только дурак показывает свою слабость врагу. Но, ладно, я дурак, вы совершенно правы, мне ясно великое значение борьбы, которую ведет ваша армия. Горько русскому социалисту понимать это и понимая радоваться, гордиться и страдать, и ненавидеть вас.

Он смотрел на Мостовского и тому казалось, будто и второй зрячий глаз Чернецова налился кровью.

— Но неужели и здесь вы не осознали своей шкурой, что человек не может жить без демократии и свободы? Там, дома, вы забыли об этом! — спросил Чернецов.

Мостовской наморщил лоб.

— Послушайте, хватит истерики.

Он оглянулся и Чернецов подумал, что Мостовской встревожен, — видят ли пришедшие с работы, как запросто разговаривает с ним эмигрант-меньшевик. Он, вероятно, стыдился этого перед иностранцами. Но больше всего он стыдился перед русскими военнопленными.

Кровавая слепая яма в упор смотрела на Мостовского.

Иконников дернул за разутую ногу сидевшего на втором этаже священника, на ломаном французском, немецком и итальянском языке стал спрашивать:

— Que dois je faire, mio padre? Nous travaillons dans una Fernichtungslager.

Антрацитовые глаза Гарди оглядывали лица людей.

— Tout le monde travaille là-bas. Et moi je travaille là-bas. Nous sommes des esclaves, — медленно сказал он. — Dieu nous pardonnera.

— C'est son métier — добавил Мостовской.

— Mais ce n'est pas votre métier, — с укоризной произнес Гарди.

Иконников-Морж быстро заговорил:

— Вот, вот, Михаил Сидорович, с вашей точки тоже ведь так, а я не хочу отпущения грехов. Не говорите — виноваты те, кто заставляет тебя, ты раб, ты не виновен, ибо ты не свободен. Я свободен! Я строю фернигтунгслагерь, я отвечаю перед людьми, которых будут душить газом. Я могу сказать «нет»! Какая сила может запретить мне это, если я найду в себе силу не бояться уничтожения. Я скажу: нет! Je dirai non, mio padre, je dirai non!

Руки Гарди коснулись седой головы Иконникова.

— Donnez-moi votre main, — сказал он.

— Ну, сейчас будет увещание пастырем заблудшей в гордыне овцы, — сказал Чернецов, и Мостовской с невольным сочувствием кивнул его словам.

Но Гарди не увещевал Иконникова, он поднес грязную руку Иконникова к губам и поцеловал ее.

71

На следующий день Чернецов разговаривал с одним из своих немногочисленных советских знакомых, красноармейцем Павлюковым, работавшим санитаром в реви́ре.

Павлюков стал жаловаться Чернецову, что скоро его выгонят из реви́ра и погонят рыть котлованы.

— Это всё партийные строят, — сказал он, — им невыносимо, что я на хорошем месте устроился: сунул кому надо. Они в подметалы, на кухне, в ватрауме всюду своих поустраивали. Вы, папаша, помните, как в мирное время было? Раиком свои. Местком свои. Верно ведь? А здесь у них тоже шарашкина контора, свои на кухне, своим порции дают.

Старого большевика они содержат, как в санатории, а вы вот как собака пропадаете, никто из них в вашу сторону не посмотрит. А разве это справедливо? Тоже весь век на Советскую власть ишачили.

Чернецов, смущаясь, сказал ему, что он двадцать лет не жил в России. Он уже заметил, что слова «эмигрант», «заграница» сразу же отталкивают от него советских людей. Но Павлюков не стал насторожен после слов Чернецова.

Они присели на груде досок и Павлюков, широконосый, широколобый, настоящий сын народа, как подумал Чернецов, глядя в сторону часового, ходившего в бетонированной башенке, сказал:

— Некуда мне податься, только в добровольческое формирование. Или в доходяги и накрыться.

— Для спасения жизни, значит? — спросил Чернецов.

— Бесчестно, неблагородно, нехорошо, — сказал он. — Не время счёты сводить, не так их сводят. Нехорошо перед самим собой, перед своей землей.

Он встал с досок и провел рукой по заду.

— Меня не заподозришь в любви к большевикам. Правда, не время, не время счёты сводить. А к Власову не ходите. — Он, вдруг, запнулся и добавил: — Слышите, товарищ, не ходите! — И от того, что произнес, как в старое, молодое время слово «товарищ», он уже не мог скрыть своего волнения и не скрыл, а пробормотал: — Боже мой, Боже мой, мог ли я...

Поезд отошел от перрона. Воздух был туманный от пыли, от запаха сирени и весенних городских помоек, от паровозного дыма, от чада, идущего из кухни привокзального ресторана.

Фонарь всё уплывал, удалялся, а потом стал казаться неподвижным среди других зеленых и красных огней.

Студент постоял на перроне, пошел через боковую калитку. Женщина, прощаясь, обхватила руками его шею и целовала в лоб, в волосы, растерянная, как и он, внезапной силой чувства... Он шел с вокзала и счастье росло в нем, кружило голову, казалось, что это начало — завязка того, чем наполнится вся его жизнь...

Он вспоминал этот вечер, покидая Россию, по дороге на Славуту. Он вспоминал его в парижской больнице, где лежал после операции — удаления заболевшего глаукомой глаза, вспоминал, входя в полутемный, прохладный подъезд банка, в котором служил.

Об этом написал поэт Ходасевич, бежавший, как и он, из России в Париж:

«Странник идет, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет коляска на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгли в коридоре —
Мне почему-то припомнилась ты.
Что б ни случилось: на суше, на море
Или на небе — мне вспомнишься ты...»

Ему хотелось вновь подойти к Мостовскому, спросить:

— А вы не знали такой Наташи Задонской, жива ли она? И неужели вы все эти десятилетия ходили с ней по одной земле?

На вечернем апелле штубенэльтерсте гамбургский вор-взломщик Кейзе, носивший желтые краги и клетчатый кремовый пиджак с накладными карманами, был хорошо расположен. Коверкая русские слова, он негромко напевал: «Esli zavtra voina, esli zavtra v pochod...»

Его мягкое, шафранового цвета лицо с карими, пластмассовыми глазами выражало в этот вечер благодущие. Пухлая, белоснежная, без единого волоска рука, с пальцами, способными удавить лошадь, хлопывала по плечам и спинам заключенных. Для него убить было так же просто, как шутки ради подставить ножку. После убийства он ненадолго возбуждался, как молодой кот, поигравший с майским жуком.

Убивал он чаще всего по поручению штурмфюрера Дроттенхара, ведавшего санитарной частью в блоке восточного района.

Самым трудным в этом деле было оттащить тела убитых на кремацию, но этим Кейзе не занимался, никто бы не посмел предложить ему такую работу.

Он радовался не своей громадной физической силе, не своему умению идти напролом, сшибить с ног, взломать кассовую сталь. Он любовался своей душой и умом, он был загадочен и сложен. Его гнев, расположение, возникали не по обычному, — казалось, без логики. Когда весной с транспорта в особый барак были пригнаны отобранные гестапо русские военнопленные, Кейзе попросил их спеть любимые им песни.

Четыре с могильными взглядами, с опухшими руками русских человека выводили:

Где же ты, моя Сулико?

Кейзе, пригорюнившись, слушал, поглядывал на стоявшего с краю скуластого человека. Кейзе из

уважения к артистам не прерывал пения, но когда певцы замолчали, он сказал скуластому, что тот в хоре не пел, пусть теперь споет соло. Глядя на грязный ворот гимнастерки этого человека со следами споротых шпал, Кейзе спросил:

— Verstehen Sie, Herr Major, ты понял, блядь? Человек кивнул, он понял.

Кейзе взял его за ворот и легонько встряхнул, так встряхивают неисправный будильник. Прибывший с транспорта военнопленный пихнул Кейзе в скулу кулаком и ругнулся.

Казалось, русскому пришел конец. Но гаулейтер особого барака не убил майора Ершова, а подвёл его к нарам в углу, у окна. Они пустовали, ожидая приятного для Кейзе человека. В тот же день Кейзе принёс Ершову крутое гусиное яйцо и хохоча дал ему: Ihre Stimme wird schön!

С тех пор Кейзе хорошо относился к Ершову. И в бараке с уважением отнеслись к Ершову, его неспасаемая жесткость была соединена с характером мягким и веселым.

Сердился на Ершова после случая с Кейзе один из исполнителей «Сулико», бригадный комиссар Осипов.

— Тяжелый человек, — говорил он.

Вскоре после этого происшествия и окрестил Мостовской Ершова властителем дум.

Кроме Осипова, испытывал недоброжелательность к Ершову всегда замкнутый, всегда молчаливый военнопленный Котиков, знавший всё обо всех. Был Котиков какой-то бесцветный — и голос бесцветный, и глаза, и губы. Но был он настолько бесцветен, что эта бесцветность запоминалась, казалась яркой.

В этот вечер веселость Кейзе при аппеле вызвала в людях повышенное чувство напряжения и страха.

Жители бараков всегда ждали чего-то плохого, и страх, предчувствие, томление и днем и ночью, то усиливаясь, то слабей, жили в них.

Перед концом вечерней поверки в особый барак вошли восемь лагерных полицейских — капо — в дурацких, клоунских фуражках, с ярко-жёлтой перевязью на рукавах. По их лицам видно было, что свои котелки они наполняют не из общего лагерного котла.

Командовал ими высокий белокурый красавец, одетый в стального цвета шинель со споротыми нашивками. Из-под шинели видны были кажущиеся от алмазного блеска светлыми, лакированные сапоги.

Это был начальник внутрилагерной полиции Кениг, — эсэсовец, лишенный за уголовные преступления звания и заключенный в лагерь.

— Mütze ab! — крикнул Кейзе.

Начался обыск. Капо привычно, как фабричные рабочие, выстукивали столы, выявляя выдолбленные пустоты, встряхивали тряпье, быстрыми, умелыми пальцами проверяли швы на одежде, просматривали котелки.

Иногда они, шутя, поддав кого-нибудь коленом под зад, говорили: «Будь здоров».

Изредка капо обращались к Кенигу, протягивая найденную записку, блокнот, лезвие безопасной бритвы. Кениг взмахом перчатки давал понять — интересен ли найденный предмет.

Во время обыска заключенные стояли, построившись в шеренгу.

Мостовской и Ершов стояли рядом, поглядывали на Кенига и Кейзе. Фигуры обоих немцев казались литыми.

Мостовского пошатывало, кружилась голова. Ткнув пальцем в сторону Кейзе, он сказал Ершову:

— Ах и субъект!

— Ариец классный, — сказал Ершов. Не желая,

чтобы его услышал стоявший вблизи Чернецов, он сказал на ухо Мостовскому: — Но и наши ребятки бывают, дай Боже!

Чернецов, участвуя в разговоре, которого он не слышал, сказал:

— Священное право всякого народа иметь своих героев, святых и подлецов.

Мостовской, обращаясь к Ершову, но отвечая не только ему, сказал:

— Конечно, и у нас найдешь мерзавцев, но что-то есть в немецком убийце такое, неповторимое, что только в немце и может быть.

Обыск кончился. Была подана команда отбоя. Заключенные стали взбираться на нары.

Мостовской лег, вытянул ноги. Ему подумалось, что он не проверил, всё ли цело в его вещах после обыска — кряхтя приподнялся, стал перебирать барахло.

Казалось, не то исчез шарф, не то холстинка-портянка. Но он нашел и шарф, и портянку, а тревожное чувство осталось.

Вскоре к нему подошел Ершов и негромко сказал:

— Капо Недзельский треплет, что наш блок расстреляют, часть оставят для обработки, большинство в общие лагеря.

— Ну что ж, — сказал Мостовской, — наплевать.

Ершов присел на нары, сказал тихо и внятно:

— Михаил Сидорович!

Мостовской приподнялся на локте, посмотрел на него.

— Михаил Сидорович, задумал я большое дело, буду с вами о нем говорить. Пропадать, так с музыкой!

Он говорил шепотом и Мостовской, слушая Ершова, стал волноваться, — чудный ветер коснулся его.

— Время дорого, — говорил Ершов. — Если этот

чертов Сталинград немцы захватят, опять заплесневеют люди. По таким, как Кириллов, видно.

Ершов предлагал создать боевой союз военнопленных. Он произносил пункты программы на память, точно читал по написанному.

...Установление дисциплины и единства всех советских людей в лагере, изгнание предателей из своей среды, нанесение ущерба врагу, создание комитетов борьбы среди польских, французских, югославских и чешских заключенных...

Глядя поверх нар в мутный полусвет барака, он сказал:

— Есть ребята с военного завода, они мне верят, будем накапливать оружие. Размахнемся. Связь с десятками лагерей, боевые тройки, единство с немецкими подпольщиками, террор против изменников. Конечная цель: всеобщее восстание, единая свободная Европа...

Мостовской повторил:

— Единая свободная Европа... ах, Ершов, Ершов.

— Я не треплюсь. Наш разговор — начало дела.

— Становлюсь в строй, — сказал Мостовской и, покачивая головой, повторил: — Свободная Европа... вот и в нашем лагере секция Коммунистического Интернационала, а в ней два человека, один из них беспартийный.

— Вы и немецкий, и английский, и французский знаете, тысячи связей вяжутся, — сказал Ершов. — Какой вам еще Коминтерн — лагерники всех стран, соединяйтесь!

Глядя на Ершова, Михаил Сидорович произнес давно забытые им слова:

— Народная воля! — и удивился, почему именно эти слова вдруг вспомнились ему.

А Ершов сказал:

— Надо переговорить с Осиповым и полковником Златокрыльцем. Осипов — большая сила! Но он меня не любит, — поговорите с ним вы. А я с полковником сегодня поговорю. Составим четверку.

Les Cahiers du Samizdat

(Тетради Самиздата)

Ежемесячное издание

В «Тетрадах Самиздата» печатаются выдержки из «Хроники текущих событий», «Хроники литовской католической церкви» и других самиздатских журналов. Приводятся воззвания, заявления для прессы, различная информация о жизни и положении демократических кругов в Советском Союзе, о религии и т. д.

Адрес редакции: Les «Cahiers du Samizdat» asbl, 105 drève du Duc, 1170 — Bruxelles, Belgique. Abonnement annuel 350 bfr. (Avion hors d'Europe 550 Fr.) CCP Bruxelles
n° 000-09718.85-42

Россия и современность

К столетию народничества

Давид А н и н

«Земля и воля»

Ядром этой статьи является генеалогия русской революции — попытка найти ее корни, выявить ее стремления, найти ее главный стержень, уяснить себе, почему она пошла по тому пути, по которому она пошла.

Кто были предтечами революции и ленинизма-большевизма, который наложил на революцию такую несмываемую печать? К этим вопросам приходится возвращаться, ибо с годами они предстают в другом свете. Неверно, мне кажется, представлять их скопом — по кружкам, движениям, партиям, — ибо в самих кружках и движениях существовало острое несогласие.

К примеру: сказать, что в общем и целом народники и народовольцы были предтечами большевизма, не так уж неверно; однако, что мы сделаем с Чайковским (главой кружка «чайковцев»), с Кропоткиным, который в 1917 году был антибольшевиком и оборонцем, с Плехановым, который буквально до последнего издыхания не переставал бороться с большевизмом?

В широком смысле этого слова, этих предтеч было много и из разных, казалось, нереволюционных кругов. Вливаясь разными ручейками, они стекались за вышедшее за берега огромное озеро. В этом смысле (если пользоваться крайними примерами) Бакунин и Толстой, примыкая как будто к диаметрально про-

тивоположным кругам и течениям, в общем, делали что-то общее; все они вместе, хоть и каждый по-своему, подтачивали старый порядок.

Размышляя сейчас об этих предтечах, следует сделать одну очень существенную оговорку. В данном случае нас интересует не интеллигенция как таковая (в широком смысле этого понятия), а исключительно революционная интеллигенция, то есть та «прослойка», которая непосредственно занималась подготовкой революции, еще точнее, те, которые себя называли «профессиональными революционерами»; для большей ясности воспользуемся метким определением одного наблюдательного иностранца: «Истые и потенциальные Пугачевы с университетскими дипломами». Пугачевы, профессиональные революционеры — это уже сильно сужает нашу тему. Тем не менее, она все еще широка и многогранна. Заглавие статьи может дать повод для некоторых недоразумений. Почему столетие? Разве народничество было основано в 1874-5 годах?

Почему столетие?

Нет, народничество было основано не в 1874 году, а гораздо раньше. 1874 год был, однако, годом расцвета народничества и его влияния среди молодежи. 1874 год был годом «хождения в народ», когда тысячи молодых людей пошли в села и деревни, — одни помогать народу, его лечить, обучать грамоте; другие — пропагандировать, звать на бунт... С другой стороны, этот год в народническом движении оказался **переломным**, ибо, вопреки их ожиданиям, народники, движимые самыми благими намерениями, были народом отвергнуты, не поняты и часто даже переданы властям и полиции. В результате этого, мягко выражаясь, негостеприимного отношения крестьянского

народа, среди бунтарей 1874 года наступает разочарование. При таком положении, естественно, происходит своего рода переоценка ценностей и пересмотр тактики и программы. Если мирные средства борьбы дают нежелаемые результаты, если народ нас не понимает и нам не верит, надо прибегнуть к другим приемам борьбы... Сколько их было, этих самоотверженных молодых людей, готовых бросить карьеры и пойти за мужика в тюрьму, на каторгу, в ссылку, а потом даже на виселицу? Официальных цифр на этот счет не существует. Имеются, однако, косвенные ответы. Народническая литература утверждала, что в 60-80-х годах трудно было найти гимназиста, или студента, которому в какой-то момент его жизни не пришлось «познакомиться» с Охранным Отделением.

Широкий спектр народничества

Расплывчатое понятие, не только в смысле начала и конца, народничество, в широком смысле этого слова, начинается уже в первых десятилетиях прошлого века. Действительно, позволительно считать народником не только Радищева, у которого сжималось сердце, когда он осмотрелся вокруг, как крепостные живут, но и такого западника и католика, как Чаадаев. Оставляя сейчас в стороне его философские взгляды и независимо от того, что он говорил и писал раньше или позже, отметим, что Чаадаев обосновал основную славянофильско-народническую мысль, а именно, что Россия пойдет по другому пути, отличному от Запада.

Герцен и Огарев, были уже, особенно после их разочарования Западом после революции 1848 года, настоящими народниками. Действительно, одновременно с «особым путем» Чаадаева, они в свою идейную сокровищницу включили общину и заложенные

в ней социалистические возможности. Одновременно с «Колоколом» и «Полярной Звездой» за границей, народническая деятельность, начиная с земельной и других реформ, оживляется в самой России. На авансцену в шестидесятых годах вступают сыновья священников Чернышевские и Добролюбовы и сын богатой помещицы, Писарев.

На шестидесятые годы — годы, последовавшие за крестьянской реформой, которая, по выражению Некрасова, «ударила одним концом по барину, другим — по мужику», падают многочисленные крестьянские восстания. Неудивительно, что почва для интеллигентского радикализма в те годы оказалась очень подходящей — и за границей и в самой России.

Многих удивит, что я Герцена и Огарева ставлю в одну колонну с Чернышевским и Писаревым. Герцена любят даже среди антиреволюционеров и антибольшевиков. Его личное обаяние, неповторимый слог и независимость мысли создали ему ореол, не имеющих равного в русской публицистике. Киевлянин Шутьгин и москвич Катков тоже умели хорошо писать, но этого неподражаемого обаяния у них не было. Забывают и прощают Герцену, что он был временами не только мирным прудонистом, но и сторонником Бланки, которому до Ленина был один шаг. Вот некоторые мысли, принадлежащие перу «западника» Герцена, которые, по существу, трудно отличить от тирад Бакунина.

Герцен и политические свободы

Запад, где он прожил в безопасности и достатке много лет, Герцену представляется в таком виде: «Все здесь кончено: представительная республика и конституционная монархия, свобода книгопечатания и неотъемлемые права человека, публичный суд и

избранный парламент... Куда ни посмотришь, отовсюду веет варварством — из Парижа и из Петербурга... Кто покончит, кто довершит?»

«Принципы 89-го года изжили себя, и, так как современная Европа проникнута ими насквозь, она умирает вместе с ними. Мне кажется, что роль теперешней Европы совершенно окончена; с 1848-го года разложение растет с каждым днем... Разумеется, не народы погибнут — погибнут учреждения: римские, христианские, парламентские, монархические или республиканские — все равно. Всеобщее избирательное право — последняя пошлость. Никакие политические реформы не способны облегчить положение. Республика — отвлеченная мысль, плод теоретических дум, бред старого мира... Нет круче противоречия, как между их (т.е. республик, Д. А.) и существующим порядком; одно должно умереть, чтобы другому можно было жить...»

«Социальный переворот необходим и неизбежен»

А вот образчики социальных идей Герцена:

«Необходим социальный переворот, глубокий, радикальный. Он неизбежен и желателен одновременно. Только он обеспечит торжество действительной, а не мнимой демократии, только он освежит историю».

Тут Герцен начинает сомневаться в том, смогут ли народы, испорченные парламентаризмом, самостоятельно сбросить свои оковы.

«Мы присутствуем при великой драме... Драма эта не более и не менее, как разложение христианско-европейского мира... Социализм и демократию можно построить при условии предварительного разрушения существующего мира... Я решительно отвергаю вся-

кую возможность выйти из современного тупика без истребления существующего (выделено автором).

...Победа демократии и социализма возможна только при истреблении существующего мира с его Добром и Злом и его цивилизацией... Революция, которая теперь готовится (я вижу ее характер вблизи), будет кровавой резней».

Социализм Герцена — это религия человека, религия з е м н а я. «Христианство преобразовало раба в сына человеческого. Революция преобразовала отпущенника в гражданина. Социализм хочет из него сделать человека, ему надо стать совершеннолетним, быть самим собой (то есть без христианской помощи)».

Россия несет миру новую зарю

Однако, как сказано выше, Герцен уже не верит в способность Европы спастись. «Западник» Герцен, распроставшись (ментально) с Европой, все свои надежды возлагает теперь на Россию. Только Россия несет миру новую зарю... Она молода, она свободна от гирь многовековой культуры Запада. При создавшихся условиях, наша отсталость — наш плюс, а не минус. Мы обогнали, потому что отстали. Мы уже созрели для революции и доросли до социализма...

«Моя вера, — пишет Герцен, — вдохновлялась своеобразной исторической миссией России. В своем революционном подвиге Россия не будет руководствоваться образцами Запада.

...Таким образом, Великая Революция придет из России, и старая Европа, до мозга костей больная мещанством, будет бояться этой Революции».

Социализм в России мыслился Герцену, как

известно, с помощью общины. Через общину легко, минуя капитализм, перейти к социализму. Вот как он писал: «Слово «социализм» неизвестно нашему народу, но смысл его близок его душе... В социализме встретится Русь с революцией. Нет в Европе народов более подготовленных к социальной революции, чем все неонемеченные славяне. Я чую сердцем и умом, что история ломится именно в наши ворота». «Отделавшись от царя Николая, Россия сразу превратит в действительность мечту, недостижимую для Запада. Время славянского мира настало».

Нужно согласиться: в какой-то мере Герцен верно предвосхищал будущее, хотя большевизация (и русификация) шла не по славянским, а по другим линиям. Однако, как многие революционеры до и после него, он страдал нетерпением. То, что должно было, по его мнению, случиться завтра или через месяц, случилось через полстолетия. С общиной вышло далеко не так, как себе представлял Герцен. Русское крестьянство получило не самоуправляемые общины, а колхозы и совхозы. Следовало ли к этому, т. е. к колхозам, стремиться, а не заимствовать, вместо этого, сельскохозяйственную культуру у западного фермера? Что бы думал и чувствовал Герцен, если бы он был свидетелем коллективизации? Позволительно предположить, что, свободный от догматизма, Герцен проклял бы и общины-колхозы, и весь социализм в придачу.

Слов нет, Герцен был наивен и великодушен, как истый барин, когда он говорил, что «коммунизма бояться нечего, ибо он неотвратим». Он, несомненно, себе не представлял ни террора, ни Лубянки, ни ГУЛага. А ведь знал он Французскую революцию с ее гильотиной. Коротка человеческая память.... Иногда, правда, у барина вырываются слова о «жуткой реальности» перехода в новый мир; иногда он вдруг начинает

опасаться «вырождения социализма», но это только внезапно и ненадолго.

Цели и средства

По существу, основы народничества были даны Герценом. Особый путь, община как социалистическая ячейка, антилиберализм, антипарламентаризм, мессианизм и пр. Остальные теоретики только дополняли своего родоначальника и разрабатывали новые участки народнической идеологии. После Герцена спор идет уже не столько о целях, сколько о средствах. Под влиянием развернувшихся событий (разочарование в земельной реформе, от которой крестьяне ожидали больше земли и прав) начинает меняться эмоциональный тип народника. Вместо барина и «кающегося» дворянина в движение вливается жесткий разночинец. Чернышевский пытается создать и своим личным примером, и своей книгой «Что делать?» тип профессионального революционера. Из этого теста, через какое-нибудь полстолетие, будут выпечены профессионалы революции типа Ленина и Сталина. Ленин признавал, что Чернышевский и герой романа «Что делать?» Рахметов «перепахали» его и сделали настоящим революционером. Писарев предвосхитит соцреализм и травлю всего талантливое. Пока он вынужден довольствоваться развенчиванием авторитетов и попыткой направлять литературу в полезное русло. Остальное, как известно, пришло позже.

Лавров и Михайловский: забытые «Властители дум»

Нужно ли к столетию народничества подробно воскрешать всех его других «властителей дум»? Правда, на фоне специфических условий тогдашней России,

они покоряли народническую молодежь. Лавров и Михайловский пользовались у студенческой молодежи очень большим авторитетом и успехом. Ими зачитывались, и к их советам прислушивались. Сегодня, сто лет спустя, они забыты не только на своей родине по причинам общеизвестным, но и на Западе, и в эмиграции, где они не издаются из-за отсутствия к ним интереса. Кто теперь помнит «Исторические Письма» Лаврова (когда-то евангелие для студенчества), трактаты о «субъективном методе», о «формуле прогресса» и т. д.

Разумеется, статьи прежних авторов (даже кумиров в прошлом) вообще теперь мало читают. Тем не менее, в отношении Лаврова и Михайловского это особенно несправедливо. Проблемы, которые они ставили, еще не разрешены и поныне. В русском контексте они далеко не потеряли своей актуальности. Неверно, мне кажется, также отрицать их творческую оригинальность, как это делает Исай Берлин, автор во всех других отношениях глубокого, чрезвычайно обстоятельного предисловия к книге Вентури о народничестве.

Идеи Лаврова и Михайловского не стали достоянием большой философии, но некоторые их моральные постулаты вошли в западный христианский социализм. Несмотря на их формальный атеизм, и Лаврову и Михайловскому была свойственна некая своеобразная «психологическая религиозность». Действительно, не они ли призывали интеллигенцию и «общество» вернуть народу «незаплаченный долг»? Ведь получила же интеллигенция «за счет народа» образование. Теперь пришло время учить, лечить, помогать народу. Из этих идей выросла, в большой степени, идея «хождения в народ». Понятия совести, долга, этики — превалировали в писаниях этих двух, вероятно, наиболее гуманных народнических вождей. С другой стороны, ни у Михайловского, ни у Лаврова

не было «слепой» веры в народ. Наоборот, для них демиургом, двигателем истории был не народ, а интеллигенция. Последняя вовсе не была обязана всегда и при всех условиях разделять чувства и мнения народа. Она призвана была защищать интересы народа, но не слепо следовать за ним. Отвергая стадный коллектив, они выдвигали на первый план личность. Для тех времен, при том догматическом отношении интеллигенции ко всему тому, что касалось народа, это были идеи весьма смелые и независимые.

Народническая интеллигенция тех лет искала цельную философию. Как жить? Что делать? Михайловский, в этих условиях, пытался создать гармоническую, разностороннюю личность. За этими туманными определениями скрывались проблемы, которые и сейчас не разрешены и остаются спорными.

Михайловский, например, полагал, что разделение труда, или узкая специализация, приводит человека к отупению и превращает его в машину. Наоборот, земледельческий труд есть труд разносторонний; поэтому крестьянин, стоящий на низкой ступени развития, сравнительно с высшими классами, является, с другой стороны, высоким типом человека. При всем своем невежестве, отсталости, суеверии, крестьянин как личность гораздо шире и разностороннее, например, иного ученого, чиновника, купца, погруженных в свою специальность, ибо психика этих людей сужена и изуродована односторонностью их профессии... Пытавшийся согласовать индивидуализм (личность) с народничеством (культот народа), Михайловский приходил к выводу, что «личность в крестьянстве остается, так сказать, в потенциальном состоянии».

Тоталитарная и либеральная струя в народничестве

Народникам почти всех направлений, даже умеренным и самостоятельно мыслящим, было чуждо

чувство и понимание парламентской демократии и гражданских свобод — как их понимают на Западе. Даже для такого широкого и, казалось, открытого ума, как Михайловский, парламент был «подозрительной барской затеей». Парламентаризм они ассоциировали с буржуазией, а к последней они чувствовали почти физическое неприятие и отталкивание. Народники добивались социально-экономического освобождения народа, а не его гражданско-политических прав, к которым они были безразличны.

Тем не менее, несмотря на общее отталкивание от буржуазии, было бы ошибочно в этом смысле всех народников расценивать одинаково. Разные течения вызывали разные отношения к самым кардинальным вопросам. Была в народничестве якобинско-тоталитарная струя, представлявшаяся такими крайними революционерами, как Заичневский, Нечаев, Ткачев. Была там и свободолюбивая, более терпимая и анти-тоталитарная струя. К последней следует причислить не только Лаврова и Михайловского, но также и Герцена, несмотря на его бланкистские вывихи; в конце концов, Герцен был свободный и независимый человек и мог высказывать сегодня одно, а завтра другое. «Принципиальность» еще в те годы не была признаком ума и характера. Немного особняком стоит М. А. Бакунин. Народник, революционный панславист, анархист — он, как мы это увидим ниже, на практике часто превращался в свою противоположность.

Философско-политические взгляды отдельных групп определяли их политическую тактику. Таким образом, Лавров и Михайловский, как наиболее умеренные, проповедовали «постепеновскую» (сегодня бы сказали «реформистскую») тактику: народу надо помогать, учить, лечить, вести умеренную пропаганду. Поступавшим служить и работать у крестьян — в качестве земских врачей, статистиков, бондарей, кузнецов, или

просто сезонных рабочих, — им иногда удавалось снискать доверие крестьян.

Следует предупредить читателя о критерии употребляемого материала. Мы не ставим себе задачей исчерпать все народнические теории. Нас интересует в первую очередь влияние народников на большевистскую идеологию и партию. Поэтому мы уделяем сравнительно большое внимание таким народникам, как Ткачев и Бакунин, которые несомненно сыграли большую роль и в захвате власти большевистской партией, и потом в ее удержании.

ТКАЧЕВ И БОЛЬШЕВИЗМ

Был ли Ткачев ленинцем до Ленина?

Было ли влияние Ткачева на Ленина так велико, как это некоторыми историками представляется на Западе? На первый взгляд, положительный ответ на этот вопрос должен показаться малоубедительным. В идеях, тактических приемах первого и второго было, конечно, много общего; однако, много было и разного. Главное, Ткачев и Ленин действовали в различных условиях и располагали разными средствами.

Россия 60-х — 80-х годов была, в основном, крестьянской страной. По выражению Плеханова, Россия тех лет была равниной не только в географическом, но и в социальном смысле: крестьянская масса, тонкий слой интеллигенции, царская бюрократия. Россия 1917 года была уже сложным социально-дифференцированным предприятием. Ленин начал готовиться к активному захвату власти, когда Россия была в тяжелой войне; последняя, как известно, создает «революционную ситуацию», особенно в такой стране, которая (употребим и тут выражение Ленина) является «самым слабым звеном империализма».

Еще одно немаловажное различие: у Ткачева были десятки или сотни сторонников; у Ленина к началу Февральской революции было около пятидесяти тысяч членов*. Когда Ткачев, этот русский бланкист (как он сам себя называл), говорил о захвате власти меньшинством, он имел в виду несколько тысяч борцов. Когда Ленин готовил захват, он был в состоянии оперировать десятками тысяч.

Итак, много, как мы убедимся ниже, сходств; немало также больших, решающих различий. Ткачева можно назвать антитезой Лаврова и Михайловского, так же, как Ленина следует назвать антитезой Плеханова и Мартова. Чтобы понять создавшееся тогда положение, нужно помнить, что после провала «хождения в народ» в 1874 году, революционеров охватило отчаяние. Они воочию убедились, что ни «постепеновский» путь, рекомендованный Лавровым, ни перманентное бунтарство, проповедуемое Бакуниным, не дали ощутимых результатов. Крестьяне оставались безразличными и к первому и ко второму пути. Оставался третий — захват власти меньшинством, путем заговора, террора и восстаний, путь, рекомендованный Ткачевым.

На этот ткачевский путь и встала «Народная Воля» после того, как в 1879 году «Земля и Воля» раскололась на бунтарей-чернопередельцев и на «Народную Волю», решивших захватить власть путем заговора. Вот как Ткачев мотивировал необходимость применения предлагаемой им тактики. В его словах читатель услышит отголоски и Герцена, и Ленина.

«Россия, — твердил Ткачев, — пришла на историческую арену позже других, зато мы можем сделать лучше других. История, как бабушка, любит младших внучат. Нам незачем повторять задов западных стран. Мы сразу можем, минуя капитализм, придти к социа-

* А в Октябре — 240.000.

лизму. У нас есть община и крестьянство, революционное по природе. Наше крестьянство одинаково враждебно и властям, и помещикам, и буржуазии».

Кто воспользуется плодами революции?

Идеи Ткачева, при всей их кажущейся простоте, возбуждали, однако, в умах менее прямолинейных и более дальновидных, беспокойство. Захват власти должна, по Ткачеву, совершить интеллигенция, отчасти технократия (даже в той примитивной форме, в какой она тогда была в России). При всей ее социалистической и эгалитарной фразеологии, интеллигенция может — после победной революции — узурпировать ее плоды, как прежние революции на Западе были узурпированы буржуазией.

Уж очень Ткачев был похож на будущего Ленина. Профсоюзы, которые на Западе начали добиваться ощутительных результатов для рабочих, в будущей ткачевской социалистической России должны были бы играть роль «приводных ремней». Массы, — не переставал он утверждать, — органически неспособны превратить профсоюзную организацию в революционную. Как тут не вспомнить Ильича? «Предоставленные самим себе, рабочие могут придти только к тредюнионистскому сознанию». Руководство революцией — дело интеллигентской элиты (по Ленину: большевистской партии, ее ЦК и аппарата). Неудивительно, что, возлагая все надежды на интеллигенцию, Ткачев приходит к следующему выводу: «Наше положение вовсе не такое плохое, как многие думают. Мы не должны горевать по поводу нашей отсталости... Последняя содержит гарантию нашего будущего счастья». «Чем более человек в себе неуверен, беден, тем более он нуждается в солидарности». Вывод: создавать условия бедности, поощрять состояние неуверенности...

«Завтра будет поздно»

Революцию — по Ткачеву — надо делать сейчас, пока интеллигенция еще не интегрирована в социально-хозяйственную систему страны. С развитием российской экономики, интеллигенция, которая раньше шлялась без дела и была одновременно враждебна властям и подозрительна народу, становится в 70-х и 80-х годах, благодаря хозяйственному развитию, неким полезным, служилым классом, и тем самым становится потерянной для революции. Костяком революции является профессиональный революционер; малочисленный по составу, но зато непревзойденный по качеству. Поэтому надо задержать процесс интеграции интеллигенции и одновременно торопиться с революцией. Революцию надо не подготавливать; ее готовят фактически помещики и власти; революцию надо делать сейчас, не откладывая, ибо завтра будет поздно. Завтра мы будем похожи на любую индустриальную страну. Пока власть стоит на глиняных ногах, надо действовать. Наша власть пока ни на кого не опирается. Помещик оскудел, запуган и нередко сам сочувствует революции. Буржуазия еще слаба, хила и существует благодаря заказам и подачкам правительства. А народ? Он примкнет к революции, несмотря на прежние поражения, по первому зову.

«Нельзя ждать... Где, когда в истории революций участвовали цивилизованные люди? Теперь, или, может быть, никогда». Через десять-двадцать лет они — интеллигенты — могут быть против нас. Якобинец, в какой-то мере марксист (основа у Ткачева — экономика), в большой мере народник (упование на общину), — в этом весь Ткачев, теоретическое наследие которого оказалось, по-видимому, наиболее долговечным и действенным и среди следующего поколения народников (восьмидесятые и девяностые годы), и среди большевистской ветви марксизма.

Как тут не вспомнить ленинское «Что делать?» и ту роль, которую Ткачев уготовил революционерам и народным массам?.. Как тут не вспомнить о той роли, которая Лениным была уготована активному меньшинству и пассивному большинству?

Итак, насущная, немедленная необходимость — это создать ядро профессиональных революционеров. Энгельс и Маркс находили, что Ткачев примитивен. На это Ткачев, который, вероятно, не страдал комплексом неполноценности, отвечал, что положение в России исключительное и не сравнимое с Западом. Западные методы (в частности, германские) нам не подходят. У нас нет буржуазии и средних классов. У нас — община и народ с коммунистическими инстинктами и традициями. Наша государственная машина — бюрократия — слаба.

Народовольчество и Первое марта

«Народная Воля», совершившая убийство Александра Второго, в большой степени, но не полностью, переняла теоретические послышки Ткачева. Однако именно Первое марта — день убийства царя — расстроило все планы и народовольцев, и Ткачева. Народовольцы убили лучшего русского царя, который (пусть неполно и не идеально) все же освободил крестьянство от крепостной зависимости. Этот Царь-реформатор произвел также судебную и военную реформы. Под его руководством (и если бы только революционеры ему не мешали своими бесчисленными попытками цареубийства) Россия шла к «увенчанию здания», то есть к созданию полу-конституционной монархии. Царь уже согласился подписать соответствующие декреты Лорис-Меликова, за несколько дней до убийства.

Первое марта оказалось и величайшим достиже-

нием революционеров, и величайшим несчастьем для России. Естественно, разбушевавшийся террор сильно ослабил поредевшие ряды «активного меньшинства». Был арестован почти весь «Исполнительный Комитет», решавший, кого надо и кого не надо убивать... Желябов — душа царевубийства — сыграл в истории России, сам того не сознавая, страшную, роковую роль; он и его товарищи приостановили своим безумным актом демократизацию, европеизацию и раскрепощение России.

Александр Второй (которого без всякой иронии можно назвать «освободителем») понимал всю трагичность положения — и своего собственного, и России. Одному сановнику-конфиденту (Голохвастову) он в те дни сказал: «Я бы дал им все конституции и свободы сразу, если бы не был уверен, что назавтра Россия распадется». Нельзя же забывать, что в восьмидесятых годах Россия была уже мировой державой. Крутое, радикальное изменение ее строя могло ее замертво повалить.

* * *

Трудно сказать, насколько Ленин, единственный и неоспоримый создатель большевизма, внимательно читал Ткачева и находился под его влиянием. В Полном Собрании Сочинений большевистского вождя имя Ткачева упоминается крайне редко, гораздо реже, например, чем имена Чернышевского и Герцена. Может быть, Ленин на этот раз хотел скрыть плагиат. Говорю — на этот раз, ибо обычно, в своих книгах, например, в «Империализм — последняя стадия капитализма» он не только часто прикрывается авторитетом Маркса и Энгельса, но также отдает должное таким «социал-предателям», как Гильфердинг, и таким, временами сходящим с правильного пути, как Роза

Люксембург, и уж, конечно, таким врагам, как П. Б. Струве.

Трудно предположить, чтобы некоторые основные идеи, относящиеся к тактике, стратегии и теории революции, Ленин, читавший все относившееся к революции, не мог не заимствовать у Ткачева. Идея о профессиональных революционерах, являющаяся краеугольным камнем его книги «Что делать?», подробно разработана у Ткачева и у Бакунина. Мысль о колоссальной бунтарской потенции, заложенной в крестьянстве, и о немощи русского либерализма — опять-таки ткачевская идея — является центральной темой книги Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (брошюра, сыгравшая колоссальную роль в тактике большевизма). В ней социал-демократ Ленин (тогда он еще был социал-демократом и сторонником, по крайней мере формально, буржуазно-демократической революции) отверг союз с либералами, которые должны были, казалось, стоять во главе этой «буржуазной» революции; наоборот, он всю свою надежду возложил на союз с крестьянством — опять-таки следуя тактике не Маркса, а Ткачева.

Сам Октябрь был, в некоторой степени, произведен по рецептам бланкиста Ткачева. Разумеется, «меньшинство» Ткачева мыслилось последним как еще «меньшее» меньшинство, если можно так выразиться. Однако известно по описаниям очевидцев и документам, что Октябрь был произведен в Петрограде сравнительно небольшими отрядами кронштадтцев, красногвардейцев, активистов Военно-Революционного Комитета, при безразличии населения, включая и рабочих. «Седьмое Ноября» было едва замечено, и никому тогда не пришло в голову, что в этот день начинается «новая эра». Короче, на Октябре в большой степени лежит печать Ткачева. Ленин и ленинцы, особенно вожаки с петроградских окраин, захватывая правительственные здания, сами того не сознавая,

следовали в большой мере заветам Бланки и Ткачева, хотя очень немногие из них слышали эти имена.

Михаил Бакунин — беспомощный провидец

Согласно Ткачеву, власть в России «держалась на волоске». Ленин доказывал в предоктябрьские дни большевикам, которые не очень-то рвались в бой, что власть «валялась на улице»; ее можно поднять «как перышко». Однако большевики задумывались: ведь Петроград и Кронштадт — это еще не вся Россия. Что скажет страна? Дон, Зауралье, Украина, Сибирь. Россия велика, разделена и может скоро стать ареной братоубийственной гражданской войны. И тут, как это ни странно, именно идеи антигосударственника и свободолюбца Бакунина помогли централистскому и якобинскому диктатору Ленину удержать и укрепить захваченную власть. Противоречие, парадокс... Однако весь Бакунин и бакунизм был (как мы убедимся в этом ниже) полон противоречиями и парадоксами. Авторитарный притеснитель на практике, Бакунин проповедовал свободу, да еще безграничную. Выше я его назвал «беспомощным провидцем». Это тоже парадокс: гигант, атлетического сложения и ... «беспомощность». Однако, это так.

Бакунизм — его идеи и лозунги — сыграли особенно большую роль в деле консолидации большевистской власти немедленно после революции и в гражданской войне. В радикализме левых эсеров и максималистов (их роль в революции недостаточно оценена), чувствуется темперамент Бакунина; такие лозунги, как «Грабь награбленное», «Мир хижинам — война дворцам», разнузданная травля интеллигенции и «буржуев», — все это облегчило Ленину запрячь и заставить «анархический» по природе русский народ отбро-

сить и унижить Учредительное Собрание, «буржуазные» свободы и мир «без аннексий и контрибуций».

Перевоплощение и противоречия революционера

Теперь даже марксисты (более углубленные) пришли к выводу, что Бакунин во многом, вернее, в главном, видел дальше и глубже Маркса. Он, несомненно, понимал лучше Маркса человеческую натуру со всеми ее страстями, неожиданными вывихами и противоречиями. Однако, когда он сталкивался с неразрешенными противоречиями революции на практике (а участвовал Бакунин во многих), он сам становился своей противоположностью. Анархист и антиякобинец превращался в робеспьериста и сторонника террора. Революция, убеждался он, если она хочет быть успешной, требует энергичного руководства, центра, организации, принуждения. Ткачев был в этом смысле гораздо логичнее и прозорливее, когда он предупреждал «принципиального антигосударственника» Бакунина: «Вы выгоняете чёрта через дверь, а он возвращается через окно; вы выгоняете сравнительно безобидного чёрта, а к вам залезает ужасный чёрт...» «Обычное государство требует от своих граждан только внешнее, легко переносимое подчинение. В вашем государстве власть будет контролировать ваши интимные, заветные чувства и мысли. Такая власть будет безмерно более деспотической и нечеловеческой».

Однако, несмотря на такую уничтожающую филиппику, Ткачев, как впоследствии и Ленин, поняли, что свободолюбивый и эгалитарный анархизм может быть и с п о л ь з о в а н в интересах якобинско-большевистского государства. Разнузданный, стихийный, беспощадный анархизм может быть временно интегрирован в тоталитарную систему. Этим левацким элементам вполне можно было поручить экспроприа-

цию в деревнях и городах: комбеды, продразверстки, контрибуции, конфискации. Они это делали с воодушевлением и пафосом, пока сами не потеряли свои горячие головы в различных акциях и чистках. Да, такова была судьба большинства левых эсеров, анархистов, максималистов, махновцев, кронштадтцев; потом, в годы нэпа, когда торжествующее коммунистическое мещанство временно подняло голову, время расправы пришло и в отношении леваков собственной партии; не пощажены были ни «личный друг» Ленина Шляпников, ни типичный, как бы лубочный, «пролетарий» Сопронов.

Старые опасения: народ и элита

Такого рода «леваки» существовали уже в народничестве в 60-х и 70-х годах. Известный террорист и революционный писатель (когда-то знаменитый на всю Россию) Степняк-Кравчинский резонно спрашивал товарищей: «Где гарантия? Не может ли 'революционная элита', захватив власть именем и с помощью народа, сама начать тот же народ эксплуатировать так же, а может быть еще жестче, чем сущее государство с его земскими начальниками, помещиками и чинушами?» Действительно, где гарантия? Ведь и на Западе революция, руководимая либералами, по существу, народ обманула. Вместо социальной и эгалитарной, революция, по существу, оказалась «политической» с «говорильней» и конституцией. Вопрос не совсем праздный, напоминающий наш «за что боролись?». А технократы? Опять-таки, где гарантия, что страна, долженствующая стать социалистической, не станет технократической, деспотической олигархией?

Аналогичные мысли бродили у многих. Университет — твердили они — дает квалификацию и специализацию и этим создает социально-экономический барьер

между людьми. Люди все больше отделяются и отчуждаются. Бакунину казалось, что захват власти и порабощение трудящихся особенно грозит со стороны ученых и педантов. В теории — предупреждал он — будет, конечно, руководить народ; на практике же, именем народа будут править жадные, паразитарные бюрократы. Уже тогда интеллигенцию называли (особенно в полемике с Сен-Симоном) — новым привилегированным классом. «Умственный рабочий» Вольского-Махайского проводил аналогичную мысль... А в наше время Милован Джилас доказал реальность этих и подобных опасений на практике в коммунистическом государстве.

Стенька Разин русского дворянства

Противоречивость и двойственность Бакунина коренились и в его характере и в его идеях, особенно когда он последние развивал до их логического конца. Но, во-первых, несколько слов о нем самом: «Он был рожден, не под звездой, а под кометой», — говорил о нем Герцен. Талантливый пропагандист-агитатор, экстремист во всем — он был не всегда в состоянии подвергать проблемы многостороннему и объективному анализу. Незаурядный полемист, он был лишен чувства скептицизма; отсутствие такового является обычно признаком умственной ограниченности.

«Большое дитя без методического образования», Бакунин был склонен совершать поступки, вызывавшие возмущение и осуждение. Как и Нечаев, он нередко прибегал к мистификации и обману. «Стенька Разин русского дворянства», он неоднократно и почтительно называл себя также «последователем Маркса». Тем не менее, при всех своих причудах и несуразностях, этот человек привлекал много сторонников, притом людей большого ума. Редко о ком написано

столько книг. Среди его биографов (и это далеко не весь перечень), мы находим Ю. Стеклова (четыре тома), Вячеслава Полонского (три тома), историка Корнилова (два тома), английского историка Карра, историка Нейтлау; в художественной форме он описан у Тургенева, Романа Гуля и, по некоторым предположениям, у Достоевского (отчасти в образе Ставрогина). Не исключена возможность, что притягательность Бакунина объяснялась именно тем, что он так был непохож на других вождей и людей.

Бакунин, славяне и германцы

Идеи «дворянского Стеньки Разина» во многом были схожи с идеями его прообраза. Борьба за волю, за уничтожение господ, ориентация на голытьбу и разбой. Только у Степана Тимофеевича не было и не могло быть такого гигантского размаха. Разин действовал в масштабе уезда, губернии, края; Бакунин — в масштабе мировом. В его воображении, Россия должна была только начать революцию; Запад должен был продолжать и кончить. Именно Россия должна была зажечь мировой пожар, ибо русский народ в частности, и славяне вообще, — самые свободолюбивые и антигосударственные народы в мире. Революционный панславизм, а после его пребывания в Сибири и анархизм — центральное ядро бакунинского мирозерцания.

Революцию (в теории, по крайней мере) он себе представляет не по «научному марксизму». Революция — твердил он — «дело инстинкта, а не мысли». «Кнуто-германская» империя, Маркс и марксизм, диктатура пролетариата, научный марксизм — являются для него символом дисциплины, субординации, угнетения. Неудивительно поэтому, что он выступает противником объединения Германии и сторонником расчленения и России и Габсбургской монархии — империй,

которые держат под своей властью миллионы славян. Бакунин разоблачает миф о «диктатуре пролетариата», ибо такая диктатура будет (как он это верно предвидел), м о н о п о л ь н о располагать всей экономической, а потом и политической жизнью страны.

«В германской крови, в германском инстинкте и в германской традиции существует страсть к государственной дисциплине. Славяне наделены как раз обратными чертами. Русский народ живет «миром»; русские крестьяне — прирожденные анархисты, социалисты, пацифисты и революционеры». Инстинкт, как видим, не изменял Бакунину, по крайней мере, в отношении германцев...

Опора революции: деклассированные элементы

Когда-то главный участник московских философских кружков, увлекавшийся немецкой философией, особенно Фейербахом (у которого он почерпнул свою ненависть к религии), Бакунин, по возвращении из Сибири, не перестает твердить: «Время теории прошло; от философии надо перейти к действию». Теперь главной опорой революции должен стать уже не устроившийся рабочий, клонящийся к мещанству, а деклассированный пролетариат, разбойничья гольтьба и, с известными оговорками, община. В последней он находил и положительные черты (сознание крестьян, что земля принадлежит народу, враждебное отношение к государству и бюрократии), и отрицательные черты (патриархальность, вера в царя и поглощение личности коллективом).

Трезвый временами, Бакунин в общем был неисправимым оптимистом. «Он принимал второй месяц беременности за девятый», — говорил о нем Герцен, намекая на преувеличенные надежды Бакунина на близкую революцию. К социалистам — и «утопистам»,

равно как и к «научным», — он относился с большим недоверием. «Их общее свойство — казарменность». Исключением был Прудон, оказавший на Бакунина такое сильное влияние, что многие принимали его идеи за идеи Прудона.

Бакунин предвосхитил «Апрельские Тезисы» Ленина

...Человек действует инстинктом; поэтому будущее принадлежит варварам... Нищета масс — недостаточный фактор для осуществления победоносной революции. В последней играет большую роль не только экономический, но и психологический фактор. Экономическая отсталость — заключал Бакунин — не является препятствием для революции. Отсталая Россия, а не экономически развитая Германия, близка к революции; последняя вообще необязательно должна вспыхнуть на Западе. Война может быть ускорителем революции, ибо из национальной она может превратиться в гражданскую... Идеи, которые как будто взяты из сочинений Ильича. Неудивительно, поэтому, что когда Ленин возвратился в Россию и прочел свои «Апрельские Тезисы», член ЦК большевиков Мешковский (Гольденберг) воскликнул: «Ленин занял трон, пустовавший тридцать лет — трон Бакунина».

Антиякобинцу и антигосударственнику Бакунину приходилось употреблять ленинизм и на практике. Предвосхищая Ленина, бакунисты называли себя «спяяными профессиональными революционерами»; и у них партия служит «акушеркой революции». После победы «тайное общество» (руководящий орган, выдуманный Бакуниным) устанавливает свою коллективную диктатуру. Массы, как обычно, служат пушечным мясом. Победная революция — догадывается Бакунин — может быть задушена; чтобы этого не допустить, следует образовать тесный союз крестьянства, проле-

тариата и голытьбы. Однако в отношении крестьян следует соблюдать некоторую предосторожность, особенно с более зажиточными. Они против государства, которое их обдирает; однако, если им отдать всю землю, они могут броситься в объятия реакции. «Рабочий — брат крестьянина; однако надо быть начеку».

Бакунин — один из немногих (может быть даже единственный), который уже сто лет тому назад обратил внимание на возможную революционную роль, которую может сыграть интеллигенция Запада — университетская молодежь, лишенная возможности делать карьеру. Эта деклассированная интеллигенция может стать резервуаром для революционного движения — процесс, который имеет место в наши дни. Однако, особую роль и место в революционном движении он предсказывал русской интеллигенции. «Она идеалистична, полна энтузиазмом и жертвенностью и, как в некоторых странах Запада, лишена перспектив в смысле карьер». «Все же, — настаивал Бакунин, — истинным революционером в России, которому действительно нечего терять, был не интеллигент, не рабочий и не крестьянин-общинник, а бандит, разбойник; он — костяк революции, который бесстрашно будет драться на баррикадах».

Мысль о двух руководствах

Бакунину принадлежит и другая идея, ставшая весьма своевременной в наши дни. Это идея о двойных и параллельных руководствах. Одновременно с настоящим «тайным» руководством, создается «фронтное» официальное квазируководство, которое только формально занимает руководящие посты. Для пояснения этой мысли вспомним, что формально Советским Союзом правит Правительство, Верховный Совет, ВЦИК Советов; на самом же деле страной правит

верховное руководство КПСС — ЦК, Политбюро и Секретариат. Революция — объяснял Бакунин — осуществляется народом и для народа. Однако, ввиду необходимости, руководящие посты, особенно в армии — офицеры, генералы — рекрутируются из среды компетентных буржуазных кругов. Троцкий точно так использовал кадровое царское офицерство для сохранения и укрепления советской власти.

Как Бакунину мыслился захват и удержание власти?

На этот вопрос можно было бы кратко ответить: в общем, по-ленински. Так как Бакунин умер до появления ленинизма, он советовал следовать тактике иезуитов. В революции необходимо или желательно участие широких масс народа. Решения руководства должны быть приняты солидарно; несогласие — достаточный повод для удаления из руководства. Итак, пресловутый «демократический централизм» был выдуман не Лениным, а Бакуниным. Революция, по возможности, должна быть всемирной; однако, успеха ради, она считается с национальными особенностями отдельных стран. Тем не менее, центр, вроде Коминтерна, должен тайно руководить самыми важными операциями. Оппозиция должна быть уничтожена и парализована: «Организовывайте анархию», «Распространяйте ложные слухи, панику». Все должно быть дезорганизовано; только Тайное руководство должно сохранять спокойствие и помнить о своих целях... «Организовывайте анархию!»

Клубы, газеты и прочая опора «инакомыслящих» — закрываются. Если революция проваливается, «Тайное общество» не распускается... Россия нуждается в сильной диктатуре, а не в парламентской республике. Революция, фактически, бесконечная или перманентная, ибо ее окончание откладывается до

переустройства общества и перевоспитания населения. Революция должна быть мировой, иначе реакция ее задушит. Для защиты революции нужна добровольная армия.

Такова схема революции: она, как видим, близка к большевистской действительности. Такова шуйца и десница ее теоретика — анархиста Бакунина. Другого варианта он не мог обосновать, даже на бумаге. В этом его «политическая трагедия». Он не понимал, что революция, уничтожая относительные свободы того строя, который осужден революционерами на уничтожение, одновременно создает деспотию, гораздо худшую, чем та, которую она уничтожает. Он не понимал, что абсолютная свобода и равенство людей, от природы неравных, — несовместимы. В наше время можно сказать, что эта «трагедия» оказалась уделом всех революционеров-утопистов, «научных» и террористических.

Как и Герцен, Бакунин иногда тоже высказывал друзьям свои сомнения. Своим часто верным инстинктом Бакунин чувствовал, что люди, в том числе и революционеры — стремятся к увековечению своей власти и своих позиций. Как же думал он пресечь создание нового господствующего класса? Вопрос этот он ставил, но ответа, по существу, не дал.

«Руководители должны избираться; они всегда могут быть отозваны, если... не справляются со своими обязанностями; они не должны засиживаться и превращаться в бюрократов». Старая песня... С этим боролась Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин), во главе которой стоял, кстати, такой демократ, как Сталин... Коммуны имеют право на выход из Федерации по своему желанию; и это знакомо; пример Чехословакии еще свеж в памяти... «А ну-ка, попробуй», — сказал бы тут щедринский губернатор.

Чем дальше, тем больше Бакунин скользит и приближается к советской системе и практике. По баку-

нинской схеме, коммуны объединяются в федерации... Невдомек было Бакунину, что Коммуна в этом случае неизбежно становится вассалом вышестоящей и более влиятельной и могущественной Федерации. «Единство — цель к которой стремится человечество»... Это уже совсем не анархическая мысль; наоборот, люди стремятся к дифференциации, меньшему контролю и к избавлению от пресловутого «единства»... Сознание членов Коммуны — полагал Бакунин, — что они всегда могут выйти из Федерации, будет способствовать тому, что они этим правом никогда не воспользуются. В этом позволительно сомневаться... тем более, что в случае попытки выхода Федерация могла бы употребить увещание и силу...

Интересно, что динамический характер и ум Бакунина видел некоторые фундаментальные проблемы настоящего и будущего весьма статически. Бывший участник философских кружков не придавал никакого значения науке и ее будущности для социальных изменений общества. К умственному труду он относился с презрением и недоверием, считая, что ученые, как все другие, должны заниматься физическим трудом. Ученых он считал опасной разновидностью, которая может поработить трудящийся народ. Миллионы людей окажутся под руководством нескольких сот ученых; «безответственная и безобразная прослойка», она склонна к деспотизму. Ей важны не люди, а «научные результаты». Бакунину была также свойственна довольно примитивная мысль, что неравенство является исключительно результатом неравенства образования; поэтому все должны получать равное образование.

Рассуждения Бакунина об образовании свидетельствуют о том, что при всем своем желании осчастливить человечество, он как-то был чужд пониманию самых простых вещей. «Разница в способностях яв-

ляется результатом разницы в образовании»... Выходит, что люди-то все равные, только образование их делает разными... Наука должна спуститься со своих высот, дабы способствовать уравнию людей в знаниях... Это уже пахнет шигалевщиной. Большевики, надо признать, тут были гораздо практичнее... Они экспериментировали вначале, но потом стали на путь, который их привел к тому, что они превратились в одну из ведущих промышленных держав.

Слова и дела

Исследователи народничества обычно уделяют большее внимание народническим теориям, нежели их практическим деяниям. За исключением расцветшей пышным цветом в конце столетия русской религиозной философии, народническая идеология явилась в России, до появления марксизма в девяностых годах, почти единственной русской национальной мыслью. Поэтому не так уж неправы те, кто русскую философию второй половины девятнадцатого века в большой мере ассоциируют с народничеством во всех его проявлениях и тенденциях. С некоторыми оговорками можно сказать, что народничество было подавляющим течением русской общественной мысли девятнадцатого века.

Что другое в те годы могло привлечь пытливого, готового к «служению» и часто к самопожертвованию, русского юношу в этой огромной, так щедро одаренной природой стране, где люди, однако, почему-то не умели устраивать свою жизнь? Неминуемо внимание такого юноши должно было быть обращено на крестьянство, составлявшее тогда больше девяноста процентов населения. Справедливость, сострадание, служение — а им студенчество давало «Ганнибалову

клятву», часто с гимназических лет, — требовали, чтобы тяжкая крестьянская жизнь превратилась в человеческую.

Отношение народа к «непрощенным благодетелям» в 1874 году привело, как мы уже видели, к разногласиям, расколам и к вражде в самом народническом лагере. И постепеновцы-лавристы, и бунтари-бакунисты были отвергнуты. Было поэтому неизбежно, чтобы после такого «урока» вакантное место идеолога народничества занял Ткачев. Он никогда не верил в успешный массовый бунт; он относился с иронией и к «постепеновцам». «Пока мы, народники, будем постепенно просвещать народ, в стране появится полнокровная буржуазия, на западный манер. На место оскудевшего, немощного, разваливающегося дворянства, станет динамическая сила, которая, вместе с опытной царской демократией, свернет шею всему революционному движению».

При таких условиях революция должна быть отложена до далеких времен. Однако «отложить» значит ее не делать вовсе. «Теперь, или никогда». Надо торопиться. Совершить революцию можно только путем заговора, в котором должны участвовать немногие, но решительные люди. Теперь, когда народничество, группировавшееся вокруг организации «Земля и Воля», раскололось на бунтарей-бакунистов («Черный Передел») и «Народную Волю», Ткачев должен был бы потирать руки от предвкушаемой победы. Действительно, в теории, «Народная Воля» переняла многие постулаты и тактику, рекомендованную Ткачевым.

Передо мной лежат почти все издания народо-вольцев за 1879 по 1882 годы, то есть за те годы, когда «Народная Воля» проявила наибольшую активность. Ткачев там упоминается крайне редко; дается даже понять, что он даже официально не принадлежит к «Народной Воле».

После царевубийства: упущенная возможность

1874 год был вершиной народничества; 1-ое марта 1881 года — день убийства царя, за которым народовольцы так безудержно охотились, оказался, однако, фактически, вместо ожидавшегося триумфа, началом конца народничества, точнее, началом конца его единовластия над умами русской молодежи. Казалось бы, цель была достигнута: самодержец убит... а случилось как раз обратное тому, что революционеры ожидали. Народовольчество стало погасшей звездой, которая еще светит, но лучи которой уже меркнут. До смены династии или, тем более, государственного порядка не дошло. Революционеры оказались разбитыми и деморализованными. Больше того, в исторической перспективе, 1-ое марта предстает одновременно как крупнейшее достижение революционеров и как величайшее преступление. Убили лучшего русского монарха, Царя-реформатора, в тот миг, когда Россия шла уже по пути законности и социального — если не равенства (где оно есть?), — то развития нормального строя.

Говорят, что «акт» Желябова (он и Михайлов были его душой) был совершен против воли некоторых других руководителей Исполнительного Комитета, точно так же, как полагают, что Ленин навязал своему ЦК, в большой степени против воли ЦК, — Октябрьский переворот... Сейчас, когда взаимоотношения Желябова с «Народной Волей» принадлежат к истории — её «анекдотам» и случайностям, — к анекдотам (отнюдь не смешным) принадлежит также и то, что либерал (а он был, в тех условиях, либералом) и независимый Лорис-Меликов (как же, ведь он отказался, сославшись на занятость, играть с императором в винт, чем вызвал его недовольство и обиду), должен был принести царю на подпись не настоящую Конституцию, а ряд декретов с вы-

борным началом, декретов, уже царем одобренных. Желябов оказался, таким образом, одним из тех «роковых» людей, которые, как Ленин и Сталин, изменили нормальный ход России.

Как отразилось царевубийство в обоих главных борющихся лагерях? Убийство, или, употребляя революционный жаргон, «акт», явилось одним из тех событий, которое можно и должно назвать переломом. Перелом властей, перелом революционеров. Надежды и упования последних не оправдались; страна осталась спящей и отнеслась к успешному убийству с безразличием. Власть поступила так, как от нее следовало ожидать в подобном положении. Она усилила репрессии, приостановила проектирующиеся реформы; конституция Лорис-Меликова была положена под сукно; к власти были призваны люди другого, более крутого нрава.

Кстати, только один террористический акт в истории российского террора дал, хоть частично, ожидавшиеся плоды. Это — убийство Плеве, совершенное студентом Сазоновым и организованное Азефом и Савиновым. Тогда, действительно, вместо убитого беспощадного Плеве был назначен либерал, кн. Святополк-Мирский, и в России, действительно, на известное время воцарилась, по тогдашнему выражению, «весна».

Могла ли Россия после 1-го марта 1881 года идти другим путем, путем компромисса и соглашения с революционерами? Могла ли Россия следовать по пути мирного развития до 1-го марта? Эти два кардинальных вопроса имеют не только академический интерес: они стоят и сейчас перед каждой страной с деспотической, но эволюционной властью. Возможен ли был между враждующими сторонами сговор и компромисс? Ответ на этот вопрос зависит, разумеется, от местных условий, от соотношения сил во враждующих лагерях, от степени накопившейся нена-

висти, от политической зрелости контрагентов, от их программных целей и от их готовности идти на взаимные уступки. Неумно поставить противника в такое унижительное и безвыходное положение, при котором он не может даже идти на компромисс. Если одна сторона бескомпромиссно добивается своего полного торжества, то сговор невозможен.

Как же, в этом отношении, обстояло положение в России в восьмидесятых годах? Нет никакого сомнения в том, что соотношение сил между враждующими сторонами тогда было в пользу правительства. Это признавали сами народовольцы. 12-го августа 1880 года, за семь месяцев до убийства царя, «Народная Воля» писала: «Мы не думаем, чтобы теперешнее социальное положение России представляло все симптомы приближающегося революционного движения в народе... В России сейчас возможны только более или менее значительные бунты».

Три месяца спустя, 25-го ноября 1880 года мы узнаем из того же авторитетного органа, вопреки тому, что сказано выше, что «радикальное изменение существующего государственного и общественного строя — вопрос ближайших дней», что «ввиду полного бессилия правительства, недостает только сильный толчок*, чтобы от старой руины остался один прах». Разумеется, этот толчок могут дать только народовольцы, и им может быть царубийство.

* * *

В народовольческих журналах тех лет и месяцев опубликованы статистические данные, убийственные для народовольцев. Последние признают, что для

* В цитатах сохранен стиль подлинника. — Д. А.

сокрушения правительства, для первого удара они не в состоянии выставить несколько тысяч бойцов из интеллигенции (а партия тогда состояла почти сплошь из интеллигентов). Можно, рассуждает автор этих данных, надеяться на поддержку народа; однако уверенности в этой поддержке нет. Статистика арестов — внушительна; приблизительно тысяча человек в год. Однако эта же статистика свидетельствует не только о силе революционеров, но также и о действенности полицейских органов. Привлекают внимание и другие цифры. Многие из арестованных (иногда половина) освобождаются из-за отсутствия улик. Стало быть, произвол при правлении Александра Второго был не таким уж абсолютным. Была известная законность. О том же свидетельствуют и речи адвокатов и подсудимых. Сомневаюсь, хватило бы в наше время самообладания и терпения даже у западных судей и прокуроров выслушивать такие многочасовые речи, как, например, ту, которую произнес Александр Михайлов (известный по кличке «дворник»).

* * *

Что дало 1-ое марта в оценках народовольцев? Партия, признаются оставшиеся на воле члены Исполнительного Комитета, ожидала от цареубийства совершения переворота путем заговора. «Но для этого у нас не было сил». Так зачем убийство? Это «акт революционной справедливости»...

Итак, несколько тысяч молодых людей в стране с 90-миллионным населением намеревались захватить власть путем переворота... сами, без союзников, ибо «общество», т. е. либералы представлялись народовольцам чуть ли не трусливыми предателями. «Культурные классы (которые, кстати, ничего не знали и ничего не обещали — Д. А.) доказали свою не-

состоятельность», ибо «...достаточно было их незначительного усилия, чтобы стряхнуть осмеянный, опозоренный режим».

Народовольцы не хотели сознаться, что, при создавшихся условиях, авантюра не могла успешно совершиться. Опять-таки... В России люди умирали бесстрашно, но политического благоразумия у них не было.

«Не рыдай так безумно над ним.
Хорошо умереть молодым!»

* * *

Но если не дубьем, то можно ли было добиться соглашения путем сговора и компромисса? Рассмотрим данные.

Победоносцев, ставший теперь, после убийства, главным советчиком Александра Третьего, был неумолим. Вот что он писал: «Все эти социалисты, кинжальщики и прочие не что иное как собаки, спущенные с цепи... Слышу отовсюду одно нетвержденное, лживое и проклятое слово: конституция... Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция (разрядка моя — Д. А). Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок на земле; последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянной ложью, которой русская душа не принимает».

Нелегко, надо думать, было Лорис-Меликову и другим сторонникам реформ проталкивать реформы, тем более, что царь был нрава колеблющегося, попадавшего то под влияние одного, то другого клана. А Победоносцев, кичившийся знанием «души» своего

народа, оказался в этой области, в историческом ретроспекте, очень плохим советником.

* * *

С другой стороны, Письмо к Александру Третьему, составленное оставшимися на воле членами Исполнительного Комитета, поражает своей сравнительной умеренностью*. Речь в Письме идет об амнистии политических заключенных, о созыве представителей от всего русского народа. Выборы должны быть свободные, пропорциональные; избирательная кампания должна быть свободной; в виде временной меры должны быть даны свобода печати, слова, свобода собраний. Партия заявляет, что подчинится всем решениям избранного Народного Собрания, каковы бы они ни были.

Характерно: в Письме нет ни слова о социализме, о передаче земли крестьянам, т.е. об исконных требованиях народников и народолюбцев. Чем это объяснить? Конечно, у народолюбцев начался отлив. Их наиболее выдающиеся деятели были арестованы или убиты. Все же думается, что умеренность Письма (которое написано как программа партии) объясняется надеждой и верой народолюбцев в его выполнимость. Так ли уж эти надежды были тщетны, так ли уж программа была невыполнима?

Разумеется, новый царь и его советники чувствовали себя победителями. Они тоже начали теперь надеяться на мужика, но — в качестве опоры трона. Тем не менее (вернее, поэтому), более дальновидный самодержец мог бы принять хоть частично

* Автором этого Письма был Лев Тихомиров, скоро покинувший «Народную Волю» и впоследствии ставший монархистом.

предложенный компромисс. Победителя уступка не унижает; наоборот, она его возвышает. Разбитая «Народная Воля», по существу, ничего не просила, кроме созыва Народного Собрания и политических свобод. При господствовавших тогда настроениях — и в городах, и в селах — царь мог бы без труда быть плебисцирован народом. При сохранении основных рычагов охраны и порядка в руках правительства не пришлось бы опасаться, что результаты выборов могли бы быть фальсифицированы. Маленькая группа народовольцев влияние имела только в университетах и в узких кругах. В толще народа и даже либеральной интеллигенции великодушие царя было бы оценено по достоинству. Ведь его отца, когда он творил хорошие дела, не только Герцен, но и Чернышевский называли «галилеянином».

Вместо компромисса и сближения произошло отдаление. В России начали нарождаться партии оппозиционные. Власть не могла найти общего языка даже с либералами. Неудачная война и на этот раз, как всегда в России, стала ускорителем революции. Либеральная интеллигенция, начавшая все более выдвигаться на роль руководителя оппозиции, сама, особенно во время и после революции 1905 года, подверглась процессу дифференциации. Вера в народ, его святость и благоразумие пошатнулась. В интеллигенции начали если не преобладать, то, по крайней мере, открыто выявляться настроения, которые уже тогда обозначались терминами «правое» и «реакционное».

* * *

Один из наиболее ярких представителей этой начинающей «правей» интеллигенции, историк литературы М. Гершензон, высказал тогда мысль, кото-

рая, будучи у многих на уме, не решалась появиться на языке. Вот что он написал:

«Народ нас (интеллигенцию) ненавидит страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом; бояться его мы должны и благословлять ту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

* * *

Слова эти, когда они появились (в «Вехах») действительно вызвали ярость; не народную, ибо народ таких сборников не читал, а среди интеллигенции — и революционной, и либеральной, включая ее признанного лидера П. Н. Милюкова. Однако, в свете того, что произошло десятилетием спустя, не один Гершензон, вероятно, думал, что, по существу, его слова были пророческими. Судя по статье А. И. Солженицына «Образованщина» в сборнике «Из-под глыб», аналогичные настроения и отношения между интеллигенцией и народом созревают и в теперешней России.

По следам русской революции

Ефим Эткинд

НАШИ ПРИСЯЖНЫЕ

(Из книги «Диссидент поневоле»)

Читателю предлагается отрывок из второй главы документальной книги «Диссидент поневоле». В этой главе рассказывается об одном дне, о 25 апреля 1974 года, когда утром Ученый совет Педагогического института имени Герцена (где я работал 23 года) лишил меня профессорского звания и «освободил от работы», а в три часа того же дня Секретариат Союза писателей (в Ленинграде) исключил из Союза (в котором я состоял около двадцати лет). Я начинаю повествование с событий, разыгравшихся накануне, когда меня неожиданно вызвали сперва в ректорат института, потом в секретариат Союза.

Заседанию секретариата, о котором пойдет речь ниже, предшествует заседание Ученого совета института — об этом следует помнить при чтении.

...Не успел я прийти домой, как мне позвонили из Союза писателей.

— Вам надлежит 25 апреля в пятнадцать часов явиться на заседание секретариата, — сказал официальный голос.

Я понял, что спектакль затеяли в два действия. Утром в десять часов начнется заседание Ученого совета, который уволит меня из института и снимет с меня научные степени и звания. Днем, в три часа, соберется секретариат, который исключит меня из Союза писателей. К вечеру операция будет завершена, и я буду — «голый человек на голой земле». А потом что

они со мной собираются сделать? Арестовать? Со-
слать в Сибирь? Вышвырнуть за границу, как было
сделано два с половиной месяца назад с Солженицы-
ным? Оставить помирать — без работы, без права
преподавать и печататься? Ясно одно: украшать задуманный ими спектакль своим участием не следует.
Достаточно прийти, чтобы они засыпали меня прово-
кационными вопросами, на которые я не мог бы отве-
тить. Лгать в ответ — мерзко. Говорить правду —
губительно. Я охотно бы сказал и в институте, и в
Союзе писателей все, что думаю, но тогда они только
о моих ответах и будут говорить — их положение
окажется устойчивее. А так, если меня нет, о чем они
станут произносить свои речи? О слухах? О двух-трех
фразах из двух частных писем? О сомнительных наме-
ках и двусмысленностях, обнаруженных в моих стать-
ях? О лекциях, на которых доносчиков, как будто, не
бывало? Я ведь и не симулирую: у меня в самом деле
побаливает сердце и, как в таких случаях полагается,
отдает в левую руку; можно пренебречь, а можно и
счесть предынфарктным состоянием.

Вызванный на другое утро врач обнаружил тре-
возные симптомы и велел три дня лежать. Это опре-
делило мое решение окончательно. Я рвался в драку,
меня разбирало любопытство (все-таки побывать на
собственных похоронах — интересно), но я понимал,
что на провокацию поддаваться нельзя. Им было нуж-
но, чтобы я присутствовал, они звонили, настаивали,
но чем больше меня завлекал противник, тем меньше
я стремился к нему навстречу. В середине дня позвонил
сам первый секретарь Союза писателей, Г. К. Холо-
пов, и потребовал, чтобы я непременно подошел к
телефону, как бы ни был болен.

— На секретариат прийти необходимо, — сказал
он мне утрачающим тоном. — Бывают случаи, когда
уклоняться нельзя.

— Да я не уклоняюсь, я, знаете ли, болен. Отло-

жите на несколько дней заседание. (Это так естественно — отложить, пока человек поправится... Но я понимал, что они на это не пойдут: им из Большого дома приказано закончить всю операцию в один день.)

— Отложить нельзя. Конец апреля, все разъедутся, где их потом найдешь. Нет, явиться необходимо...

— Вам будет приятно, если я у вас в кабинете умру, Георгий Константинович?

— Умирать не надо, а прийти необходимо, — только и нашел Холопов, что мне сказать.

Этот ответ значил: мне приказали — кровь из носу — провести заседание не откладывая; кроме того, завтра в три к нам приедут из обкома, горкома, райкома — не отменять же их? Поверят ли они, что жертва больна? Да и все уже оповещены, разве можно допустить брак? Конечно, обсуждать поведение члена Союза писателей заочно, да еще заочно, в его отсутствие, принимать решение об исключении его из Союза — неприлично, беспрецедентно, и даже, в сущности, невозможно. Но откладывать заседание из-за болезни обсуждаемого тоже невозможно: влетит. У Холопова был выбор между действием позорно-недемократическим и другим, навлекавшим начальственный гнев. Какое чувство сильнее, стыд — или страх? Что возьмет верх, совесть — или инстинкт самосохранения?

Позднее я узнал, что откладывать было действительно трудно. Устроители предприняли чрезвычайные меры, чтобы собрать секретарей (многие были в разъездах), и меры эти исходили не от Союза писателей. Один из членов секретариата, профессор В. Г. Базанов, оказался в Москве, на заседании Комитета по Ленинским премиям; ему позвонили в гостиницу и от имени КГБ приказали немедленно выехать в Ленинград на срочное заседание; Базанов тщетно отговаривался предстоявшим обсуждением и даже голосованием в Ленинском комитете, — пришлось подчиниться. Другой, поэт Михаил Дудин, отдыхал в Крыму, в

доме творчества писателей; его вызвали, и он, разумеется, покорно вылетел; говорят, что, получив срочную телеграмму, он свалился в постель, пролежал целый день (о чем он думал? Понимал ли, что ему предстоит работать палачом? Чувствовал ли, что на карту поставлена его честь? Скорее всего и понимал, и чувствовал, но страх оказался сильнее) и потом, ни с кем не прощаясь, уехал на аэродром. Третий, поэт Анатолий Чепуров, был вместе с Даниилом Граниным в Тбилиси на каком-то писательском совещании; телеграмма вызвала их обоих, но Гранин решительно отверг (назавтра ему надо выступать о рабочем классе в советской литературе). Д. Гранин оказался дальновиднее своих собратьев, Чепуров же, бледный и дрожащий, отправился в Ленинград на свой позор. Еще один из секретарей бродил по дальнему заповеднику, за ним отрядили вертолет, но счастливца не нашли. Так собрали секретарский кворум, — в самом деле, можно ли при подобных обстоятельствах принять во внимание столь ничтожное обстоятельство, как болезнь подсудимого? Да и не все ли равно, что он скажет в свое оправдание, и скажет ли вообще что-нибудь? Решение принято заранее, и писательский секретариат должен только проштамповать его, придать ему внешний вид законности.

Все это я узнал позднее. Но уже в те дни, 23 и 24 апреля, я не сомневался в главном: и полсотни профессоров, составлявших Ученый совет, и десяток писателей, входивших в секретариат, не более, чем статисты. Партийно-полицейское начальство уверено в себе и в успешности своей тактики, оно знает людей, которыми манипулировало много лет подряд. Соппротивление не угрожает.

...К трем часам дня 25 апреля 1974 года в Ленинградский Дом писателя имени Маяковского съехались секретари, которых разыскивали в разных концах Совет-

ского Союза: одного в Грузии, другого в Крыму, третьего в Москве... Зачем их привезли, они уже знали и, поглядывая друг на друга, искали глазами тех двух, за чьими широкими спинами надеялись спрятаться: Федора Абрамова и Даниила Гранина. Увы, не было ни того, ни другого. Жаль, думал, вероятно, каждый: приятно было бы с ними разделить ответственность. Нехорошо это с их стороны, не по-товарищески. Вот в Москве, когда Лидию Чуковскую исключали, так Валентин Катаев, старый и тяжело больной, специально приехал в столицу — принять участие в неприятной процедуре; понятно, другим в его присутствии было легче: ведь всё больше литературная плотва, среди этих других — не было ни настоящих, ни, тем более, знаменитых писателей — Наровчатов там, Агния Барто... Валентин Катаев проявил ответственность за коллектив, у него есть совесть. Он понимает, что партия и правительство не зря позаботились о его славе. Не мог же он бросить товарищей в беде, и вот, преодолев свою старческую немощь, он даже пренебрег глупостями, которые не преминет распространять про него западная печать — ну, назовут разок-другой палачом или подпалачником, брань на ворота не виснет, зато помог своим, в трудную минуту их не оставил. А эти вельможи? Один зацепился за какое-то кавказское совещание, — экой незаменимый специалист по рабочему классу! Хитрец и чистоплюй. Второй отверг с брезгливым отвращением приглашение на секретариат, — дескать, я в ваших гадостях не участвую, сами разбирайтесь. И оказалось, что лишены поддержки, спрятаться не за кем, — ведь не за спиной же Холопова? Хоть он, наш Холопов, и первый секретарь ленинградского Союза, и главный редактор «Звезды», но за писателя его не выдашь, на Катаева не потянет. А нужен свой Катаев, очень нужен! Хорошо хоть высоколобая интеллигенция представлена — есть среди нас Владимир Орлов. Он всему

миру известен как многолетний редактор «Библиотеки поэта» и как издатель сочинений Блока и, надо думать, будет вести себя правильно, по-партийному (хоть и беспартийный) — Эткинда у него есть все основания ненавидеть, ведь именно Эткинд, можно сказать, бросил бомбу в «Библиотеку поэта» и погубил орловскую карьеру; сняли его с редакторства из-за фразы Эткинда — Орлов ему не простил и не простит*. Но с этими интеллигентами — разве можно заранее знать? Может быть, он, начитавшись Блока, вдруг взорвется да скажет, что у него на уме. А на уме у него вот что (об этом догадаться не так уж трудно, потому что то же, что у всех): достаточно мы пресмыкались перед крупными и мелкими деспотами; до сих пор стыдно вспомнить, как тут, в этом же доме, мы около тридцати лет назад единодушно одобряли нежественного опричника, как тогда же изгоняли из своих рядов великого поэта и одного из лучших наших прозаиков — Анну Ахматову и Михаила Зощенко, — как мы молча, краснея, слушали заику Михалкова, поносившего Бориса Пастернака, и одобряли исключение еще и этого великого поэта, как мы способствовали расправе над Иосифом Бродским, как не вступились за Григория Гуковского, а еще раньше за Бенедикта Лившица, Давида Выгодского, Сергея Спасского, за многих и многих других, которыми мы гордились и которых они убили. Да и в чем обвиняют Эткинда? В знакомстве с Солженицыным? В поддержке Бродского? Смешно и глупо, за такие преступления писатели не

* Редакцию «Библиотеки поэта» разогнали за шесть лет до того, в 1968 году, в связи с моим двухтомником «Мастера русского стихотворного перевода»; кто-то из высокого начальства заметил во вступительной статье фразу о том, что «русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве», выражали себя в переводах из Шекспира, Гюго и Орбелиани. Эта фраза была квалифицирована как антисоветская диверсия; всех, кто пропустил ее, проявив, таким образом, отсутствие политической бдительности, изгнали из редакции.

могут исключить из своей среды писателя. Все же прочее еще смешнее и глупее — не доказано, не подтверждено, к писателям с таким любительским материалом не приходят, все это работа провинциальных детективов. Вот чего можно ожидать от Владимира Орлова, а еще он, того и гляди, совсем осмелеет да начнет цитировать своего любимого Блока — что-нибудь вроде:

«Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны своего мира, выражающегося в государственных формах».

И может быть, еще вспомнит, что Блок незадолго до смерти с благоговением приводил строки Пушкина о свободе — личной и, в то же время, политической:

...для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Владимир Орлов был непроницаемо мрачен. Вместе с другими он перед заседанием спустился в ресторан и для храбрости хватил коньяку.

Среди секретарей есть еще один, от которого — как знать? — можно услышать что-нибудь незапланированное: это Михаил Дудин. Он — романтик, поэт, можно ли запрограммировать поэта? Он — солдат, и воевавшие с ним на полуострове Ханко помнят его веселую храбрость. А вдруг он рявкнет в свойственной ему солдатской манере что-нибудь совсем не поэтичное? В переводе на литературный язык это может звучать так: «А пошли вы все туда-то... Ваших замыслов я не знаю и знать не хочу, мое доброе имя мне дороже ваших посулов, убивайте, но не моими руками, без меня».

Секретарь городского комитета партии Борис Андреев с некоторым беспокойством поглядывал на усевшихся вокруг стола писательских руководителей. (Он, Андреев, едва ли помнит пушкинские слова: ...*для власти, для ливреи...*, но ведь они-то помнят...) Вот свободолюбивый Глеб Горышин, прозаик из того нового поколения, которое еще не сковано параличом и немотой. Вот поэт-лирик Семен Ботвинник, с ним бывали и прежде неприятности; мы возвысили его до секретариата, надеясь на его честолобивую покорность, а вдруг и он, этот беспартийный еврей, пренебрежет обещанным ему юбилейным однотономиком, и выйдет из повиновения? Эткинда нет, он сказался больным; с одной стороны, это хорошо — при нем все они, может быть, и постеснялись бы топтать и поносить недавнего собрата, тем более, что заседание закрытое и что с участников взято слово о неразглашении. С другой, однако, опасно: не потребуют ли эти ненадежные орловы, горышины, ботвинники — отложить обсуждение, пока жертва не выздоровеет и не придет защищаться? Они будут формально правы, возражать будет трудно.

Заседание начинается. Сначала председатель оглашает письмо:

В СЕКРЕТАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые товарищи!

Приступ сердечной болезни не дает мне возможности присутствовать сегодня на заседании секретариата, на котором, как сказал мне Г.К.Холопов, будет разбираться мое дело. Надеюсь, что секретариат отложит рассмотрение этого вопроса до того дня, когда я буду здоров. Мне неизвестно ни одного случая в истории Союза писателей, когда бы судьба

литератора решалась в его отсутствие.

Возможно ли, чтобы общественный суд рассматривал какие бы то ни было обвинения, предъявляемые члену творческого союза, без участия обвиняемого? Чтобы этому члену союза не была предоставлена возможность защищаться? Право защиты — элементарнейшее право всякого человека, в какой бы инстанции и на каком бы уровне его ни судили.

*Е.Эткнд
25 апреля 1974*

Короткая пауза.

— Мы с трудом собрали сегодня достаточное число секретарей, — говорит Холопов, — конец апреля, мы рискуем через неделю оказаться без кворума. Думаю, что откладывать заседание нецелесообразно.

Секретарь горкома смотрит одобрительно. Серые молодые люди из Большого дома (он виден из окна) тоже. Писатели сидят, уставившись в стол. Слово опять берет Холопов.

Ниже следует официальный протокол, внутри которого дан текст справки КГБ, он похож на тот, который читался на Ученом совете, но отличается от него развернутостью, обширными цитатами из допросов, попытками более основательной аргументации — все-таки для писателей!

ПРОТОКОЛ

Заседания секретариата

Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР

25 апреля 1974 г.

С информационным заявлением выступает первый секретарь Ленинградского отделения Союза писателей, главный редактор журнала «Звезда» Г.К.Холо-

пов. Он говорит, что начнет с «документов, которые поступили из Областного комитета партии». После этого Холопов оглашает официальный текст.

СПРАВКА

«В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с тем, что поддерживал контакты с Солженицыным и оказывал ему помощь в проведении враждебной деятельности.

В ходе проверки этих данных установлено, что Эткинд действительно более 10 лет близко знаком с Солженицыным, систематически с ним встречался, оказывал ему практическую помощь в его антисоветской деятельности. Он постоянно знакомился с антисоветскими произведениями Солженицына, неизданными в СССР, длительное время хранил у себя 2 экземпляра «Архипелага ГУЛаг», через Солженицына Эткинд был знаком с 1963 г. с Воронянской Елизаветой Денисовной, которая на протяжении 10 лет печатала почти все его произведения, в том числе и «Архипелаг ГУЛаг».

Эткинд с Воронянской поддерживал хорошие отношения, получая от нее различные неизданные в СССР произведения Солженицына. В августе 1973 г. Воронянская, допрошенная в Управлении ГБ, показала:

«...Солженицын, приехав в Ленинград в 1971 г., точной даты не помню, распорядился вынуть часть листов из двух экземпляров «Архипа» («Архипелаг ГУЛаг»), поручив это сделать мне. Тогда же мне стало известно, что два экземпляра Солженицын передал Е.Г.Эткинду, проживающему в Ленинграде по адресу: ул. Ал. Невского 6, кв. 17. Эткинд лично привез имевшиеся у него 2 экземпляра «Архипа» ко мне домой, где я вынула означенные автором листы. Их было примерно

200. Эти 2 выхолощенные экземпляра я вернула Эткинду...»

Факт хранения Эткингом «Архипелага ГУЛАг» подтверждает также в своем заявлении Самутин Л. А., бывший власовец, ранее судимый за предательскую деятельность... Самутин поддерживал хорошие отношения с Воронянской и Солженицын знал о фактах их совместной враждебной деятельности. В этом заявлении Самутин указывает:

«...несколько раз в течение 1970-1971-1972 гг. Воронянская упоминала о письмах, которые она посылала Солженицыну и сама получала от него через проф. Е. Г. Эткинда или его жену во время их поездок в Москву и обратно. Со слов Воронянской Самутин слышал, что Солженицын неоднократно останавливался на квартире Эткинда во время посещений Ленинграда. Воронянская рассказывала мне в начале 1973 года, что проф. Эткинд читал произведения Солженицына, в том числе «Архипелаг ГУЛАг», одна из частей которого, по ее предположению, была одно время на сохранении у проф. Эткинда... О тесных отношениях Воронянской с проф. Эткингом говорит то, что летом 1970 года Воронянская проживала на даче у Эткинда».

О враждебной деятельности Эткинда свидетельствуют и другие факты. В начале апреля сего года органами государственной безопасности по одному из уголовных дел, возбужденных по фактам размножения и распространения документов, содержащих клевету на советское государство и общественный строй, были произведены обыски, в результате которых изъято большое количество указанных документов.

В частности, обыски были у Марамзина и Хейфеца (оба — 1934 года рождения), членов профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. В ходе этих обысков у Марамзина был изъят подготовленный для распространения так называемый пяти-

томник стихов Бродского (около 2 тысяч страниц), а у Хейфеца — предисловие к указанному пятитомнику под названием «И. Бродский и наше поколение». В предисловии автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС, утверждает, что непризнание произведений Бродского в СССР якобы свидетельствует об отсутствии свободы творчества в нашей стране.

В предисловии Хейфец пишет:

(следуют цитаты).

Кроме этого предисловия, у Хейфеца изъят также рукописный документ, автором которого является Эткинд. Этот документ представляет собой рецензию на указанное предисловие.

В рецензии Эткинд, положительно отзывавшись о политической направленности предисловия Хейфеца, рекомендует ему обратить внимание на события в Венгрии 1956 г., которые, по его мнению, свидетельствовали об антидемократической сущности Советского государства и имели поворотное значение для творчества Бродского... Эткинд пишет:

«Подумайте, был XX съезд, была сказана правда, у всех открылись глаза на собственное прошлое, и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... с той стороны петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 г. был грандиозной встряской. Иосиф Бродский прав, ссылаясь на него. А 68? Уже предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму злое дело Кирова, уже давно расправились с простодушным тираном Н.Х.... ну, на этом фоне танки в Праге никого удивить не могли».

Будучи допрошен в качестве свидетеля по вышеуказанному уголовному делу, Эткинд подтвердил, что он является автором этой рецензии, понимает,

что Хейфец в предисловии высказывает свое несогласие с различными сторонами политики КПСС и советского правительства. Кроме того, Эткинд заявил, что никогда не скрывал своего отрицательного отношения к вводу войск государств Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Хейфец на допросе показал, что предисловие Эткинду понравилось.

Известно, что Эткинд поддерживал близкие отношения с Бродским, в 1972 году выехавшим из СССР в Израиль и в настоящее время проживающим в США.

Бродский является автором стихов идеологически вредного и ущербного содержания, постоянно общался с иностранцами, передавал им свои стихи, клеветал на советское государство и общественный строй. Указанные стихи и высказывания Бродского активно использовались буржуазной пропагандой в ущерб интересам Советского Союза.

Демонстрируя свои отношения с Бродским, Эткинд тем самым стремился показать себя в глазах писателей и начинающих литераторов человеком с «независимыми» взглядами.

Эткинд выступал на суде в защиту Бродского, отстаивая, по его словам, «право таланта на свободу образа жизни».

В марте 1964 г. на заседании секретариата Ленинградского отделения Союза писателей поведение Эткинда и других, выразившееся «в необдуманной защите тунеядца Бродского», было единогласно осуждено. Однако своего выступления на суде Эткинд не признал вредным, отрицательно реагировал на критику секретариата.

Таким образом, Эткинд совместно с Хейфецом и Марамзиным принял участие в подготовке и распространении идеологически вредных стихов Бродского.

О враждебной деятельности Эткинда свидетельствует также тот факт, что он является автором и

распространял письмо под названием: «Открытое письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию». В этом письме извращается национальная политика КПСС и содержатся призывы к евреям бороться за изменение существующего строя не за границей, а в СССР. Так, в письме, в частности, говорится:

«От того, что вы воспользуетесь чужими демократическими свободами, у вас дома не введут многопартийной системы и не вернут из ссылки Павла Литвинова.

Чужие свободы вам для дела не нужны. Ни вам, ни вашему обществу они пользы не принесут.

Боритесь, но здесь, а не там. Одно независимое слово, сказанное дома, важнее многолюдных манифестаций под окнами советского посольства в Вашингтоне».

Кроме того, установлено, что Эткинд использует свое общественное положение писателя и ученого, преподавателя высшего учебного заведения для протаскивания в своих литературных работах взглядов, противоречащих марксистско-ленинским принципам.

В 1968 г. бюро обкома обсудило вопрос «О грубой политической ошибке, допущенной редакцией «Библиотеки поэта», выпустившей двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода» со вступительной статьей Эткинда».

В постановлении бюро отмечено, что:

«Редакцией «Библиотеки поэта» в 1968 г. был издан двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода», в котором во вступительной статье ленинградского литературоведа доктора филологических наук Эткинда, наряду с тенденциозными оценками творчества отдельных поэтов-переводчиков, содержится политически вредная концепция, утверждающая, что якобы общественные условия в нашей стране, особенно в годы между XIX и XX съездами, не давали возможности русским поэтам до конца высказать себя в

оригинальном творчестве. Такие утверждения автора статьи представляют собой не что иное, как фальсификацию литературного процесса в нашей стране, желание протащить ложное мнение об отсутствии свободы художественного творчества в СССР, исказить объективную картину развития социалистической культуры, бросить тень на советскую действительность».

В постановлении бюро руководство Педагогического института им. Герцена обязывалось обсудить эту грубую политическую ошибку Эткинда на заседании Ученого совета.

Однако, как показывает анализ ряда литературных работ Эткинда, он, несмотря на критику его политически-вредной концепции и оценок, остается на старых позициях. Идейные и методологические ошибки легко обнаружить в таких его работах, как «Разговор о стихах», «Четыре мастера», «Русские поэты-переводчики от Тредьяковского до Пушкина».

В 1972 году в своей книге «Бертольт Брехт» Эткинд дал тенденциозную оценку творчества Брехта, искажающую действительную эволюцию его мировоззрения. Так, он утверждал, что к научному пониманию «классовой структуры капиталистического общества» Брехт пришел «лишь в начале 30-х гг.» и «на первых порах протест Брехта был умозрительен». За указанные тенденции в оценке творчества Брехта Эткинд критиковался «Литературной Россией» 21.VII.72 (статья Дымшица).

В отношении Эткинда неоднократно предпринимались предупредительно-профилактические меры: в 1949 г. за допущенные методологические ошибки в диссертации Эткинд освобождался от чтения лекций по курсу литературы и вынужден был перейти на работу в Тульский педагогический институт; в 1964 г. он подвергался критике за неправильное выступление в защиту Бродского; в 1968 г. на Ученом совете ин-

ститута им. Герцена ему указывалось на тенденциозность в оценке творчества отдельных поэтов-переводчиков, допущенную в статье к двухтомнику «МРСП»^{*}; в 73-74 гг. были осуществлены различные мероприятия в отношении Солженицына и его связей.

Все это Эткинд должен был воспринять как предупреждение о недопустимости враждебной деятельности. Однако выводов для себя он не сделал.

Таким образом, Эткинд сознательно, на протяжении длительного времени, занимается идеологически вредной и враждебной деятельностью и наносит существенный ущерб интересам нашей страны. Являясь советским писателем, ученым, преподавателем вуза, Эткинд действует как политический двурушник, компрометирует эти высокие звания.

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о невозможности его работы в качестве профессора ЛГПИ им. Герцена и о нецелесообразности его пребывания в Союзе писателей СССР».

(Такова Справка. Далее Холопов говорит как бы от себя, негодуя и цитируя секретное дело №24, с которым его ознакомили в Большом доме.)

Смотрите, какой конспиративной жизнью живет Эткинд! Вот что еще показала Вороньянская (протокол по делу №24):

«...после уничтожения своего экземпляра я виделась с Эткиндом у него дома и известила его о распоряжении Солженицына в отношении имевшихся у него экземпляров «Архипелага ГУЛаг». Он мне заявил, что знает об этом и в ближайшее время уничтожит.

Спустя некоторое время..., зайдя к Эткинду домой, я спросила, уничтожил ли он экземпляр «Архипелага ГУЛаг». Эткинд заявил, что все экземпляры уничто-

^{*} МРСП - «Мастера русского стихотворного перевода».

жил, не оставив ни одного листа. Я ему поверила, о чем и сообщила Солженицыну».

Другая цитата — из заявления Самутина Л. А. в КГБ от 2.IV.74 г.:

«Накануне похорон Воронянской, узнав о ее смерти, я позвонил Эткинду. На другой день, 30 августа, я встретил Эткинда у морга, на машине Эткинда проехали на кладбище и там, оказавшись на короткое время с Эткиндом один на один, я сообщил об изъятии бумаг Воронянской органами. На его вопрос о судьбе архива Воронянской, я сказал: «Уже там».

(Огласив эти выписки из таинственных досье Большого дома, Холопов продолжает:)

Теперь еще несколько слов о другом документе, озаглавленном «Открытое письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию».

Любопытна история этого письма. Его прислал в ОВИР человек, который пишет, что в городе по рукам распространяется письмо к тем, кто хочет уезжать в Израиль. Рассказывают, что его автором является писатель Ефим Эткинд.

В разговоре с Боборыкиным Эткинд признался, что он является автором этого письма. Письмо написано в форме беседы с заблудшими душами. Эткинд выступает в нем как духовный отец, как пастырь, наставляющий паству на путь истинный.

К чему зовет человек, которому советская власть дала все, и, прежде всего, высокое звание ученого, профессора, писателя?

Он зовет к борьбе с этой властью. «Боритесь здесь, а не там!»

Он советует: «Уезжать в эмиграцию можно только в случае крайней жизненной необходимости, когда грозит физическая гибель!»

(Г. К. Холопов кончает цитатой из речи Брежнева на съезде ВЛКСМ — о сорняках. Окончив, он предо-

ставляет слово для выступления каждому из секретарей; они высказываются один за другим — все подряд.)

Василий Николаевич Кукушкин. Грустно решать такие дела. Эткинд пользовался большим доверием, во всех наших организациях относились к нему с уважением. Меня поразила эта история с предисловием к «Библиотеке поэта», много людей было наказано из-за него. Откуда все это берется? Сам, своими поступками, своим поведением Эткинд ставит себя вне нашего Союза писателей.

Все письма, которые пишутся против советской власти и партии, пишутся в профгруппе. Вспомните дела Бродского, Бетаки, Бена, Марамзина, Хейфеца. Это очень серьезный вопрос, у нас в профгруппе неблагоприятно. Например, Бурова, Бойцова, Франтишева — людей, прошедших войну, опытных журналистов туда не берут. Я считаю, что Эткинд сам поставил себя вне писательской организации.

Михаил Александрович Дудин. Если вспомнить вступительную статью Эткинда в «Библиотеке поэта» и это письмо молодым евреям, то видно — самое отвратительное — национализм, от него пол-локтя до фашизма. Этот сионизм лезет из каждой строки. Это не имеет ничего общего с программой Союза писателей. Эткинд сам ставит себя вне нашей организации.

Владимир Васильевич Торопыгин. Недавно я возвратился из поездки по Канаде и США. Журналисты задавали много разных вопросов, но были и вопросы о Солженицыне. Я отвечал, что деятельность его вредит политике нашего государства. Деятельность Эткинда — рядом с делами Солженицына, и этот человек не должен быть в рядах нашего Союза писателей.

Василий Григорьевич Базанов. Главное, на мой взгляд, не в том, что Эткинд встречался с Солженицыным. Солженицын был членом Союза писателей, печатался в «Новом мире». Когда Солженицын стал внутренним эмигрантом, который свои антисоветские произведения посылал за границу, вот где стало плохо. Меня поразило письмо молодым евреям, рецензия на предисловие Хейфеца. У нас не принято строго относиться к людям, если они оступаются. Но Эткинд ничего не понял. У него не отняли степени доктора наук за ошибки в предисловии в «Библиотеке поэта», старались дать ему понять, что он заблуждается, печатали его книгу — «От Тредьяковского до Пушкина», статьи и т.д. Он продолжал быть профессором, доктором наук. Эти документы произвели на меня сильное впечатление и самое тяжелое. Я присоединяюсь к мнению выступавших секретарей, что поступки и поведение Эткинда противоречат уставу Союза писателей и не могут быть совместимы с пребыванием в Союзе писателей.

И. И. Виноградов (секретарь партийного бюро). Я считаю, что это сознательная групповая деятельность. Эткинд разделял взгляды Хейфеца, даже усиливал антисоветские тенденции.

Подготовка пятитомника Бродского — это немалый вред в идеологической борьбе. Разительный документ — письмо молодым евреям! Получается, что еврей не может жить здесь. Явный призыв бороться здесь, а не там.

Эткинд не может быть членом Союза писателей.

Глеб Александрович Горышин. Я разделяю мысли, высказанные тут. Более всего неприятна рецензия на предисловие к стихам Бродского. Стихи Бродского не тянут на тот ореол, который им приписывается.

Это неутоленное честолюбие Бродского, Хейфеца, в котором принял участие Эткинд.

Не надо смешивать дело Эткинда с солженицынским. Солженицын быстро забывается, его по существу уже нет. Жаль, что Эткинда здесь нет. Нельзя ли все-таки с ним повстречаться? Сказать ему все в глаза.

Безусловно, он поставил себя вне Союза писателей.

И. И. Виноградов. Не распустить ли профгруппу? Получается как бы второй Союз.

Владимир Николаевич Орлов. Меня в этой истории более всего угнетает моральная сторона, нравственная. Эткинду было сделано чрезвычайно много, чтобы он мог понять. Случай с «Библиотекой поэта» — ведь он взорвал большое культурное дело! Ему была дана возможность — широкая возможность! — подумать о нашей идеологии, более широкая, чем он заслуживал. Странно, что одно Эткинд думает, другое пишет; одно пишет, другое печатает. Эткинд сам поставил себя вне Союза писателей и единственное решение — исключить его из Союза писателей, так как он не советский писатель.

Анатолий Николаевич Чепуров. Документы рисуют Эткинда с очень плохой стороны. И письмо, и статья, и комментарий (?) — все свидетельствует о том, что Эткинд — наш идеологический противник. Сколько людей приняли вину за ошибки в «Библиотеке поэта», а Эткинд вышел сухим из воды. Свою ошибку он не осознал, а развил в «Письме к молодым евреям». Это сознательная работа, занималась ею группа людей.

Пребывание Эткинда в Союзе писателей неприемлемо.

Семен Владимирович Ботвинник. Был у нас недавно в Секретариате разговор с молодыми, которые

хотели печататься, а мы им объяснили, что их неинтересно печатать. У нас вообще ослабла работа с молодыми. Эткинд — преподаватель, и он знает меру ответственности, которую несет преподаватель перед молодыми. Здесь прямое нарушение Устава Союза писателей. Хорошо, чтобы Эткинд все же присутствовал и остальные наши уважаемые секретари тоже.

Борис Никольский. Я был на заседании Ученого совета Герценовского Института, где деятельность Эткинда была осуждена резко и единодушно. Принято решение: освободить Эткинда от работы и снять звание профессора. Меня удивило письмо Эткинда к Ученому совету, где он пишет об «отдельных оговорках и неточных выражениях», допущенных в отдельных письмах.

Хейфец, Бродский, Бен, Марамзин — это профгруппа, без них ему не с кем было бы общаться, это его питательная среда. Кроме решения по делу Эткинда, надо иметь рекомендацию по профгруппе. Ее надо распустить.

В деятельности Эткинда меня более всего возмущает, что какая-то часть нашей интеллигенции выдает с в о е мнение за мнение целого поколения, целого народа. Это сознательно избранный путь идеологической борьбы. Я считаю, что Эткинд должен быть исключен из Союза писателей.

Решение — единогласно.

Ну вот, и не взбунтовался мужественный Дудин, и не цитировал Блока или Пушкина образованный Орлов, и не промолчал робкий Ботвинник, и не отказался участвовать в казни правдоискатель Горышин. Все разыграно, как по нотам. Зря беспокоился Борис Андреев. Впрочем, может быть, он и не беспокоился?

Это ведь я, рассказывая свою историю непосвященным, выдвинул такую — наиболее правдоподобную — психологическую гипотезу. Но, может быть, Андреев и гебисты, режиссеры спектакля, умнее, чем я предполагаю? Они знают неотразимость страха и силу, неодолимую, магнетическую силу таких слов, как: «...в проведении враждебной деятельности», «в ходе проверки этих данных установлено...», «...допрошенная в Управлении ГБ показала», «бывший власовец, ранее судимый за предательскую деятельность», «совместная враждебная...», «клевета на советский государственный и общественный строй», «произведены обыски», «изъято большое количество указанных документов», «автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС», «будучи допрошен...», «в ущерб интересам Советского Союза», «фальсификация», «политический двурушник»... Поистине,

От слов таких
срываются гроба
Шагать четверкою
своих дубовых ножек.

Надо полагать, что хлебнувшие для отваги секретари только и слышали, что эти «слова, слова, слова», в их смысл они не вдумывались. Да и зачем он им был нужен, смысл? Храбрец Дудин принужден что-то вякнуть, раз уж председатель назвал его и на него выжидательно смотрят горкомовцы и гебисты. И что же он говорит, храбрец Дудин?

«Если вспомнить вступительную статью Эткинда в «Библиотеке поэта» и это письмо молодым евреям, то видно — самое отвратительное — национализм, от него пол-локтя до фашизма. Этот сионизм лезет из каждой строки...»

Из каждой строки этого текста лезет тот факт, что Дудин ничего не читал, ни о чем даже не слышал и, видимо, хлебнул больше, чем было можно. Обви-

няет он в национализме, и потом, уточняя, в сионизме. На каком основании? На основании двух документов, названных в его, с позволения сказать, речи. Во «вступительной статье» Эткинда, то есть в статье «Стихотворный перевод в истории русской литературы», и тени сионистских идей не могло быть, даже если бы ее автор был фанатиком сионизма; обвинял же обком автора, будто бы он оболгал советских поэтов, заявив, что те, в известный период «лишенные возможности выразить себя в оригинальном творчестве», переводили иностранных классиков. Ну, где ж тут «пол-локтя до фашизма» и сионизм? Второй документ — «Письмо молодым евреям»; даже в «Справке» КГБ говорится, что автор отговаривает евреев уезжать в Израиль. Разве сионисты против эмиграции евреев? Нет, сказать можно что угодно, произнести какое угодно слово, но не «сионизм». Можно даже сказать — «антисионизм». Поначалу мне почудилось, будто Дудин намеренно нес околесицу, облегчая возможность его опровергать, и вообще стремясь всему заседанию придать пародийный характер. Может быть, это в самом деле так? Может быть, Дудин открыл новую форму сопротивления путем околесицы? Увы, к сожалению, нет. Дудин услышал только слово «евреи», да еще, наверное, «воззвание», а все остальное реконструировало его полупьяное воображение.

В стихах Дудин строит себе биографию бесстрашного солдата, преданного друга, правдолюбца, приверженного идее добра, справедливости и чести:

Хочу, чтоб мысль и кровь друзей моих
Вошли в суровый откровенный стих,
Чтоб он неправдою не оскорбил
Торжественную тишину могил,
Чтоб он вошел как равный в честный круг
Моих друзей...

Он неизменно мечтает —

На дно ли камнем,
Птицей ввысь ли, —
Закончив бой, бросаться в бой.
И оставаться в лучшем смысле
Самим собой,
Самим собой.

Вот и остался Михаил Дудин — «самим собой».

Теперь он и лауреат государственной премии, и депутат Верховного совета, и любимый персонаж газетных панегириков, и тамада на выпивках, и секретарь Союза писателей — только вот остался ли он поэтом? Сохранил ли «суровый откровенный стих», так привлекавший его у других и так надеявшийся войти «в честный круг»?

Нельзя не вспомнить эпиграмму, которая, как всякий фольклор, выражает самую суть истины:

Секретарь Союза Дудин
Сто очков любому даст.
Этот Дудин, сын иудин,
Как посмотрит, так продаст.

Профессор Базанов лукав — он играет в благородство. Его, видите ли, не слишком тревожит тот факт, что Эткинд встречался с Солженицыным, который был членом Союза писателей и печатался в «Новом мире». На него «сильное и самое тяжелое впечатление» произвели два документа — «Письмо молодым евреям» и рецензия на предисловие Хейфеца. Ни того, ни другого Базанов в глаза не видал. А если бы видал, то знал бы, что это никакие не документы, а частные письма. Первый — письмо, адресованное моему зятю, собиравшемуся эмигрировать. Второй — от руки набросанное письмо Хейфецу, касающееся отнюдь не «предисловия», а черновика — да, да, именно черновика его, Хейфеца, статьи о стихах Бродского (кстати, о стихах, начисто лишенных всякого политического

содержания). Можно ли подвергать каре за письмо, какие бы мысли в нем не содержались? Ведь это то же самое, что карать за мнение. (Я задаю вопрос чисто риторический. За письма у нас не просто так — выгоняли, а и в лагерь сажали, и большие сроки давали. В 1945 году арест Солженицына и его корреспондента Виткевича, а затем тюрьма и лагерь — все это из-за частных писем. Можно ссылаться на войну и на сталинский террор. Сейчас нет ни того, ни другого.) Да, в этом письме утверждалось, что поколение Бродского было потрясено венгерскими событиями 1956 года, а не оккупацией Чехословакии 1968 года. Что же криминального в таком утверждении? Да, Эткинд не одобрял введение войск Варшавского договора в социалистическую Чехословакию. Но, во-первых, эту оккупацию не одобрял никто, кроме демагогов, которые лгали на собраниях, отлично понимая, что они делают, и отъявленных сталинистов (например, догматика Куньяла и литературного пирата Шолохова); все мы помним позицию даже западных коммунистов, — шведских, французских, итальянских, английских, испанских... Эткинд, не одобряя этого черного дела, молчал. Молчал — из решительного нежелания покидать родину. Свое мнение, отнюдь широко его не пропагандируя, он высказал — в одном частном письме, в одном экземпляре. Что же так глубоко и тяжело впечатлило профессора Базанова? Что люди еще пишут друг другу письма? Что в письмах они позволяют себе говорить о том, чего сам он (думая так же) вслух не высказывает? Я бы понял Базанова, если бы его «тяжелое впечатление» было вызвано действиями полиции, хватающей в мирное время частные письма, и действиями его собратьев, повинующихся полиции беспрекословно и шельмующих писателя за мысли, доверительно высказанные другому. Известно ли профессору Базанову, что французский писатель Арагон на весь мир с негодованием осудил

вторжение в Чехословакию — в статье «Я называю кошку кошкой...»? И что этому самому писателю Арагону советское правительство дало орден Октябрьской революции — через несколько лет после той статьи? Арагон не советский гражданин, верно. Значит, логика такая: будь Арагон подданным СССР, его бы изгнали из Союза писателей. Но, так как он подданный Франции, его награждают орденом — и каким? Октябрьской революции. Базанов и сам все это знает, но твердит ритуальные речи, исправно играя роль, предписанную ему в спектакле, и не задумываясь над смыслом произносимого.

О «Письме к молодым евреям», которое тоже «поразило» Базанова, следует сказать еще категоричнее: юридических оснований для преследования оно не дает. Во-первых, оно тоже — частное. Во-вторых, та единственная фраза, которую органы сочли в ней криминальной, истолкована произвольно. Да, я написал: «Боритесь здесь, а не там». За что я советую молодым евреям бороться? За справедливость. Разве призыв бороться за справедливость преследуется законом? Базанов может, конечно, сказать: «Не хитрите, я-то знаю, что у нас в стране никакой справедливости нет, и, значит, вы призываете к борьбе против советской власти». Может, оно и так, но сказал это Базанов, а не я.

Не опоздал ли я с этой полемикой? Я веду ее из надежного укрытия, находясь во Франции и поглядывая из окна на величавые и бесконечно мирные Савойские Альпы. Не поздно ли спорить с Базановым? И еще мне могут сказать: — Ведь ты теперь в безопасности. Почему же хитришь, выставляя себя чуть ли не сторонником, защитником справедливой советской власти? Ты ведь достаточно хорошо понимал, что справедливой она быть не может. Говоря «боритесь здесь, а не там» — за справедливость, ты, конечно, имел в виду: «...против Советской власти». В таком

случае они правы, истребляя тебя. Они себя защищают и при этом даже не лгут. А ты — лукавишь.

Этот вопрос очень важен. Но ответить на него нетрудно.

Призывал ли я «молодых евреев» бороться против советской власти и свергать ее? Нет, не призывал. Был ли я заговорщиком? Нет, не был. Я занимался филологией, а не политикой. Моя ли вина, что всякое честное высказывание приобретает в Советском Союзе — помимо нашей воли и наших намерений — анти-советский смысл?

Важно установить одно: я не выходил за пределы легальности. А если выходил, это требует юридически весомых доказательств. Хранил ли я экземпляр «Архипелага ГУЛАг»? Оказывал ли автору «практическую помощь»? Может быть. Но обвинитель обязан представить доказательства. Обыска не было, этого экземпляра никто не нашел, никто не видел. Свидетельство мертвой Воронянской — не улика: очная ставка между нами невозможна. Может быть, ее вынудили дать ложные показания? Допускаю, что КГБ располагает магнитофонными лентами с моими разговорами; но ведь оперировать такими незаконными материалами полиция не имеет права. К тому же и ленты никому предъявлены не были. Даже если бы я сам признался, что был заговорщиком, этого было бы недостаточно для осуждения, потому что, как теперь известно, даже в СССР личное признание обвиняемого — не доказательство. Реальными уликами остаются мои частные письма. Но из них можно сделать вывод лишь о моих взглядах, не о деятельности. И ведь полиция не сама со мной расправлялась, она предпочла делать это руками профессоров и писателей. Однако ни те, ни другие доказательств не потребовали и не получили, — они поверили на слово полицейским следователям. Вся эта процедура незаконна. Вот о незаконности внесудебной расправы я и веду речь. То, что было сделано

вчера со мной посредством «общественности», может быть завтра сделано с любым. За мной стояла тень Солженицына, за этим «любим» может стоять другая тень — Некрасова, Коржавина, Галича, да и Эткинда. Был знаком. Поддерживал связь. Оказывал практическую помощь. Читал сочинения. Передавал другим. Нет, я не такой идеалист, чтобы напоминать о хартии, подписанной Советским Союзом в Хельсинки 2 августа 1975 года; этот документ, скорее всего, останется таким же клочком бумаги, каким осталась другая хартия, до того тоже подписанная нашими делегатами — «Декларация прав человека». Дай Бог, чтобы я оказался плохим пророком! Сейчас, рассказывая свою историю, я взываю не к уважению «инакомыслия», а к бесконечно меньшему: уважению минимальной процедуры при обвинениях и осуждениях.

И еще к одному: к достоинству и совести моих недавних соотечественников. К тому, чтобы они, наконец, осознали, что ими бессовестно манипулируют; что они не только имеют право, но обязаны не голосовать за то, чего не знают, не осуждать того, что не читали, не выносить приговор, не потребовав доказательств. Перед нами прошла вереница профессоров, преподавателей, прозаиков, поэтов, критиков. Все они — все, без исключения — позволили втянуть себя в преступление несправедливого суда, основанного на полицейском произволе и диктате. А ведь каждый из них на этом суде был своего рода присяжным заседателем. С присяжными прокурору приходится нелегко: их надо склонить на сторону обвинения не только риторическим пафосом и, тем более, угрозами, но системой доводов; надо с достаточной убедительностью опровергнуть адвоката, то есть противопоставить его доводам другие, более веские; надо им внушить, что предложенная мера наказания — правильная, не преувеличенно суровая. Присяжные, взвесив все за и про-

тив, выносят приговор. Такова практика демократического суда.

Наши «присяжные», как говорится, для мебели. Приговор вынесен без их участия — их информируют, не приводя доказательств и обходясь не только без адвокатов, но даже и без обвиняемого. Мнение каждого из них должно быть произнесено вслух: это как бы круговая порука, кровью связывающая участников преступления. При этом даже безразлично, что скажет тот или иной «присяжный»: если он не выступил против, значит он за, и значит он связал себя тою же порукой. Этой сатанинской логики не поняли (или не захотели понять) Василий Кукушкин, Глеб Горышин, Семен Ботвинник, которые выступали пристойнее других, но — выступили, а значит, поддались на провокацию. Ничего от них и не хотели, кроме признания в соучастии. «Пятерку надо скрепить кровью», — так учил еще Петр Верховенский.

Эти события, повернувшие мою жизнь так недавно, теперь стали воспоминаниями. Пишу я о них по горячим следам, и еще в душе не улеглась буря, вызванная трусливой услужливостью моих товарищей, с которыми меня связывала многолетняя совместная деятельность, да и в ряде случаев несомненное, почти нескрываемое единомыслие. Пишу во Франции, которую знаю и люблю с детства (хотя прежде здесь не бывал); язык и камни ее мне дороги, стихи и краски ее составляют часть моего внутреннего мира. Но изгнание даже во Францию — изгнание. Потому что (и эти строки Пушкина я не устану твердить про себя) —

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основаны от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Мои литературные собраты не знали, что судьба (по соглашению с КГБ) забросит меня не в Потьму, а во Францию. Что своим единогласием они осуждают товарища всего лишь на изгнание — не на каторгу. А ведь как это часто бывало: голосование, исключение, увольнение — потом арест, суд, лагерь, ссылка!.. Сценарий случайно изменился; мои коллеги в сущности проголосовали за каторгу. Неужели они спят спокойно?

Я не собираюсь нарушать их сон. Каждый сам себе хозяин; каждый сам делает выбор между своей совестью и своим благополучием. Но неужели они способны все это повторить? Неужели ни один из них не осознал, что общество распадается и гибнет в частности оттого, что они, писатели, доверенные этого общества, согласны на любую сделку со своей совестью? Что должности, дачи, заграничные поездки, собрания сочинений им дороже чести? Что материальные блага для них выше нравственных?

Всё это я пишу по поводу происшедшего со мной — и мне неприятно это сознавать. Но разве иначе вели себя мои литературные собраты, изгоняя из своей среды моих предшественников? Каждый раз они (о, конечно, далеко не все!) раскаивались потом в своем преступном соучастии. В том, что предали — и других, и себя. Проходило время, налетало новое испытание, и снова они предавали, и снова раскаивались. Только предавали вслух, а раскаивались едва слышным шёпотом. И все они слушают пленки, с которых гремит мужественный голос: «Не надо, люди, бояться!..» Слушают, упиваются чужой храбростью, и — боятся. Спасти наше общество может толь-

ко преодоление страха. Победа чувства собственного достоинства над инстинктом самосохранения.

ЭТКИНД Ефим Григорьевич — родился в 1918 г. Окончил Ленинградский университет, участвовал в антифашистской войне на Карельском и 3-ем Украинском фронтах, затем преподавал в ленинградских вузах; с 1952 по 1974 год был доцентом, потом профессором Ленинградского педагогического института имени Герцена. Уволенный с работы, лишенный ученых степеней и званий, он в октябре 1974 года был принужден покинуть свою страну. Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантер).

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ В РОССИЮ

Дорогой друг!

Вы просили моего совета: как вести себя, если Вас вызовут на допрос в КГБ?

Я могу рассказать об этом кое-что — мне не раз приходилось там бывать. Это стало в нашей стране почти общей судьбой — сам допрос или его постоянное ожидание — в особенности для тех, кого называют интеллигентами. Не вызвали вчера — очень вероятно, что вызовут завтра. А если повезет и этого не случится, все равно ожидание допроса висит над Вами дамокловым мечом. А раз так — надо быть к этому готовым.

Есть люди (их немного), которым никакие рассказы и советы не нужны. Они знают, что в решающую минуту им будет дано сказать и сделать именно то, что нужно. Я не отношусь к таким — мне требуется внутренняя проработка, подготовка.

Конечно, жизнь многолика, ситуации разнообразны, всего не предусмотреть. И человеческие характеры различны — метод, наилучший для одного, не подходит другому. И все же — нельзя ли попытаться построить заранее некую внутреннюю крепость, в которой душа могла бы найти опору в трудную минуту?

Эта опора нужна нам, как хлеб насущный.

Не только для того, чтобы мы были готовы, когда настанет наш час, и не причинили по собственной вине вреда своим близким и себе — но и для того,

чтобы быть свободнее, быть в большей мере самими собой каждый день, во всегдашней нашей советской жизни.

ФОРМУЛА

Вы прекрасно понимаете, что речь может идти не об избавлении от грозящей беды — это не в нашей власти — но лишь о том, чтобы выработать такое отношение к ней, которое можно было бы считать оптимальным, наилучшую из возможных для Вас линию поведения на случай принудительного общения с представителями КГБ.

Великий современный классик в третьей части «Архипелага ГУЛаг» дает превосходную, почти математическую по предельной лаконичности и содержательности, формулу отношения к Органам: «не верь — не бойся — не проси». Здесь абсолютная истина. Нет места для ошибки в тесном, как карцер, выстраданном пространстве этой трехчленной формулы. За ней стоит огромный, безмерно трагичный и непререкаемый опыт десятков миллионов людей. Пусть, когда будет надо, эти три «НЕ» огненными буквами светятся в Вашей душе — и Вы не раз скажете спасибо Александру Исаевичу, сумевшему выкристаллизовать эти слова для Вас. Они выражают самую сердцевину единственно нравственного отношения к пресловутому учреждению.

Но очень не просто бывает в конкретной ситуации, на допросном стуле — эту формулу реализовать. И хорошо, когда кому-то удастся успешно использовать дорого доставшийся опыт тех, кто сидел на этих стульях раньше.

НЕВИНОВНОСТЬ

Главное, что очень часто мешает человеку, оказавшемуся в лапах кагебистского следствия — это ощущение

ние своей невиновности перед каким-либо человеческим, гражданским или социальным законом. Это иллюзия, от которой надо избавиться поскорее и полностью.

Вы, конечно, сочувствуете движению в защиту гражданских прав в Советском Союзе, хотя и не участвуете в нем непосредственно. Вы считаете, что всякое действие против всемогущей тотальной власти безнадежно и может представлять опасность лишь для тех, кто решается такие действия предпринимать. Но ведь Вы не отказывались при случае прочесть самиздатовскую рукопись. Может, у Вас и дома есть (или было когда-нибудь) нечто недозволенное, напечатанное на машинке? И когда-то Вы давали это прочесть ближайшему другу или своей жене?

Этого достаточно — Вы виновны. Познакомьтесь с законом.

Статья 70 (часть первая) Уголовного кодекса РСФСР под антисоветской агитацией и пропагандой понимает (цитирую) «агитацию или пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого содержания» (конец цитаты). За это Вам могут дать на первый раз от 6 месяцев до 7 лет лагерей строгого режима плюс ссылку от 2 до 5 лет — итого до 12 лет, ибо ссылку заботливые власти могут сделать для Вас потяжелее лагеря.

Те же преступления, но без умысла на подрыв Советской власти, наказываются по статье 190 — до трех лет лишения свободы. Вы видите, что очень важно наличие умысла. А доказать умысел не просто,

если Вы его отрицаете. Вы, например, вовсе не против власти, а против отдельных недостатков. Но не думайте, что суд потребует от следствия и прокурора каких-либо доказательств. У Вас высшее или среднее образование — этого достаточно для наличия умысла, так как Вы лицо политически грамотное и не могли действовать неумышленно! Статья 190 не для Вас, так легко Вам не отделаться — особенно, если Вы отказываетесь полностью признать вину и назвать сообщников.

Может быть, Вам еще что-нибудь неясно? Тогда познакомьтесь с комментарием в недавно выпущенном учебнике для советских юристов (Курс советского уголовного права, часть особенная, том 3, издательство Ленинградского университета, 1973 год) — это новейшее руководство, обязательно прочтите. Там разъясняются все тонкости, например, какая разница существует между антисоветской агитацией и антисоветской пропагандой. Разъясняется, что под антисоветской литературой следует понимать «любые письменные и графические материалы (книги, газеты, журналы и другие печатные материалы, письма, рукописи, листовки, рисунки, песни, фотомонтажи и иные произведения» (стр. 169), что под «распространением антисоветской литературы подразумеваются все способы ознакомления с этой литературой других лиц или хотя бы одного лица» (стр. 170), и т.д. и т.п. Прочтите внимательно все эти указания, все увертливые и лицемерные оговорки — о том, например, что все это делается не вопреки, а во имя свободы слова и даже Декларации прав человека (стр. 164), или о том, что у нас судят не за образ мыслей, «а лишь за общественно опасные деяния, признанные законом преступными» (стр. 163). Прочтите все это — и обязательно посетите хотя бы один политический процесс. Не думайте, что это абсолютно невозможно или очень

уж опасно: иногда они пускают, и ничего особенного с Вами от этого не будет.

И Вы поймете, поймете окончательно, что перед этим законом мы все и всегда виновны. Он специально для того и сделан, чтобы мы были постоянно виновны, а власть имела бы возможность покарать любого из нас в любую минуту, когда это почему-либо будет сочтено нужным или желательным. Конечно, Вы не можете считаться преступником в каком бы то ни было человеческом смысле этого слова — но по этому закону Вы — как и я или почти любой другой человек — всегда преступник. Только зная это хорошенько, Вы поймете по-настоящему, что следовательно, сколько бы он ни лицемерил, по долгу службы рассматривает Вас при любом допросе как преступника.

При этом он почти всегда знает, в чем дело. Он действует в соответствии с предписаниями, с корыстными служебными и ведомственными интересами, иногда в соответствии с так или иначе деформированным пониманием партийного или даже патриотического долга (во множестве случаев, впрочем, дело не обстоит так сложно) — он действует в соответствии с чем угодно, кроме подлинного духа правосудия и справедливости. Он использует всякую возможность унижить Ваше достоинство и растлить Вас, превратить в предателя и доносчика. Он действует в нарушение всех принципов, при помощи которых люди могут сосуществовать друг с другом. Он — преступный прислужник преступного закона. Его отношение к Вам во время допроса — отношение агрессора и насильника. Ваши взаимоотношения с ним во время допроса — это открытая война — поскольку уж дело дошло до допроса.

Наступательных средств у Вас нет. Готовьтесь к обороне.

ВЫЗОВ НА ДОПРОС

Со мною судьба обошлась милостиво: ведь мог попасть на допрос еще совсем молодым и неопытным — и кто знает, как сложилась бы тогда вся жизнь. На первом настоящем допросе в КГБ мне было уже за тридцать, я много чего прочел и располагал опытом друзей и знакомых.

Могло быть иначе — я был вызван впервые, в качестве свидетеля по политическому делу, когда мне было всего около двадцати, и не было еще никакого опыта. Многие на том давнишнем следствии вели себя, как говорят, «по-разному» — и страдали потом. Я тогда уклонился от встречи, уехал из города. По «делу» проходило очень много свидетелей, КГБ не сочло нужным разыскивать меня, так и обошлось. Конечно, это было редкостное везение.

Тем не менее, вот первый совет: уклоняйтесь по возможности от всякого соприкосновения с ними.

Вас вызвали в КГБ: первые эмоции — страх и отвращение; но — и любопытство! Очень сильное любопытство: зачем вызвали? что они узнали? чего им надо? А принимает оно в Вашем сознании вид смелой решительности: надо пойти и выяснить, в чем дело! лучше знать правду о своем положении, даже не слишком веселую, чем пребывать в томительной неизвестности! И Вы идете.

Не делайте этого так поспешно. Прежде всего — пусть в одиночестве или в обществе действительно близкого друга — пошлите их куда следует (пойдете Вы потом на допрос или не пойдете — все равно это Вам поможет). А затем хорошенько подумайте и изучите обстоятельства.

Конечно, если они очень хотят с Вами встретиться, уклониться не удастся. Что ж, пусть так — но зачем самому торопиться? Мотылек спешит на пламя свечи. Ведь известно, что никому, никогда, за всю

человеческую историю охранка не сделала ничего хорошего. Они хотят удовлетворить не Ваше любопытство, а свое — и они умеют это делать (за Ваш счет).

Не спешите, прочтите хорошенько повестку. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в ней должно быть указано, в качестве кого Вас вызывают — в качестве свидетеля, подозреваемого, потерпевшего или обвиняемого (как правило, вызывают свидетелем, так как подозреваемые и обвиняемые обычно сидят уже у них в следственной тюрьме — так в дальнейшем и будем считать, что Вы вызваны свидетелем). Кроме того, должна быть указана фамилия следователя. Если там нет того или (и) другого — ни в коем случае не идите. Вы имеете на это законное основание, так как повестка составлена неправильно и тем самым является незаконной. Это бывает часто. Кагебисты привыкли к всесилю произвола и совсем отвыкли соблюдать законы и правила, особенно в мелочах.

А может быть, Вас вызвали вообще не при помощи повестки? Они почему-то любят экономить эту бумагу. Вас просто зовут в отдел кадров или в спецотдел на работе и говорят, что Вы должны явиться тогда-то и туда-то. Такой вызов незаконен. Не ходите, ничего хорошего не будет. Захотят — вызовут, как положено. А Вы выиграете по крайней мере день-другой. Да и кагебисты из такого поведения могут сделать вывод, что Вы не лыком шиты: вербовать Вас, к примеру, не стоит — а может, затем-то и звали! — а отказываться лицом к лицу куда трудней...

Но Вы получили повестку, и составлена она правильно. Так порвите ее! Ведь бывает же, что письма пропадают — так пропало и это. Будет им надо — пришлют повторную повестку, вручат через дворника или милиционера под расписку, или позвонят по телефону, или приедут сами — ничего страшного,

посердятся немного. Их расположения Вам все равно не завоевать.

Помните: за сознательную, преднамеренную неявку на допрос или даже в суд Вам по закону грозит всего лишь привод с милицией и штраф в размере 10 рублей.

Не спешите: выигранное время очень нужно Вам. Надо все обдумать, подготовиться, посоветоваться с друзьями. Быть может — проконсультироваться с адвокатом, если среди Ваших знакомых есть профессионал, которому можно доверять. Абсолютно необходимо для укрепления духа прочитать те статьи Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов, которые относятся к правам, обязанностям и ответственности свидетеля и следователя. Надо их знать, хотя на практике пригодится немного.

ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ

Допрос связан для допрашиваемого с огромными психологическими затратами. Вас могут попытаться взять измором — для этого у них есть все возможности. Поэтому важно выбрать тактику, которая позволит Вам сохранить силы. Единственная такая тактика — отказ давать показания.

Тот, кто занял оборону на линии «нет — не помню — не знаю», оказывается вынужденным строить версии, которые должны быть правдоподобны с точки зрения следователя. При этом неизвестно, что в данный момент знает следователь и что он узнает потом от других свидетелей и обвиняемых; кроме того, постоянно есть риск дать ему новую информацию, которая неожиданным образом может оказаться вредной для Вас или, что хуже, для кого-то другого. «Говорящий» свидетель, защищаясь, жжет свечку с двух концов, работает за двоих, он должен непрерывно оценивать каждое свое слово с различных

точек зрения, перед ним все время опасность запутаться в противоречиях. И самое главное — обороняясь, он тем самым дает материал для новых допросов, снабжает следственную машину ее любимым питанием.

Следователь на первых допросах, возможно, даже не будет слишком нажимать на Вас. Он с удовольствием запишет каждое Ваше «нет — не помню, — не знаю», а потом не пожалеет трудов и времени на то, чтобы доказать Вам, что Вы дали заведомо ложные показания, что в таком-то случае не «нет», а «да» (агентурные данные, показания других свидетелей, противоречия в Ваших собственных показаниях), а в других случаях Вы обязательно должны «помнить» и «знать». Тогда он припрет Вас к стенке угрозой отдать под суд за ложные показания. А если к тому же на Вас возник какой ни на есть «материал», — он будет угрожать ответственностью за все сразу, и по максимальным расценкам.

Это очень, очень трудный момент — а силы уже в значительной мере израсходованы. И Вы понимаете, что угрозы следователя отнюдь не пустой звук. Вы неплохо знаете новейшую историю. Кроме того, Вас ведь уличили во лжи, Вам как бы «неудобно» и стыдно (следователь очень рассчитывает на это!).

То, что я описываю — самая стандартная ситуация. Чтобы создать ее, следователю вовсе не нужно быть очень уж умным. Вполне достаточно некоторого опыта и известной настойчивости — а этим все они обладают в избытке.

В этой ситуации многие, очень многие люди дрогнули и пустились на поиски новых решений, которые казались им поначалу приемлемыми компромиссами — а в конечном счете всегда оказывались капитуляцией. Не хочется называть никаких имен в этом неизбежно грустном контексте. Но не думайте, что Вы семи пядей во лбу, а все эти люди были суще-

ственно менее умны, опытни, находчивы или нравственны, чем Вы, или что они имели не столь благие намерения — это не так.

Не переоценивайте своих сил. Длительное следствие деформирует душу, особенно если Вы в тюрьме. А если во время следствия Вы еще не в тюрьме, Вы прекрасно знаете, что в любой момент можете там оказаться. Против Вас действуют профессионалы, и на их стороне все преимущества.

Все же кое-что есть и у Вас. Ведь можно отказаться играть в эту игру. Вас все равно переиграют, если Вы попытаетесь играть в предлагаемом Вам амплуа — оно и создано специально для проигрыша.

Подумаем об этом еще. В начале допроса, на исходной позиции, следователь располагает против Вас теми данными, которые предоставил ему оперативный отдел, и показаниями о Вас, данными обвиняемыми и другими свидетелями. Ваша задача в том, чтобы он не получил от Вас никакой информации в дополнение к этому — ни о Вас, ни об обвиняемых и свидетелях, ни о каких-либо других людях.

Оперативные отделы КГБ располагают досье на десятки миллионов советских людей; говорят, что все, кто имеет высшее образование, охвачены этой системой поголовно. В этих папках в течение всей Вашей жизни накапливается материал о Вас — всяческие характеристики партийных и комсомольских организаций, администрации предприятий, где Вы работали, спецотделов и отделов кадров, регулярные и нерегулярные сообщения штатных и внештатных осведомителей, копии анкет, фотографии — и, конечно, данные слежки — доклады, записи телефонных разговоров, копии перлюстрированных писем и прочее, а также регулярные «заключения курирующих сотрудников» КГБ о том, в какой мере Вы представляете опасность, можно ли допускать повышение Вас по службе и до какого уровня, можно ли пускать Вас за границу,

и вообще — как надлежит с Вами обращаться в каждый данный момент. Эти досье секретны: кроме КГБ, правом ознакомления с ними располагают лишь высшие партийные инстанции.

Кроме того, перед обыском или допросом за Вами, как правило, устанавливается слежка, выясняются знакомства, дела на работе, семейная жизнь и прочее. При помощи всех этих данных умелый следователь постарается внушить Вам на допросе представление о всевидении, всезнании и всемогуществе Органов.

Но помните: агентурные данные не имеют доказательной ценности. Их нельзя сами по себе включить в обвинительное заключение и представить на суде. Они годятся только для того, чтобы постараться запугать и «расколоть» Вас. Это — всего лишь сырье, в лучшем случае полуфабрикаты. А готовая продукция — это собственноручно подписанные Вами показания. Потому-то следователь так настойчиво и добивается именно их.

И если даже против Вас дали показания — не подтверждайте их (иначе вся ответственность за Ваши беды на Вас самих — Ваше подтверждение усилило эти показания!). А опровергать — тоже не стоит: лучше всего отказываться отвечать, иначе Вас будут мучить всякими доказательствами и очными ставками.

Семь бед — один ответ.

ПРИНЯТИЕ РИСКА

Надо рассмотреть вопрос об ответственности за ложные показания и за отказ от дачи показаний.

В начале допроса следователь (как и судья во время процесса) по процедуре обязан предупредить Вас об этой ответственности и взять подписку о том, что Вы предупреждены. Дело, однако, в том, что кагебист (и точно так же судья на процессе) отнюдь не заинтересован разъяснить Вам действительное со-

держание статей 181 и 182 Уголовного кодекса РСФСР, в соответствии с которыми делается это предупреждение. Это очень важный момент. Они говорят всегда примерно так: — Вы предупреждаетесь, что по статьям таким-то будете нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний — до 7 лет лишения свободы.

В этом сообщении не содержится прямой лжи, но оно крайне недобросовестно по своей сути. Разберем вопрос детально. По статье 182 свидетелю за отказ от дачи показаний грозит максимум полгода исправительно-трудовых работ — то есть вычетов на работе в размере 20% заработной платы. Статья 181 содержит два пункта. В пункте первом сообщается, что свидетелю за дачу заведомо ложных показаний грозит наказание до 1 года лишения свободы, а в пункте втором говорится, что если это (то есть дача свидетелем заведомо ложных показаний) связано с обвинением в особо опасном государственном преступлении, то мера наказания может быть увеличена до 7 лет лишения свободы.

Этот второй пункт статьи 181 записан в Уголовном кодексе нарочито неясно. Я сам искренне полагал долгое время, что если человека обвиняют в антисоветской агитации и пропаганде по статье 70 (а это относится к разряду «особо опасных государственных преступлений») и при этом меня вызвали свидетелем, а я выгораживаю обвиняемого и себя и даю ложные показания, то за это я могу получить семь лет лагерей. И только проконсультировавшись с хорошими адвокатами, я узнал, что это совсем не так.

Имеется в виду наказание до 7 лет по второму пункту за ложный донос, за клевет — за такие показания, которые, будучи заведомо ложными, влекут обвинение кого-то в особо опасном государственном преступлении — например, по статье 70. А за любые

заведомо ложные показания, смысл которых сводится к выгораживанию подсудимого или кого-либо другого (независимо от характера обвинения!), Вас могут судить только по первому пункту статьи 181 и дать не больше 1 года лагерей.

Совсем другое дело! Понятно, почему этот пункт записан столь неясным языком — в отличие от других статей кодекса. Понятно, почему следователь и судья весьма не заинтересованы в том, чтобы свидетели отчетливо понимали содержание этих статей. Ведь тогда жало шантажа теряет большую часть своей ядовитой эффективности. Наказанием в 1 год трудно как следует запугать привыкших ко всему граждан. Да и год-то проблематичный, это еще нужно дело заводить и доказывать, что показания были действительно заведомо ложными, что Вы действительно знали, что говорили неправду. Конечно, доказать в нашем суде нетрудно все, что требуется — но возня какая! не любит наш суд таких процессов, и следствие тоже — карьеру на этом не сделаешь. Вот угроза семью годами — это действительно страшно. Впрочем, что касается обвинения по пункту второму за ложный поклеп — то полагаю, что нам с Вами оно не грозит.

Самый интересный факт — что за отказ от дачи показаний Вам угрожают всего лишь наказанием, вообще не связанным с лишением свободы. Правда, если Вас будут судить по статье 182, суд не обязательно оставит Вас на прежней работе на эти полгода — могут направить на стройку (но в том же городе, где Вы живете) и вычитать ежемесячно 20% зарплаты, а жить Вы будете по-прежнему дома. Немало людей согласились бы заплатить такую цену за чистую совесть.

Почему такое легкое наказание за ярко выраженное нелояльное поведение? Об этом можно только догадываться. Кодекс в данном пункте явно не сбалансирован. Думаю, дело в том, что в не столь отдаленном мордобойно-пыточном следственном прошлом

чистых отказов практически не было; их и теперь еще мало. А с тех пор не удосужились усилить кару — это ведь даже при нашей удобной системе требует известной процедурно-законодательной волокиты, кому-то надо было бы этим заниматься. Не удивлюсь, если в близком будущем статья 182 будет изменена. А пока что всем заинтересованным людям надо стараться использовать ее преимущества...

Не надо, впрочем, строить ложных иллюзий. Если Вы вызваны свидетелем и решаетесь на полный отказ от дачи показаний, принимаемый Вами на себя реальный риск значительно превышает полгода исправительных работ по статье 182. Вы своим поведением бросаете вызов КГБ, оскорбляете честь мундира. Они этого очень не любят. Не исключено, что им захочется сделать Вас из свидетеля обвиняемым. И надо обязательно учитывать всю величину возможного риска — и вполне осознанно принимать этот риск.

По статье 70 очень редко приговоры меньше трех лет лагерей строгого режима. «Главный обвиняемый» обычно получает при групповом «деле» что-нибудь около максимума, другие — от половины его срока и больше. Такова практика. И самый обычный шантаж, применяемый к свидетелю — это угроза перевести его в обвиняемые.

Но та же практика показывает, что кем именно Вам предназначено быть на судебном процессе — свидетелем или обвиняемым — обычно predetermined КГБ еще на стадии подготовки дела, до начала обысков и допросов. Они очень любят подержать будущих обвиняемых сначала свидетелями. Так легче шантажировать, потому что обвиняемый по закону не несет никакой ответственности за ложные показания и за отказ. КГБ хочет, чтобы Вы, еще будучи свидетелем, дали на себя достаточный материал и потом, пос-

ле перевода в обвиняемые, не могли бы отказываться от показаний.

А судебные процессы по статьям 181 и 182 очень редки. Власти как-то избегают судить людей за такое поведение, которое по видимости не представляет непосредственной опасности и при этом неизбежно будет рассматриваться значительной частью общества как высокоморальное. Мне известен единственный случай, когда человек был осужден за последние 10 лет по статье 182: это был известный московский (ныне в Англии) искусствовед Игорь Голомшток, отказавшийся давать показания на процессе Андрея Синявского и Юлия Даниэля в 1966 году; у него действительно вычитали 20% зарплаты в течение полугода.

МЕДИТАЦИЯ

Легко сказать — не бойся. Но быть в КГБ — страшно. Это всякому известно, и это правда. Как же — не бояться?

Вы вошли в здание, предъявили вахтенному документы, вышел офицер, привел Вас в пустую комнату и сказал: «Подождите, за Вами придут». Вы ждете полчаса, может быть, час или больше. Это — так называемая комната для свидетелей. Как правило, Вы в ней один; оно и лучше. Не теряйте напрасно этого времени, когда Вы здесь в первый раз. Для следующего раза возьмите с собой книжку позанимательнее и старайтесь читать. Но сейчас, впервые — подготовьте себя к тому, что Вам предстоит.

Эта комната, это одиночество, это ожидание — не случайны. Это для того, чтобы Вы подумали хорошенько — и испугались, и боялись бы потом все время; так с Вами легче справиться.

Но Вам нельзя бояться. Вы этого не можете себе позволить. Если Вы боитесь, то вся хитроумная

подготовка — впустую. Вы решились отказываться отвечать на вопросы и давать показания — но это имеет смысл только в том случае, если удастся провести отказ до конца. А что, если страх, загнанный волевым усилием куда-то вниз, во время допроса вдруг всплывет в решительный момент? Этого нельзя допустить. Нельзя допустить даже того, чтобы Вы боялись испугаться.

Давайте используем опыт тех, для кого самопознание и самообладание были жизненным делом, доведенным до высочайшего искусства. Это — мудрецы и аскеты различных времен и вероисповеданий. Они изобрели медитацию — особого рода сосредоточение, при помощи которого они успешно регулировали не только свои действия, но и помыслы.

Прикройте глаза; совсем можно не закрывать. Вы сейчас в достаточной мере сосредоточены на том страшном, что Вам грозит — и в этом Ваше преимущество, благодаря которому Вы, без специальной подготовки, можете сейчас провести настоящую медитацию.

Отвлекитесь от конкретности, подумайте о страхе как таковом. Не правда ли, страх — черного цвета? Перед Вами — черные хлопья в пространстве. Местами хлопья сгущаются, образуя глубоко-черные скопления с неровными, рваными краями. Черное — это страх.

Теперь — мысленно возьмите простую деревянную рамку — такую, в каких обычно бывают старые семейные фотографии. Поместите эту рамку перед собой и соберите в нее все черные пятна и хлопья, так, чтобы их не осталось вокруг. Хлопья сопротивляются, вылезают за края — ничего, Вы не спешите, время есть, Вы аккуратно загоняете их обратно в рамку. Все в порядке?

Весь черный страх заключен в простую деревян-

ную рамку. Возьмите теперь плоскую малярную кисть-флейцу, обмакните ее в травянисто-зеленую краску, какой красят заборы — и похерьте, перечеркните все черное внутри рамки крест-накрест, по диагоналям! Готово. Вглядитесь хорошенько в то, что получилось.

Откройте глаза, вздохните глубоко и спокойно. Теперь страх Вам не страшен. Вы собрали его в кучу и перечеркнули. Когда он начнет всплывать в сознании, Вы прежде чем увидеть черное, увидите эту довольно ироничную деревянную рамку и заборно-зеленый крест. Сам страх не успеет коснуться Вас своей чернотой. Вы успеете усмехнуться, вспомнить все — и отбросить его обратно, вниз.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Итак, Вы на допросе. Вы приняли твердое решение отказываться. Но не знаете, как сделать это с самого начала и наилучшим образом.

Не беспокойтесь, это не так трудно. Техника простая. Важно только не упустить ничего существенного.

Вначале следователь занимается «установлением Вашей личности». Перед ним лежит анкета, он готовился к допросу, он много чего о Вас знает — но все равно задает вопросы: фамилия, имя, национальность, образование, работа и прочее. Вы отвечаете спокойно.

Следователь предупреждает Вас об ответственности за ложные показания и за отказ по статьям 181-182, и Вы должны расписаться, что предупреждены. Это предупреждение он делает, как мы уже выяснили, предельно недобросовестно. Вы можете потребовать разъяснений и довольно долго беседовать на эту тему. Но зачем? Вы ведь и так прекрасно знаете, в чем дело. Ваше решение уже принято; и Вы не заинтересованы в затяжках допросного времени.

Советую все же, прежде чем подписывать предупреждение, попросить у следователя Уголовный кодекс и прочесть эти статьи, для бóльшей уверенности — вдруг в последние дни или месяцы эти статьи были изменены, а Вы и не знали — чего не бывает в жизни... Прочтите их и подпишите предупреждение. А если следователь не захочет дать кодекс — тут уж Вы имеете законные основания настаивать. Он уступит.

Собственно допрос начинается тем, что следователь предлагает свидетелю рассказать все, что тому известно по делу.

Внимание! в этот момент допроса Вы имеете право задавать вопросы следователю, и он не может оборвать Вас фразой «здесь задаю вопросы я». Воспользуйтесь этим правом.

Вас могут вызвать свидетелем только по какому-то конкретному делу, и по закону (статья 73 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР) Вы обязаны отвечать на вопросы и давать показания только по тем обстоятельствам, которые имеют непосредственное отношение к данному делу. (Спросите у следователя, так ли это, правильно ли Вы это понимаете — он вынужден будет подтвердить.) А раз так — Вы должны иметь четкое представление о данном деле: в чем оно заключается, какое и когда совершено преступление, кто в этом преступлении обвиняется и на каких основаниях. Не зная всего этого, Вы не в состоянии определить, на какие именно вопросы Вы обязаны отвечать и на какие — нет. Скажите все это следователю, миролюбиво и спокойно, и попросите дать соответствующие разъяснения.

Следователь никогда не даст таких разъяснений, которые Вы смогли бы считать удовлетворительными. Как правило, он просто-напросто перескажет содержание статьи 70, по которой заведено дело, и скажет, что он не обязан давать дополнительные разъяснения; может быть, сошлется на тайну следствия.

Что ж, не обязан — так не обязан. Но и Вы не можете отвечать на вопросы, не зная, имеют ли они прямое отношение к делу — а ведь только на такие вопросы Вы обязаны отвечать по закону. А для этого Вам необходимо знать, в чем же конкретно состоит дело — общую формулировку статьи кодекса Вы не можете считать удовлетворительным разъяснением.

Следовательно, несомненно, вновь и вновь откажет в этой просьбе. И начнет запугивать Вас.

При первой же его фразе, которая может быть Вами интерпретирована как угроза, необходимо убедительно показать, что с Вами так разговаривать нельзя. Надо сообщить ему, что при повторной угрозе Вы прекратите беседу и непременно запишете в конце протокола, а также в отдельной жалобе прокурору, что он применял запрещенные законом методы ведения следствия (см. статью 179 Уголовного кодекса РСФСР — угрозы и иные незаконные методы принуждения свидетелей к даче показаний). Конечно, ничего серьезного ему из-за Ваших жалоб не грозит, судить его никто не будет. Но может быть неудовольствие начальства по поводу неловкой работы. В его учреждении, в обстановке конкуренции и всеобщего взаимного «подсиживания», даже мелкие служебные неприятности следователю совершенно ни к чему. Скорее всего, он отступит и прекратит угрозы. Если нет — тем лучше: такое его поведение — прекрасное основание для отказа от дачи показаний.

Он отступил — но Ваше дело еще не закончено. Пока Вы не ответили на его предложение рассказать о том, что Вам известно, он, согласно процедуре, не может задавать дальнейшие вопросы. Воспользуйтесь этой ситуацией и сделайте заявление, которое должно содержать Вашу формулу отказа. Заявите, что Вы отказываетесь отвечать на вопросы и давать показания по данному делу.

Учтите, что немотивированный отказ может по-

служить основанием для назначения психиатрической экспертизы. Мотивируйте же его — и пусть на всякий случай Ваша формула включает в себя и сам термин «мотивировка».

— Несмотря на Ваши настойчивые просьбы, следователь отказался сообщить, в чем конкретно состоит данное уголовное дело. Тем самым он лишил Вас возможности знать, на какие именно вопросы Вы обязаны отвечать по закону. Вам сообщено лишь, что дело заведено в связи с тем, что какие-то лица занимались антисоветской деятельностью. Но Вам ничего не известно о какой бы то ни было деятельности этих лиц, которую Вы (заметьте: именно Вы, а не кегебисты, эксперты, обвиняемые, другие свидетели или кто-либо еще!) могли бы считать антисоветской, а никакие подробности Вам следователем не сообщены.

(Если следователь что-нибудь и сообщит, что навряд ли, то Вы всегда свободны не считать этот вид деятельности действительно антисоветским — никаких юридически осмысленных формулировок этого понятия Вам не могут представить, так как их не существует в природе.)

Поэтому Вы отказываетесь отвечать на вопросы и давать показания по данному делу. Ваш отказ мотивируется также и морально-этическими соображениями.

Это — только пример. Формулу можно варьировать. Но желательно, чтобы она содержала преамбулу, само заявление об отказе и фразу о морально-этических соображениях. Это потому, что приведенная здесь (или подобная) преамбула представляется имеющей смысл с чисто человеческой точки зрения, но не с формально-юридической. А за «морально-этические соображения» им будет труднее Вас судить.

Мало сделать заявление — надо заставить записать его в протокол в точности, дословно. Следователь не хочет этого делать: такой допрос для него —

брак в работе. И у него есть еще иллюзии, что Вас можно запугать, запутать, «расколоть».

Он объяснит, что с точки зрения закона Вы обязаны давать показания, невзирая на любые мотивировки (и это верно). Он будет грозить (теперь уже, наверное, в корректной форме) ответственностью по статье 182. Скажите, что Вы знаете об этой ответственности и готовы ее нести.

Он предупредит, что Вы из свидетеля можете стать обвиняемым. Ответьте, что Вы рассматриваете эти его слова как угрозу — и будете реагировать соответственно.

Он спросит, что именно Вы имеете в виду под морально-этическими соображениями. Ни в коем случае не вдавайтесь с ним в дискуссию по этому вопросу! Ответьте, что по Вашему убеждению, Ваше понимание вопросов этики и морали является общепринятым, и что Вы не расположены давать по этому вопросу какие-либо дополнительные разъяснения.

Он обвинит Вас в том, что Вы «не доверяете Органам». Ни в коем случае не говорите, что доверяете! Это ловушка. Ограничьтесь ответом, что, как Вы читали в широко известных партийно-правительственных документах, в течение ряда лет в истории нашей страны были случаи, когда арестовывали и осуждали невинных людей. Вам скажет следователь, что это было давно, а теперь ничего такого нет. Но это — не вопрос, можете ничего не отвечать.

Имейте в виду, что до сих пор допрос с формальной точки зрения еще не начался, протокол еще не велся (хотя очень возможно, что ведется непрерывная звукозапись). Только убедившись в том, что с Вами на этой стадии ничего не поделать, следователь скрепя сердце приступит к оформлению допроса.

Не думайте, что Ваше заявление будет записано как таковое, в его подлинном виде. По процедуре Вы должны отвечать на вопросы, а не делать заявления.

Предупредите следователя, что формулировка отказа должна быть записана очень точно, дословно. Он может сказать, что по закону он обязан записывать показания «со слов, но не дословно». Но и Вы по закону имеете право в конце протокола указать на все, даже малейшие, неточности в его записи.

Если Вы ему хорошо все объясните — будьте уверены, он постарается записать точно. Составление протоколов — нелегкий и неблагодарный труд, кассисты не любят их переделывать.

Заявление об отказе будет записано, скорее всего, как ответ на первый вопрос следователя: «Что Вам известно по данному делу?» Такова принятая у них форма записи, не придирайтесь к этому. Но проверьте в конце допроса каждую букву, каждую запятую и укажите в своих письменных замечаниях все искажения. Они не могут без искажений: слишком различные задачи стоят перед ними и перед Вами.

Вот теперь можно сказать, что главное сделано.

БИОМЕХАНИКА ДОПРОСА

Итак, Вы выбрали отказ от дачи показаний.

Протокол начат, Ваша формулировка записана. Теперь перед Вами стоит несколько задач, которые Вы так или иначе должны решить. Они не очень простые — но гораздо проще тех, которые пришлось бы решать, если бы Вы выбрали держаться на позиции «нет — не помню — не знаю». Вам надо суметь использовать все преимущества своего решения — а их немало.

1. Релаксация. Главное: Вам не требуется быть все время собранным, сосредоточенным, напряженным. Наоборот, надо стараться быть максимально расслабленным и спокойным.

Обязательно воспользуйтесь для этого широко

распространенной сейчас методикой аутогенной релаксации (аутотренинга). В самом простом виде она состоит в том, что Вы внушаете себе (последовательно) ощущение спокойствия, тяжести и тепла, прежде всего в кистях рук и ступнях ног. Следовательно и не знает совсем, о чем Вы задумались и почему у Вас такой спокойный отсутствующий взгляд — а Вы думаете, какие теплые и тяжелые у Вас руки и ноги — и они действительно становятся такими. Еще: мышцы плеч всегда самопроизвольно напрягаются, когда Вы чем-либо обеспокоены. Вспоминайте об этом чаще и снимайте напряжение.

Вы увидите, что это приятно. Это хорошее занятие, оно займет Вас, а Вам только этого и надо. Оно даст ощущение спокойного самообладания и действительно внутренней сосредоточенности.

2. Книга для чтения. Обязательно берите с собой на допрос что-нибудь почитать — не слишком сложное и достаточно интересное, на Ваш вкус. Не важно, сколько Вы сумеете там прочесть. Важно то, что Ваше внимание будет занято во время многочисленных и продолжительных перерывов в говорении следователя — пока он записывает текст протокола и готовит следующие вопросы.

Такие перерывы, имейте в виду, занимают больше половины всего допросного времени. Для кагебиста главная продукция допроса — приемлемый для начальства, удобочитаемый протокол. Это маленькое умение — предмет их профессиональной гордости и соревнования друг с другом. И это требует времени.

Если свидетель обороняется на позиции «нет — не помню — не знаю», — это молчаливое время работает против него. Против него работает его собственное сознание, лихорадочно поглощая остатки сил, перебирая варианты возможных вопросов и ответов, замалчиваний и уловок, разрабатывая хитроумные ходы, которым суждено потерпеть неудачу через полчаса

или через пять вопросов. Но если Вы выбрали отказ, Вы просто ожидаете, чтобы допрос так или иначе закончился. Пусть Ваш взгляд хотя бы просто скользит по строчкам с пятого на десятое. Вы удовлетворены тем, что допросное время идет, это не Ваше время, у Вас его отняли, это рабочее время кагебиста, оно проходит час за часом, а он от Вас ничего не добился, Вы держитесь и будете держаться дальше.

3. Стандартная реакция. Вы расслабились, успокоились, даже отвлеклись немного — и вдруг! — Вас подстерег внезапный, хорошо продуманный вопрос, который должен внушить представление о том, что они все равно все знают — ситуация, погубившая многих оборонявшихся.

Вам же достаточно лишь спросить: «Это вопрос по данному делу?» — «Разумеется!» — «Но я ведь отказался отвечать на все вопросы по делу»...

Заряд пропал даром, кагебист сработал вхолостую, Вы сделали еще один нормальный ход в этой безвыигрышной, но пока не проигранной Вами игре. Только не увлекайтесь, не гордитесь «достижениями»; пусть будет, что будет. Единственный возможный для Вас выигрыш с точки зрения практической — это ничья. Но это уже зависит больше от обстоятельств, чем от Вас.

Перед следователем на столе лежит план допроса, в котором записаны все основные вопросы. Этот план построен не для такого, как Вы, а для свидетеля, отвечающего «нет — не помню — не знаю»: тогда к каждому основному вопросу прибавляется множество дополнительных, за ними другие — веточка за веточкой, пышно разрастается следственное древо, предназначенное для уловления и распятия несознающихся. Ваше преимущество в том, что этих веточек не будет для Вас, поскольку они могут произрастать

только на том питании, которое доставляет сам свидетель.

Но все основные вопросы из подготовленного плана следователь Вам все равно будет задавать, не смотря на Ваш отказ — такова процедура. И от Вас, кроме общего отказа, требуется отказаться отвечать еще и на каждый из этих вопросов по отдельности — такова процедура.

Очень советую выработать единую краткую формулу и следовать ей неукоснительно. Например: «На этот вопрос я отказываюсь отвечать по причинам, которые изложены мной в начале допроса». Повторяйте эту формулу в ответ на каждый вопрос, с удручающим следовательскую душу спокойствием и однообразием. Так Вы сэкономите силы, предельно сократите время допроса и наилучшим образом убедите следателя в бесполезности дальнейших домогательств.

Это очень важно. Помните, что для того, чтобы быть успешным, отказ обязательно должен быть **т о т а л ь н ы м**.

Вы не отвечаете ни на один вопрос по делу — и точка. Иначе Вас запутают и выбьют из Вашей надежной колеи. Будут задавать самые невинные вопросы — например, знакомы ли Вы с таким-то — а это Ваш старинный друг, о чем всем вокруг хорошо известно. Все равно — отказывайтесь отвечать! Этот вопрос задан не зря, за ним последуют другие, рано или поздно (скорее всего, достаточно рано) Вы все равно будете вынуждены ответить отказом. Зачем же лишние труды — пусть получают отказ сразу же, с порога! Будьте однообразно-упорны, не заботясь о словесных красотах — вот единственно верная тактика, которая Вас не подведет.

Ведь если Вы про одного человека (пусть не имеющего никакого отношения к делу) скажете, что Вы с ним знакомы, по поводу другого — что отказываетесь

отвечать на этот вопрос, а по поводу третьего — что с ним Вы не знакомы (и это так и есть), то все это разнообразие, во-первых, потребует затраты сил, во-вторых, — даст следствию пусть не богатую, но все же кое-какую информацию. Главное — в отношении возможной ответственности это абсолютно все равно, так как закон не делает различия между одним-единственным отказом и сотней. А раз так — отказывайтесь отвечать.

— Знакомы ли Вы с Папой Римским? — На этот вопрос я отказываюсь отвечать по причинам, которые изложены мною в начале допроса.

4. Искренность. Поскольку Вы так себя держите, Вам вовсе не надо стараться нравиться следователю — взаимоотношения с ним ограничены строго формальными рамками. Задается вопрос, Вы отказываетесь отвечать, произнося автоматизированно свою формулу. Вас совсем не должно заботить, что именно думает следователь в эту минуту о Ваших знакомствах и поступках.

Он скажет непременно: «Вы с нами не искренни!» — это любимое выражение кгебистов. Но Вам не надо ему ничего доказывать, спокойно можете ответить: «Нет, я искренен. Я абсолютно искренне отказываюсь давать показания».

Неизмеримо труднее тому, кто обороняется активно. Он волей-неволей находится в непрерывном эмоциональном контакте со следователем. Для него стандартный упрек в неискренности звучит как гром небесный, как свидетельство, что его версиям не верят, что его усилия пропали зря — а значит, необходимы все новые и новые усилия.

Кгебист имеет перед допрашиваемым огромное преимущество. Он на службе, для него такие понятия, как честность, искренность, откровенность, правдивость — лишь средства для «раскалывания», рычаги,

при помощи которых он выдергивает сидящего перед ним человека из привычной для того понятийной среды в безвоздушное, душное и устрашающее следственное пространство. Здесь он, кагебист, хозяин. Он как рыба в воде, а допрашиваемый — как рыба на сковороде. И бедняга-свидетель не в силах оторваться от родного смыслового контекста, ему все кажется, что для общего и своего собственного благополучия надо быть или, по крайней мере, убедительно казаться «честным», «искренним», «откровенным». Он не привык еще к тому, что для его собеседников «откровенность» — синоним доноительства. — Нет-нет, я вполне искренен! — торопливо говорит он палачу.

Но это надо доказывать, доказывать. А это значит — новые разговоры, новые и новые допросы. Следственная машина методично пережевывает его. Появляются в протоколах проколы — крайне нежелательные свидетельства, пропущенные и подписанные без дезавуирующих замечаний. Он силится исправить, затушевать — и громоздит на радость следователю противоречие на противоречии.

А роковая ошибка была сделана с самого начала, когда он согласился разговаривать со следователем «как бы по-настоящему», согласился играть в не свою игру, понадеявшись на свои благие намерения, хитроумие и находчивость. Не играйте в эту игру: они Вас переиграют.

Тот, кто допрашивает, может быть с житейской точки зрения совсем неплохим человеком — в семейном кругу или с приятелем за чаем или за рюмкой водки. Но здесь он на службе. В отличие от Вас, он свободен от сковывающего воздействия так называемых «абстрактных, внеклассовых, общечеловеческих» моральных норм. Ему хорошо известно из учебников, что «морально то, что на пользу делу рабочего класса», а в сегодняшних конкретных исторических условиях эта польза определяется волей партии. Этот

человек знает, что Вы смотрите на эти вещи иначе, чем он. Для него это — Ваша слабость, которую можно и должно использовать в соответствии с «логикой борьбы». Так выигрывал Гитлер у соседних держав уступку за уступкой перед войной, пользуясь их «устаревшим» пониманием значения торжественных заверений и договоров — он-то знал, что договоры соблюдаются до тех пор, пока это тактически выгодно. И так приходят к власти коммунисты везде, где им это удастся.

Но ни в коем случае не считайте того, кто допрашивает, монстром, чудовищем — это тоже ослабит Вас, ибо это неверно — он по-своему «честен», и он «выполняет свой долг». Просто имейте в виду, что он не так, как Вы, понимает значение самых обыкновенных и привычных, казалось бы, общезначимых слов. Об этом нельзя забывать ни на минуту. Вы не можете принять его языка. Вы лишены возможности объяснить ему свой язык. Отсюда единственный выход — по возможности не разговаривать, не обсуждать ничего, не делиться мыслями, не аргументировать — каждое слово будет злонамеренно использовано против Вас.

5. Сдержанность. Как держаться с кагебистами? — С максимальным достоинством и без грубости. Грубость — это они любят: можно арестовать Вас как бы за мелкое хулиганство суток на десять-пятнадцать; а если Вы обвиняемый, попадете в карцер. А главное: грубость — ведь это человеческая эмоция, своего рода фамильярность. Этого-то и не должно быть.

Конечно, кагебисты — «тоже люди». Но при общении с ними про это надо стараться забыть, независимо от того, как именно они себя с Вами ведут. Перед Вами винтики громадной машины, сделанной для пожирания таких, как Вы. Не давайте воли чув-

ствам. Сознательным волевым усилием отталкивайте всякую человеческую эмоцию по отношению к чиновнику этой организации. Ваши ответы, поведение и — по возможности — чувства не должны ни в какой мере зависеть от личных качеств следователя — представляется он Вам умным или не очень, добрым или злым, отталкивающим или по-своему симпатичным — в Вас ничто не должно шевельнуться в связи с этим. Это трудно, это самое трудное; надо постоянно напоминать себе об этом.

Излюбленный метод КГБ — сменять следователей, особенно поначалу. Один орет на Вас и даже стучит кулаком по столу, грубо угрожает (свидетель замыкается и ошетинивается, если его не так просто запугать), а другой — вежлив, корректен, даже ласков (если Вы это допускаете; не допускайте! держите дистанцию). Возникает произвольная симпатия к этому второму — с ним можно разговаривать... А разговаривать-то и нельзя.

Можно попробовать отвлечься, представить себе, что все это происходит не с Вами, а с похожим и дружелюбным Вам человеком. Ведь тактика Ваша предельно проста, формулы выучены, с этого Вас никак не сбить — Вы имеете время и возможность следить за своими ощущениями и контролировать их.

Задача — чтобы допросное время проходило, а Вы были бы спокойны и не слишком утомлялись. Тут уместно вспомнить, что у Вас есть некоторые маленькие права — старайтесь использовать их все. Мало кто из новичков знает, что допрашиваемый каждые два часа имеет право пойти в туалет. Делайте это неукоснительно: это Ваши пять минут, Ваш отдых. Требуйте, чтобы в обеденное время они отвели Вас в свою столовую. Если уже поздно и Вы устали, настойчиво требуйте прекращения допроса.

Впрочем, при отказе от показаний допрос заканчивается достаточно рано.

ПРОТОКОЛ

Допрос подходит к концу. Следователь молчаливо завершает свое очередное произведение — протокол допроса — и дает Вам для прочтения. Вы устали, не слишком хорошо себя чувствуете, уже поздно, и хочется только одного — поскорее попасть домой.

Но не спешите! соберитесь напоследок с силами. Прочтите протокол внимательно, прочтите его дважды, читайте каждое слово. Следователь торопит Вас — не обращайтесь внимания, это законное право — читать протокол, сколько вздумается.

Вы имеете право в конце протокола писать свои замечания. Обязательно воспользуйтесь этим правом. В каждом случае, когда Вас не вполне удовлетворяет формулировка следователя, запишите: ...В действительности вопрос такой-то был задан следующим образом, а мой ответ звучал так-то.

Даже если следователь убедился, что Ваши ответы лучше во избежание недоразумений записывать дословно, он все равно не сможет это сделать. Даже если по существу придирается не к чему, укажите, что ответы, которые Вы произносили кратко, записаны в протоколе в более развернутом виде, а не в точности так, как Вы их давали (это всегда делается следователями, таковы правила записи протокола). Ваша задача — на всякий случай так или иначе дезавуировать протокол. Вы не можете предвидеть, как именно в будущем следователь использует то или иное выражение. И совсем непростительно, если Вы пропустите что-нибудь существенное и подпишете протокол без всяких замечаний. Вам предъявят эти записи на суде, и Вы будете не слишком хорошо себя чувствовать.

Это они очень любят. Свидетель на суде говорит: «Не знаю, не помню». А судья ему: «Как так не помните? А ну-ка, откроем том дела номер такой-то, страницу такую-то. Поглядите — это Ваши показа-

ния?» — «Нет, я так не говорил, это формулировка следователя». — «А это Ваша подпись под протоколом?! И поглядите — Вы не записали никаких замечаний. Что же это Вы, человек с высшим образованием, читать не умеете? В этом Вы хотите убедить суд? А если бы следователь записал в протоколе показание, что обвиняемый, скажем, убил человека, Вы и это подписали бы? Стыдитесь! Вы виляли на следствии, были неискренни, Вы неискренни и теперь, на суде».

Никому не пожелаешь оказаться на месте такого свидетеля. Поэтому читайте, читайте протокол, и обязательно пишите замечания. Вы сможете потом на них сослаться, если будет надо. А не понадобится — ничего, труд невелик.

СВИДЕТЕЛЬ НА СУДЕ

И еще одно преимущество спасительного отказа — он сохраняет для Вас свободу маневра на суде.

Если Вас все же вызвали, несмотря на отказ давать показания на следствии, свидетелем на судебный процесс — это значит, скорее всего, что КГБ не намерено само возбуждать против Вас дело по статье 182 и решило предоставить это суду. Правда, особенно уповать на это не следует — срок давности Вашего «преступления» — три года.

Пока идет следствие, всегда могут появиться новые доказательства и свидетельские показания. Но на суде ничего нового КГБ уже не сможет представить. И здесь Вы смело можете на многие вопросы отвечать «нет — не помню — не знаю».

Правда, это можно делать лишь в том случае, если Вы полностью в курсе хода судебного процесса и знаете содержание обвинительного заключения. Вы как свидетель можете находиться в зале суда только с момента Вашего допроса в суде (и на этом Вы должны настаивать, если Вас попытаются удалить, на

основании статьи 283 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). Если кто-нибудь из Ваших близких друзей был в зале до Вас и подробно пересказал содержание обвинительного заключения и показаний обвиняемого и допрошенных ранее свидетелей, тогда — в добрый час! действуйте смело и сообразуясь с обстоятельствами.

Судья спросит, и довольно агрессивно, почему Вы отказывались давать показания на следствии. Ответьте, что следователь применял угрозы, и это было для Вас оскорбительно. Это всегда так бывает — они просто не умеют вести следствие без угроз...

У Вас могут быть конкретные причины желать присутствовать на суде. Например, если суд закрытый — чтобы знать, что там происходит; или чтобы своим присутствием оказать моральную поддержку подсудимому. Если таких причин нет — заболейте на эти дни и предъявите потом справку. И даже за неявку без уважительной причины Вам грозит непосредственно лишь мелкий штраф. Но в этом случае — если на суд идти не хотите и нет справки о болезни — лучше уехать куда-нибудь из города, не то Вас приведет на суд милиционер.

ОБВИНЯЕМЫЙ

— Что ж, — скажете Вы, — все это, быть может, неплохо для свидетеля. Но если я буду обвиняемым? Что делать тогда?

Мой ответ (пусть сугубо субъективный): то же самое.

Должен сказать, что мне самому не пришлось быть обвиняемым. Кто не был там, не может знать наверняка, как он будет себя вести. Но хотелось бы, если уж придется, суметь и там отказываться давать показания. Все, что известно о многих следствиях и процессах, убеждает меня, что в большинстве

случаев отказ — оптимальная тактика не только для свидетеля, но и для обвиняемого.

По закону обвиняемый не несет ответственности за отказ, как и за ложные показания. Не надо, впрочем, сомневаться в том, что следствие и суд сочтут такое поведение крайне дерзким и вызывающим и влепят подсудимому такой большой срок, какой смогут.

Но ведь они все равно это сделают! В том-то и дело, что мера наказания лишь в небольшой степени определяется такими факторами, как действительная вина, раскаяние, нанесенный ущерб и прочее. Конечно, один получает больше, а другой меньше. Но приговор по политическому делу всегда определен еще до суда конкретной инструкцией местной или центральной партийной власти. И приговор зависит в большинстве случаев не от Вас, не от Ваших мнимых или действительных преступлений, а от имеющихся в данный момент общих установок, и в последние годы — от конкретной международной ситуации.

Немногим из тех, кто поверил КГБ, испугался и попросил, удалось получить в натуре заслуженное вознаграждение. А те, кому это удалось (опять же в силу внешних обстоятельств), — пошли на такие самоубийственные унижения, что Вы навряд ли захотели бы разделить их судьбу. Много, слишком много требуется от того, с кем власти устраивают «показательный» процесс.

Не хочу призывать Вас ни к чему такому, за что Вы не пожелали бы принять на себя ответственность. Напоминаю лишь общеизвестное: приговор по политическому делу определяется главным образом независящими от Вас обстоятельствами. А следствие, сколь бы ласково оно себя ни держало под конец с «расколовшимся» обвиняемым, все равно, по чисто профессиональным соображениям, **н а к р у т и т** на него все, что сможет.

Когда обвиняемый отказывается отвечать на во-

просы и давать показания, он должен сознавать, что идет на потолок — то есть готов получить максимальную меру наказания по статье 70. Это не значит, что так и будет — может быть и гораздо меньше — но готовым надо быть к максимуму. В этом и только в этом случае Вы свободны от губительного воздействия следствия. Но если Вы не готовы внутренне к максимальному сроку и «хотите» хотя бы на полгода меньше — тогда Вы в рабстве у следствия. Вас заставят пройти горьким путем, которым прошли многие до Вас — и обманут.

Почти каждый обвиняемый по политическому делу был до этого какое-то время свидетелем. Если Вы как свидетель отказывались давать показания — продолжайте делать то же, став обвиняемым. Вам дорого обойдется изменение тактики, и почти всегда оно останется бесплодным. Вам будут постоянно напоминать на следствии, что Вы отказывались; припомнят это обязательно и на суде.

Практически во всех случаях те данные, которыми располагает КГБ в начале следствия, оказываются впоследствии лишь костяком обвинительного заключения. А живая ткань дела состоит из показаний обвиняемого — и показаний свидетелей, подтвержденных обвиняемым. Им нужны, им необходимы Ваши показания для того, чтобы сшить «стоящее» дельце, на котором можно заработать награды и повышения, это для них главное. На сухом, не подтвержденном показаниями агентурном материале такого дела не склеить.

Не помогайте им в их грязном труде! Помните, что х о р о ш о (с точки зрения КГБ) склеенное дело включает как необходимое условие и свое закономерное завершение — примерный, устрашающий приговор, который должен оправдать и само ведение дела. КГБ должно постоянно оправдывать свое существова-

ние, доказывая власти, что оно не пустяками занимается, а серьезными делами и опаснейшими преступлениями.

Став обвиняемым, заявите протест против ареста и заставьте записать в первом же протоколе, что Вы отказываетесь отвечать на вопросы и давать показания в знак протеста против примененной к Вам необоснованно суровой меры пресечения. Заявите, что Вы отказываетесь признать себя виновным по статье 70, поскольку у Вас не было умысла на подрыв и ослабление советской власти — и по этой причине Вы также отказываетесь отвечать на вопросы и давать показания. А затем держитесь — и да поможет Вам Бог!

Вам придется много месяцев провести в следственной тюрьме, в полной изоляции от родного и привычного для Вас мира. Вам придется выдержать изощренный и многообразный шантаж, вплоть до угрозы спецпсихбольницей, куда Вас, возможно, направят для экспертизы — и дабы Вы сами убедились, насколько это неприятное место. Вы будете помнить формулу «не верь — не бойся — не проси», а Вас будут уговаривать поверить, будут запугивать, будут предлагать, чтобы Вы попросили. Потом будет суд — скорее всего, закрытый — и приговор. И лагерь.

Но не будет — многомесячной унижительной зависимости от следователей, вымучивания версий, заверений в лояльности, показаний о других людях, показаний о себе и о своих контактах, разрушительного чувства вины и угрызений совести. Не будет мучительных самооправданий, исподволь разрушающих веру, совесть и разум. Будет чистое сердце — и силы вынести тюрьму и лагерь и выйти из них достойным человеком.

* * *

Длинное получилось письмо, и довольно грустное. Такова уж сама тема. Старался, как мог, рассказать все, что знаю и думаю об этом.

Что сделали с нами!.. Когда однажды пришли с обыском к моему другу-писателю, он не стал возмущаться или протестовать, а лишь спросил деловито: «Ордер у вас есть?» А потом он пришел ко мне и сказал, что у него был обыск целый день. И я тоже, не сговариваясь, не удивился и не возмутился, а спросил столь же деловито: «Что взяли?»

Это обыденная и страшноватая история. У всех нас мышление рецидивистов, а не нормальных культурных людей, в общем лояльных и законопослушных, какими мы являемся на самом деле. Наша психика деформирована «под гнетом власти роковой». Мы живем на своей родине, как в оккупированной стране. И всякий миг мы должны быть готовы ко всему.

От всей души желаю себе и Вам дожить до таких дней, когда все то, о чем я написал, не будет столь актуальным.

Будьте счастливы.

Ваш

Я. В.

ВИНЬКОВЕЦКИЙ, Яков — родился в 1938 году в Ленинграде. Учился в Горном институте, является автором множества трудов по различным геологическим проблемам. Как художник участвовал в ряде выставок, в том числе принимал участие в выставке 50 ленинградских художников-авангардистов. В апреле 1975 года покинул СССР. В настоящее время живет в США.

Восточноевропейский диалог

Эдуард Штейн

О «МАТЕМАТИКЕ ДУШИ» И «МУЗЫКЕ ИНТЕЛЛЕКТА» ЭСТОНСКОГО НАРОДА

«...но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о двадцати свободных годах этого некрикливо-го трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; выслушиваю принципы эстонской конституции, извлеченные из лучшего европейского опыта. ...и неизвестно за чем, но все это начинает мне нравиться, все это и в моем опыте начинает откладываться».

А. И. Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг».

Более полувека назад, в 1921 году, в Москве была издана книга Генриха Виснапу «Amores» в переводе Игоря Северянина. Предисловие к ней поэт-имажинист Александр Кусиков начал так: «Мало что на Руси известно об Эстонии и эстонцах». Слова эти не потеряли своей актуальности и ныне.

В дореволюционное время было крайне мало объективных работ о народе Калевипозга, нет их и сейчас, несмотря на то, что в Советском Союзе ежегодно издается большое количество книг о самой северной из прибалтийских республик. «Труды» эти полны перекладом и искажений, они фальсифицируют историю народа.

О моральной стойкости и цельности души эстонской повествуют немногие книги, да и то они, кроме одной, опубликованы на Западе. Золотник «эстониады» в современной русской литературе мал, но дорог.

А. И. Солженицын в «Одном дне...» говорит, что Иван Денисович никогда еще в своей жизни не встречал таких хороших людей, как эстонцы-зэка; Эдуард Кузнецов в своих «Дневниках» подкрепляет это мнение своим лагерным социологическим исследованием. Средний возраст эстонцев, пребывающих с автором в заключении, — 43 года, все они по суду были приговорены к расстрелу, замененному двадцатипятилетним сроком. «Главный самолетчик» далее так отвечает на вопросы об эстонцах, поставленные в сводной таблице: стукач — нет; наркоман — нет; уголовник в прошлом — нет; полицай — нет; взгляды — демократ... (эти «нет» автора «Дневников» без всяких натяжек переходят в «да»: честен — да; мужествен — да; непримирим к врагам своей Родины — да). С большим теплом пишет об эстонцах А. Варди в книге «Подконвойный мир», на обложке которой представлена скульптура «Раб в наручниках» — символ отчаяния, символ неволи — работы известного эстонского мастера Калью Рейтеля. Поэты русского Зарубежья Валерий Перелешин, Юрий Иваск и Борис Нарциссов в своих стихах воспевают язык и культуру Эстонии.

Если замалчивание советской официозной печатью правды об Эстонии легко объяснимо, то это же явление в дореволюционной литературе следует, очевидно, рассматривать в свете различия в психическом складе русского и эстонского народов. Горделивые эсты отличаются от русских своим происхождением, религией, культурой и языком. Взаимное отчуждение двух народов углубляется фактом постоянной экспансии России на Запад: 200 лет Эстония принадлежала дому Романовых, а сейчас, уже 34 года, находится под пятой советского империализма. Вполне естественно, что при таких, сменяющих друг друга катаклизмах, между двумя народами не могли возникнуть дружелюбные отношения. (Они все же возникают, но

не в Эстонии, а между политзаключенными советских лагерей и в изгнании).

Подобно древним евреям, находившим свой мир, свою «родину», свое духовное убежище в Талмуде и в учении пророков, эстонцы искали и находили животворную силу устойчивости и сплоченности в песнях своих бардов. Во время насильственной русификации Эстонии, проводимой режимом Александра Третьего, выдающийся народный поэт Юхан Лийв написал стихотворение «Для персов», воспринятое всем народом как пророчество:

...пусть сильные сильными были,
но если бессильных давили,
душили за сопротивление
и в боги себя возводили,
тогда
наступало падение.

Такое же значение для эстонцев в наши дни приобрел финал стихотворения Алексиса Раннита «Тигр»:

Мы победим, сыны страны видений,
Легенду нашу обращая в явь.

Кроме диаметрально противоположных исторических судеб двух народов и почти полувекового разрыва в датах раскрепощения (в Эстонии крепостное право было упразднено в 1816 г., а в России — лишь 45 лет спустя), не менее противоположны их нравы и привычки. Эстонцы, как правило, исключительно сдержанны, эмоции их вскипают и гаснут в глубинах души, не прорвавшись наружу. Зачастую они угрюмы и, в отличие от русских, настораживающе холодны. Удивительную сдержанность эту можно объяснить, очевидно, словами Игоря Северянина:

Ликуйте, мудрые эстонцы,
В чьих жилах северная кровь...

Да и трудолюбием, эрудицией, разнообразностью интересов и стремлением к познанию славятся эстонцы:

Где в каждом доме пианино —
И Лист, и Брамс, и Григ, и Бах?
Где хлебом вскормлена малина,
И привкус волн морских в грибах?
Где каждый труженик-крестьянин
Выписывает «свой» журнал?..

«Все это в Эстляндии, в стране-рае», — на вопросы эти отвечает И. Северянин в стихотворении «Ах, есть ли край?»

За это как раз и любили ту страну, «где мудро движется соха», «где что ни местность, то кургауз, спектакли, теннис и оркестр...», — Кюхельбекер, который чувствовал себя свободной птицей лишь «В лесах моей Эстонии родной», Бальмонт, Северянин и другие представители русской культуры; вот, наконец, почему Лесков в рассказе «Колыванский муж» в сатирической форме пишет о том, что, кто «пошел по канун и сам потонул», — русский Иван Силачев, под воздействием окружения, становится эстонцем.

Не поддающийся никаким депортациям и репрессиям коммунистической диктатуры постоянный рост народного самосознания эстонцев, их непреклонная вера в национальное самосохранение и демократическое будущее побуждают нас постараться понять истоки этого почти феноменального явления советской действительности.

По новейшим археологическим данным, финские племена, которые населяли северную часть современной России, достигли берегов Балтийского моря (территория Эстонии и Латвии) 2000—3000 лет до н. э.

В начале новой эры произошло окончательное разделение языка между ливами-финнами и эстонцами, то есть процесс этот предвосхитил подобный же

процесс размежевания между западными, восточными и южными славянами почти на шесть веков. Несмотря на отдельные набеги славянских племен с востока и шведов с севера, около трех тысяч лет земля эстов была свободной, а народ независимым.

Начало XIII века для эстонцев было подобно тому, что пережили евреи после разрушения первого Храма: маленькой стране пришлось вести войну на два фронта. Коалиция немецких орденов с Данией привела к разделу страны, ее разорению и, наконец, лишению свободы на целых 7 веков (до 1918 г.). Эту неравную борьбу возглавлял Бар-Кохба эстонцев — Лембиту, павший на поле брани в 1217 г., в войне, которая была для народа безнадёжной и которую эстонцы вели с упорством обреченных, веруя в то, что для тех, кто не встает на колени перед победителями, есть в будущем залог свободы.

Последние четыреста лет независимости страны, пути ее становления и развития нашли свое блестящее отображение в эпической поэзии и, прежде всего, в народном эпосе «Калевипоэг» (сын Калева). Судьба героя эпоса — сказочно-поэтическое отображение исторических судеб эстонского народа. События в эпосе охватывают период VIII—XIII веков. Освещением исторических процессов «Калевипоэг» превосходит многие эпосы, уступая разве только греческим. Сходство «Калевипоэга» с финским эпосом «Калевала» лишь поверхностное, отличие же принципиальное: в финский включены христианские мотивы, а в эстонском, более древнем, мы видим только языческие. Таким образом, «Калевипоэг» венчает языческий, независимый период становления Эстонии.

Немецкое владычество принесло с собой в середине XIII века насильственное крещение. Столь позднее принятие эстонцами христианства отнюдь не повлияло на ускорение развития духовной жизни народа, поскольку его внутреннее горение поддерживалось иск-

лючительно богатым эпосом и фольклором. Удивительный и достойный подражания феномен: народ, численностью чуть больше миллиона, создал примерно 400.000 народных песен, 95.000 сказок, 170.000 пословиц и поговорок и, наконец, 100.000 загадок. В этом духовном роднике народа — культурная сила нации.

Дальнейшее ее «возмужание» наступает в начале XV века, в период внедрения новой религии — лютеранской и в эпоху возникновения в стране книгопечатания (первая эстонская книга — «Лютеранский катехизис» была напечатана в 1423 г.).

Два следующих века в Эстонии господствовали шведы, но мировая история, пожалуй, не знает примера более благотворного влияния иноземного владычества. Шведы, к большому неудовольствию немецких баронов, угнетавших эстонское крестьянство, дали последнему свободу пользования землей. Потомки викингов создали в конце XVI века на оккупированной ими территории первую эстонскую гимназию, они же способствовали искоренению неграмотности в стране. Был введен закон, по которому неграмотные люди не могли вступать в брак. Всякие крестики, кружки, знаки минуса вместо подписи категорически отвергались. Заметьте, это было в XVI веке!

Ту же политику шведы проводили и по отношению к Финляндии. Значительно позднее Россия, дав автономию Финляндии, стремилась этим актом ликвидировать в ней сильное шведское влияние, однако, тогдашняя автономия Страны тысячи озер была намного шире, чем ее теперешняя независимость.

Крайне отрицательную роль в дальнейшем развитии Эстонии сыграл Петр Первый. Если для России он «в Европу прорубил окно», то для Эстонии он надолго его закрыл. При нем вновь было введено крепостное право. Он, наконец, сделал все от него

зависящее, чтобы углубить борозду, разделявшую русскую и эстонскую культуры.

До середины XIX века немцы пользовались в Эстонии почти неограниченными правами, полученными от Петра. Они, например, закрывали эстонские школы, длительное время задерживали публикацию народного эпоса «Калевипоэг».

Одним из противоядий против онемечивания народа было появление и колоссальный рост популярности первого эстонского «Тамиздата». В 1857 году эстонский народный эпос «Калевипоэг» был, наконец, впервые опубликован, но... в Финляндии. Дело в том, что немецкие власти поставили одним из условий публикации народного эпоса по-эстонски его перевод на немецкий язык (русские власти на этом не настаивали). В 1862 году эпос был издан по-немецки, но к тому времени он уже около пяти лет циркулировал по стране в оригинале.

Финал первой мировой войны не принес желаемого мира народам Восточной Европы. Стремление «раздуть пожар мировой революции» толкало советских экспансионистов на другие «народы и государства», включая прибалтийские страны.

24 февраля 1918 года, после семи веков неволи, Эстония провозгласила свою независимость, но уже 28 ноября того же года Красная армия атаковала молодую республику. В неравной борьбе народ, только что обретший долгожданную свободу, отстоял свои рубежи.

2 февраля 1920 года Советская Россия вынуждена была подписать Тартуский мирный договор, по которому она навсегда отказывалась от каких-либо территориальных претензий к Эстонии. Этот важный исторический документ, как и «Пакт о дружбе и ненападении», подписанный СССР и Эстонией 4 мая 1932 года, просто вычеркнут из коммунистической историографии.

Двадцать лет спустя после подписания первого договора с Эстонией, советский империализм поработил маленькую страну. Передо мной фотокопия документа, впервые опубликованного 18 сентября 1969 года газетой «Ваба Ээсти Сына» (Свободное эстонское слово). В этом документе, направленном 17 сентября 1939 года Народным комиссаром иностранных дел СССР Молотовым последнему послу Эстонской Республики в Москве — Аугусту Рэю, в частности, говорится:

«...имею честь по поручению Правительства заявить Вам, что СССР будет проводить политику нейтралитета в отношениях между СССР и Эстонией» (разрядка моя. — Э. Ш.).

На переломе сентября-октября 1939 года балтийские страны были вынуждены подписать со своим всемогущим соседом соглашение, по которому СССР получал право пользования военными базами на территории этих республик. На торжество подписания этого соглашения в Москву прибыл главнокомандующий эстонской армией, генерал Лайдонер. Сталин осыпал его подарками (2 арабских скакуна и коллекция старинного грузинского серебра). На банкете диктатор произнес речь, которая заканчивалась словами:

«Нет малых и великих народов. Эстония, пережившая самодержавие, принадлежит к великим народам».

Вскоре наступило 15 июня 1940 года: сталинские дивизии поработили своих соседей, а 16 июня произошла очередная трагедия — был депортирован, а затем ликвидирован Лайдонер (после этого была уже статистика — более ста тысяч эстонцев разделили судьбу своего главнокомандующего).

О трагизме новейшей истории эстонцев тонко и точно пишет А. И. Солженицын в «Архипелаге»:

«Вот известная (совсем неизвестная...) история,

как мы хотели взять их наскоком в 18-м году, да они не дались. Как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их честили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами. И ударили по ней еще и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвертом, и одних сыновей брала русская армия, других немецкая, а третьи бежали в лес...»

Многовековая неволя эстонцев раскрыла перед ними историко-социологическую аксиому: угнетающий другого никогда сам не может быть свободным. Когда, 24 февраля 1918 года, был принят Манифест народов Эстонии, то все национальные меньшинства: русские, немцы, шведы, евреи, латыши и литовцы получили те же права, что эстонцы: их представители были членами национального парламента. И даже тогда, когда часть немцев симпатизировала Гитлеру (последний, кстати, не очень им доверял), некоторые русские — Сталину (он позднее их депортировал), а еврей — идеям сионизма, то положение этих народов в Эстонии не изменилось.

Русское национальное меньшинство жило в демократической Эстонии богатой духовной жизнью. В идеальном порядке содержались церкви, соборы и монастыри. Российским писателям и актерам эстонские интеллектуалы оказывали самый теплый прием. Постоянный рижский русский театр часто гастролировал по городам Эстонии, на русском языке издавались книги, журналы, газеты.

Эталоном национальной терпимости всегда было отношение народа данной страны к «своим» евреям. Если сослаться на воинствующую «Энциклопедия Джудаика» (изд. 1971 г.), то в ней говорится, что поляки, украинцы, латыши и литовцы во время второй мировой войны убивали евреев. В статье «Эстония» (стр. 916-918) об эстонцах этого не сказано. Оно и понятно. Подавляющее большинство эстонцев помогало тем немногим (из 5 тысяч довоенных) евреям, которые

не успели эвакуироваться. От эстонского крестьянства не отставала интеллигенция. Достаточно указать на героический пример великого эстонского графика Вий-ральта, который три года прятал еврейского художника Блюменталья в шкафу государственной типографии. Приблизительно такова же судьба еврейской семьи Генсс. Юлиус Генсс был эстонским искусствоведом. Его сын Мо продолжает сейчас дело отца.

Евреи, населявшие страну до второй мировой войны, жили свободной жизнью в семье равных, сохраняя и развивая свои национальные традиции. В середине 30-х годов был осуществлен перевод «Калевипозга» на древнееврейский язык, а во всей эстонской литературе (до 1946 г.) не было ни одного презрительного слова об евреях. Как бы в благодарность земле, давшей евреям такие свободы, профессор Детройтского университета Иосельсон (эстонский еврей), до прибытия в Америку большой эстонской эмиграции, был единственным человеком в США, отмечавшим праздник независимости Эстонии — 24 февраля 1918 года. Другой же эстонский еврей — проф. Эммануил Нодель — написал по-английски книгу об Эстонии.

Зелоты, защитники легендарного бастиона Масада, в течение трех лет сдерживали напор превосходящих сил армии Тита. Они верили, что сам Бог на их стороне и, когда положение станет безвыходным, Он вмешается и спасет их. Всевышний не вмешался, и Масада была сокрушена.

«Эстонские зелоты» в 1944 году уже не полагались на Бога, они прекрасно знали: дивизии КГБ и МВД в стократ страшнее римских легионов, но тем не менее они не покорились и в течение 8 лет вели в лесах беспримерную борьбу с захватчиком. Последние очаги восстания были подавлены лишь в 1952 году. Если предположить, что эстонский опыт народной войны был бы хоть частично использован чехами и словаками в августовские дни 1968 года, то, кто знает, не

стала ли бы Пражская весна — Чешским летом: ведь как-никак чехов и словаков в 15 раз больше. Эмигрантские круги старались хоть как-то облегчить участь обреченных, но безуспешно. Да, читатель, это все было в эпоху, когда западные дипломаты еще не успели придумать «детант».

Партизанская война не принесла, да и не могла принести свободы, силы были слишком неравными. За свое стремление к свободе эстонцы заплатили большой кровавой ценой: простое сопоставление цифр говорит само за себя. В 1939 году численность населения страны равнялась 1.200.000 человек. В период между 16 июня 1940 года и 21 июня 1941 года было депортировано более 100.000 человек, эмигрировать же удалось лишь 60.000. Перед последней переписью населения СССР в Эстонии проживало ровно столько же людей, что и в 1939 году, причем процент русских был значительно выше, чем перед войной. Учитывая естественный прирост населения, без всякой боязни ошибиться, мы можем утверждать: за время советской оккупации Эстонии одна четвертая часть ее народа была уничтожена.

Тривиальное «любое поражение — начало грядущей победы» получило в Эстонии наших дней новую, тактическую окраску. Народ, который, подобно евреям, пережил такое обильное «кровопускание», свое аутодафе, должен был изменить тактику, физически и морально сохранить себя, спасти то, что определяет нацию, — спасти свою культуру. В этих новых баталиях за национальное самосохранение эсты одерживают одну замечательную победу за другой. Укажем на такой немаловажный факт, что за последние годы ни один из значительных представителей эстонской культуры не разделил судеб Синявского и Даниэля, Галанскова и Григоренко, Амальрика и Буковского. Эстонское искусство, находясь в общем главлитовском фарватере, благодаря почти единому фронту эстон-

ских коммунистов и их противников, совершает настоящие цензурные чудеса. Воистину, перефразируя Н. Н. Берберову, эстонцы поставили себе целью не допустить, чтобы их литература стала болгарской.

В процентном отношении (к количеству населения республики) Эстония занимает в СССР первое место по книго-журнало-газетопечатанию. Для всего русского народа «Один день Ивана Денисовича» (в издании «Роман-газета») был выпущен стотысячным тиражом, а на эстонском языке тираж повести Солженицына достиг рекордной цифры — 60 тысяч экземпляров.

В 1958 году в эстонском Госизе вышли в свет избранные стихотворения великого поэта маленькой страны — Марии Ундер. Совсем недавно была выпущена, по-эстонски, долгоиграющая пластинка с ее стихами. Когда в 1959 году в Москве был издан двухтомник «Антология эстонской поэзии», то русскому читателю выдающийся поэт не был представлен. Правда, переводы ее стихов были для антологии подготовлены, но то, что возможно в Таллине, недопустимо в Москве, — цензура послала стихи на «заклание».

В сложной игре с цензурой в кошки-мышки эстонцы руководствуются беспронизышной тактикой: тише едешь, дальше будешь — спокойно, без лишней шумихи, они печатают и мгновенно распространяют произведения любимых авторов.

Первостепенная роль в сохранении эстонской культуры, однако, принадлежит тем 60-ти тысячам, которым удалось уйти на Запад. По размаху культурного Возрождения и просветительной деятельности эстонская эмиграция нашего времени повторила великую польскую — середины XIX века. Значимость для эстонцев поэзии Ундер, Виснапу, Суйтса адекватна значимости для поляков поэзии Мицкевича, Словацкого, Норвида.

Всем хорошо известна любовь русских к поэзии,

но, как правило, в изгнании сборники стихов русских поэтов издаются тиражами не более тысячи экземпляров и расходятся с трудом. Эстонцы и здесь остаются непревзойденными: для своей столь малочисленной диаспоры они издают книги совершенно фантастическими тиражами. Сборники Марии Ундер опубликованы в 12 тыс. экземпляров, Генриха Виснапу — 10 тыс., Алексиса Раннита — 5500. Известный эстонский поэт Бернارد Кангро еще до выхода в 1971 году своей книги «Мой лик» имел более тысячи подписчиков!

Страстная любовь к своему языку, историческому прошлому, к многогранной и передовой культуре всегда давала и дает эстонцам силы поддерживать пламя внутреннего горения, тот огонь, который «тленья убежит».

Пламя высвободит руку
Из гранитного зажима.
И тогда Калевипоэт
В дом отцовский возвратится...

ШТЕЙН Эдуард — родился в 1934 году в Польше. Учился и впоследствии преподавал в Варшавском университете. В 1968 году эмигрировал в США. Печататься начал за границей. Член редколлегии сборника «Новый Колокол». В настоящее время живет в США.

МЕМОРАНДУМ

Письмо о польских тюрьмах

Меморандум содержит факты и наблюдения, собранные мною во время пребывания в течение двух с половиной лет в тюрьме в Стшельце Опольске. Он отражает взгляды и мнения других заключенных, которых я встретил в тюрьме. Меморандум, следовательно, является документом, дающим представление о положении заключенных в различных тюремных учреждениях в Польше.

КАМЕРЫ

1. В отделениях для неработающих заключенных в камерах площадью в 8 кв.метров месяцами и годами содержатся по 5 человек. Так переполнена не только тюрьма в Стшельце Опольске, но и тюрьмы в Барчево, Вронки, Рацибуж, Штум, Бялолэнка, Голеньов, Ныса, Тарнув. Можно сказать, что скученность в польских тюрьмах не исключение, а правило.

2. Окна в камерах так малы, что дневной свет, проникающий в них, не позволяет работать и читать без ущерба для зрения. Тем не менее, начиная с 1972 г., тюремная администрация стала закрывать оконные стекла намордниками, особым матовым стеклом, сократив и без того недостаточный доступ свежего воздуха и света.

Днем в камерах постоянный полумрак. Искусственный свет для чтения недостаточен: в камерах лампочки по двадцать пять и сорок ватт. При этом свете глаза быстро портятся.

3. В камерах нет канализации, но администра-

ция не выпускает заключенных из камер для отправления естественных надобностей.

В камерах, как правило, стоит на всех заключенных одна параша. Администрация разрешает дезинфицировать ее раз в сутки, хотя опорожняется она два раза в сутки. Я помню, что в моей камере в 1974 г. параша в камере не дезинфицировалась несколько недель. Это было своего рода наказание для неработающих заключенных.

4. Заключенным не дается горячая вода для стирки ими самими нижнего белья. Зимой заключенным не выдается соответствующая сезону одежда, но свою теплую одежду (пальто или свитер) разрешается надевать лишь в качестве привилегии.

С 1.VII.1972 г. одежда заключенных клеймится знаком ЗК.

5. Матрасы меняются очень редко. В бытомской тюрьме они превратились в гнездилище насекомых.

В качестве наказания применяется лишение матраса (так называемое наказание «твердой кроватью»). Кроме матраса, в этих случаях заключенный лишается также и нижнего белья, носков и полотенца, чтобы наказание было особенно чувствительным.

6. Заключенные не разделяются по категориям: малолетних содержат вместе со взрослыми, политических вместе с уголовниками, больных умышленно содержат вместе со здоровыми.

ПИТАНИЕ

1. Тюремная пища обрекает заключенных на полуголодное состояние. Вот в качестве примера меню для неработающих заключенных в тюрьме:

а) завтрак — пол-литра кофе;

б) обед — литр жидкого супа из картошки, макарон или муки;

в) ужин — пол-литра кофе, 400 гр. хлеба, 5 гр. маргарина, дважды в неделю — 5 гр. мармелада.

2. Неработающие заключенные не получают ни мяса, ни свежих овощей или фруктов. Им не разрешается ни покупать еду в тюремных ларьках, ни получать посылок.

3. Питьевая вода только некипяченая.

4. Администрация могла бы превратить заключенных в доноров, предлагая им бутерброд с ветчиной за пол-литра крови, ибо этот бутерброд не был бы слишком высокой ценой за кровь для людей, месяцами не видевших мяса.

ПРОГУЛКИ

1. Обычная прогулка длится 15-20 минут. Никаких возможностей для физических упражнений нет.

2. Применяется в качестве наказания — лишение прогулок. Например, Зенон Пломинский был лишен прогулки в 1972 г. — 7 месяцев; Януш Загурский в 1973 г. — был лишен прогулки в течение нескольких недель.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. В тюрьмах нет квалифицированных врачей. Как правило, медицинское обслуживание заключенных поручается фельдшерам. Они принимают раз в неделю, в заранее назначенный день, независимо от серьезности болезни.

Я помню случай Анджея Возняка, умершего в мае 1972 г. в результате нанесения самому себе увечья. Ему не была оказана медицинская помощь, ибо в этот день у фельдшера не было приема. Неделями ожидали перевода в больницу заключенные Роман Пацек, Алекос Тамбулидис, Януш Загурский.

2. Самый распространенный способ выбраться из

камеры — проглотить какой-нибудь острый предмет: кусок проволоки, гвоздь и т. д. Таким путем заключенные зарабатывают несколько недель приличной жизни в тюремной больнице. Идя на это они, однако, должны быть готовы к операции, которая делается, как правило, под легким местным наркозом, сохраняющим свое действие очень недолго. Во время значительной части операции пациент страдает от сильной боли, которая, по мысли администрации, должна предотвратить новые попытки нанесения себе увечья. Безнаркозные операции постоянно практикуются в тюремных больницах Бытома, Кракова, Варшавы-Мокотова, Гданьска, Барчева. Свидетели: Анджей Рослон, Пётр Ясинский, Марек Пионтковский, Януш Загурский, Адам Пакула, Лешек Симонюк, Здислав Лейман.

3. Заключенные больные, в том числе подозреваемые в болезнях, также и психических, не отделяются от здоровых. Практикуемое повсеместно, это объясняют отсутствием коек в тюремных больницах. Примером может быть случай Феликса Сивека, больного кистой, находившегося со мной в камере в ноябре и декабре 1973 г.

ДИСЦИПЛИНА И НАКАЗАНИЯ

1. Телесные наказания повсеместно применяются в польских тюрьмах. В тюрьме в Стшельце Опольске заключенных избивают ключами. Сначала заключенных помещают в так называемые тигровые клетки или камеры-термосы, а затем избивают.

2. «Тигровая клетка» — клетка в камере, железная решетка связывает движения заключенного, позволяя надзирателю беспрепятственно его избивать.

3. «Камеры-термосы» — новинка тюремной техники. Это звуконепроницаемые камеры, снабженные устройством, позволяющим прекращать доступ воз-

духа, что ведет к удушению. В 1973 г. эту пытку испытывали Зенон Пломинский и Ян Коллох.

3. Избиения производятся дубинками. Например, 19 августа 1973 г. заключенные, приведенные в баню, едва успев намылиться, получили приказ выйти. Они отказались. Надзиратели Шевчик, Кухаж, Охман избивали их дубинками. Серьезные повреждения получили заключенные Казимеж Урбанский, Чеслав Мариновский, Зенон Пломинский.

4. В качестве пытки применяется стискивание половых органов. Об этом сообщили Станислав Ойченаш и Януш Загурский.

5. Самое ужасное в тюрьме: атмосфера постоянного страха, установленная администрацией, террор, в котором держат заключенных надзиратели:

а) надзиратели обращаются к заключенным только на «ты»;

б) часто они вообще не затрудняют себя обращением к заключенному, а вызывают его в полной тишине жестом ключа;

в) надзиратели ругают заключенных, постоянно угрожают им;

г) личный обыск — одна из самых унижительных и пугающих форм деятельности надзирателей. Заключенных собирают в коридорах, раздевают донага и заставляют приседать на корточки и подпрыгивать. В это время обыскивается одежда заключенных.

5. Моральные пытки становятся иногда нестерпимыми. Об этом свидетельствует попытка к самоубийству Збигнева Вуйчика. Она имела место 20 апреля 1974 г. Его жизнь была спасена благодаря помощи сокамерников, фельдшера в этот день не было на дежурстве.

6. Пыткам подвергался Ян Коллох, явно психически больной.

7. Работники администрации стремятся натравить одних заключенных на других, вербуя донощи-

ков. Доносчикам обещают работу полегче, освобождение — за казенные услуги. От них не требуют точных фактов, достаточно, если они выдумают обвинения против товарищей. Администрация не занимается расследованием. Слова доносчика принимаются на веру. За доносом следуют суровые наказания.

Вот один из примеров. Группа заключенных была подвергнута репрессиям после того, как доносчики обвинили их в создании тайной организации. Обвинение было ложным. Но в течение года — с сентября 1973 до сентября 1974 — Михал Новик, Мариан Голембёвский, Бенедикт Чума подвергались моральным пыткам и содержались на уменьшенном пайке.

8. Заключенных, объявивших голодовку, питают насильственно. Для искусственного питания надзиратели используют умышленно слишком большую трубку, которая при введении повреждает горло, затем в трубку вливается кипящая жидкость. Этой пытке подверглись Станислав Ойченаш и Януш Загурский, объявившие голодовку в виде протеста против нечеловеческого отношения к заключенным.

КНИГИ, БУМАГА, ОБРАЗОВАНИЕ

1. С 1972 г. заключенным запрещается читать журналы. Можно подписываться на ежедневные газеты, но подписку следует вносить не за месяц, а за квартал.

2. Неработающие заключенные лишены права смотреть телевизионные программы и фильмы. Не разрешается иметь в камере собственных книг, записей, дневников. В случае обнаружения надзирателем, всё это уничтожается.

РЕЛИГИЯ

1. В тюрьмах нет регулярной религиозной служ-

бы. Работающим заключенным разрешается присутствовать на мессах несколько раз в год.

2. Не разрешается иметь в камере религиозных книг. Бенедикт Чума четыре года просил администрацию дать ему Библию. Безрезультатно.

РАБОТА

1. Труд в тюрьме принудительный. Отказники подвергаются репрессиям. Но распределением работ занимается администрация. Поэтому лишение работы становится автоматически наказанием.

Неработающие подвергаются целой гамме наказаний. В том числе:

а) наказание «твердой постелью» — на 14 дней. Наказание может быть повторено;

б) снижение пайка;

в) карцер.

Положение работающих заключенных — иное. Они получают лучшую пищу (мясо) и некоторые «привилегии»: фильмы, телевидение, религиозная служба, продолжительные прогулки. Заключенные предпочитают лучше работать, чем ничего не делать и быть голодными. Но списки неработающих составляет администрация, предпочитающая отдавать остатки пищи свиньям, а не отказникам, постоянно голодающим.

2. Есть даже добровольцы, соглашающиеся на сверхурочную работу, ибо за нее обещают досрочное освобождение. Пример: судьба Доминика Бучека, осужденного на 18 лет тюрьмы. В течение 10 лет он работал сверхурочно, веря в постоянные обещания досрочного освобождения. И сегодня еще он в тюрьме.

3. Работа в тюрьме носит особый характер:

а) заключенные делают обувь (Стшельце Опольске);

б) им выплачивается 20-25% заработка, осталь-

ные деньги присваивает администрация «за помещение и питание»;

в) работают заключенные очень хорошо, ибо только в 1973 г., по словам администрации, они заработали 60 млн. злотых.

Сомнительно, чтобы расходы тюрьмы превышали доходы. Еще больше дохода приносят другие тюрьмы и лагеря.

Быть может, в пользу, которую приносит почти даровая рабочая сила, следует усматривать причину необычайно суровых приговоров, выносимых польскими судами, одними из самых суровых в мире.

4. 2 апреля 1975 г. в центральном партийном органе «Трибуна Люду» было опубликовано интервью с высоким чиновником Главного тюремного управления Генриком Кितой. Он подтвердил, что заключенным выдается 20-30% их заработка. Он подтвердил, что заключенный, отказывающийся работать за такую низкую плату, будет подвергнут наказаниям в соответствии с тюремным регламентом.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Формально в Польше нет политических заключенных, хотя многие приговорены к тюремному заключению за политические действия. На практике, все осужденные за политическую деятельность находятся в худшем положении, чем иные заключенные. Как правило, они направляются в закрытые тюрьмы, где если и есть работа, то только физическая — независимо от квалификации заключенного. Надзиратели, администрация подвергают их особенно тяжелым моральным пыткам.

ЖАЛОБЫ

Заключенным рекомендуется не писать жалоб.

Они, как правило, возвращаются к тем, на кого заключенные жаловались, что всегда влечет за собой наказание.

Эмиль Моргевич

Варшава, Новогродская, 78, кв. 24

МОРГЕВИЧ Эмиль — родился 25.7.1940 на территории, оккупированной советскими войсками. Имеет высшее юридическое образование. До ареста 25.6.1970 работал журналистом в варшавской газете «Зеленый штандар».

Был арестован по обвинению в принадлежности к подпольной организации «Рух» («Движение»), включен — на процессе — в число руководителей организации и летом 1971 г. осужден на 4 года тюрьмы. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, весь срок отбыл полностью. Освобожденный в прошлом году, до сих пор не смог найти работы.

Меморандум о положении заключенных в Польше направил, подписав своим именем, в юридическую комиссию Сейма. Считает, что положением польских заключенных должны заняться международные организации, в том числе «Эмнести Интернешнл».

Запад — Восток

Андрей Сахаров

МИР ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

«Статья «Мир через пятьдесят лет» была написана мною более двух лет тому назад по просьбе редакции журнала Saturday Review для юбилейного номера журнала, которому летом 73-го года исполнилось 50 лет»
Автор

Сильные и противоречивые чувства охватывают каждого, кто задумывается о будущем мира через 50 лет — о том будущем, в котором будут жить наши внуки и правнуки. Эти чувства — удрученность и ужас перед клубком трагических опасностей и трудностей безмерно сложного будущего человечества, но одновременно надежда на силу разума и человечности в душах миллиардов людей, которая только одна может противостоять надвигающемуся хаосу. Это также восхищение и живейшая заинтересованность, вызываемые многосторонним и неуклонным научно-техническим прогрессом современности.

Что определяет будущее?

По почти всеобщему мнению, из числа факторов, которые определяют облик мира в ближайшие десятилетия, бесспорными и несомненными являются:

- рост населения (к 2024 году более 7 млрд. человек на планете);
- истощение природных ресурсов: нефти, природного плодородия почвы, чистой воды и т.п.;

— серьезное нарушение природного равновесия и среды обитания человека.

Эти три бесспорных фактора создают удручающий фон для любых прогнозов. Но столь же бесспорен и весом еще один фактор — научно-технический прогресс, который накапливал «разбег» на протяжении тысячелетий развития цивилизации и только теперь начинает полностью выявлять свои блистательные возможности.

Я глубоко убежден, однако, что огромные материальные перспективы, которые заключены в научно-техническом прогрессе, при всей исключительной важности и необходимости, не решают все же судьбы человечества сами по себе. Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности трудней всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и гибель, и спасение цивилизации.

Самое главное, неизвестное в наших прогнозах — это возможность гибели цивилизации и самого человечества в огне большой термоядерной войны. До тех пор, пока существует термоядерно-ракетное оружие и враждующие, полные недоверия государства и группы государств, эта страшная опасность является самой жестокой реальностью современности.

Но избегнув большой войны, человечество все же может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в охране среды, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма.

Человечеству угрожает упадок личной и государственной морали, проявляющийся уже сейчас в глубо-

ком распаде. во многих странах основных идеалов права и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем росте уголовных тенденций, в ставшем международным бедствием националистическом и политическом терроризме, в разрушительном распространении алкоголизма и наркомании. В разных странах причины этих явлений несколько различны. Все же, мне кажется, что наиболее глубокая, первичная причина лежит во внутренней бездуховности, при которой личная мораль и ответственность человека вытесняются и подавляются абстрактным и бесчеловечным по своей сущности, отчужденным от личности авторитетом (государственным, или классовым, или партийным, или авторитетом вождя — это все не более чем варианты одной и той же беды).

При современном состоянии мира, когда имеется огромный и имеющий тенденцию увеличиваться разрыв в экономическом развитии различных стран, когда налицо разделение мира на противостоящие друг другу группы государств — все опасности, угрожающие человечеству, в колоссальной степени увеличиваются.

Значительная доля ответственности за это ложится на социалистические страны. Я должен тут об этом сказать, так как на меня, как на гражданина влиятельнейшего из социалистических государств, тоже ложится своя часть этой ответственности. Партийно-государственная монополия во всех областях экономической, политической, идеологической и культурной жизни; неизжитый груз скрываемых кровавых преступлений недавнего прошлого; перманентное подавление инакомыслия; лицемерно-самовосхваляющая, догматическая и часто националистическая идеология; закрытость этих обществ, препятствующих свободным контактам их граждан с гражданами любых других стран; формирование в них эгоистического, безнравственного, самодовольного и лицемерного пра-

вящего бюрократического класса — все это создает ситуацию, не только неблагоприятную для населения этих стран, но и опасную для всего человечества. Население этих стран в значительной степени унифицировано в своих стремлениях пропагандой и некоторыми несомненными успехами, частично развращено приманками конформизма, но в то же время оно страдает и раздражено из-за постоянного отставания от Запада и реальных возможностей в материальном и социальном прогрессе. Бюрократическое руководство по своей природе не только неэффективно в решении текущих задач прогресса, оно еще, кроме того, всегда сосредоточено на сиюминутных, узко-групповых интересах, на ближайшем докладе начальству. Такое руководство плохо способно на деле заботиться об интересах будущих поколений (например, об охране среды), а, главным образом, может лишь говорить об этом в парадных речах.

Что противостоит (или может противостоять, должно противостоять) разрушительным тенденциям современной жизни? Я считаю особенно важным преодоление распада мира на антагонистические группы государств, процесс сближения (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, сопровождающийся демилитаризацией, укреплением международного доверия, защитой человеческих прав, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократизацией, укреплением нравственного, духовного личного начала в человеке.

Я предполагаю, что экономический строй, возникший в результате этого процесса сближения, должен представлять собой экономику смешанного типа, соединяющую в себе максимум гибкости, свободы, социальных достижений и возможностей общемирового регулирования.

Очень большой должна быть роль международных организаций — ООН, ЮНЕСКО и др., в которых

я хотел бы видеть зачаток мирового правительства, чуждого каких-либо целей, кроме общечеловеческих.

Но необходимо как можно скорей осуществить существенные промежуточные, возможные уже сейчас шаги. По моему мнению, это должно быть расширение деятельности по экономической и культурной помощи развивающимся странам, в особенности помощи в решении продовольственных проблем и в создании экономически активного, духовно здорового общества; это создание международных консультативных органов, следящих за соблюдением прав человека в каждой стране и за сохранением среды. И самое простое, насущное — повсеместное прекращение таких недопустимых явлений, как любые формы преследования инакомыслия; повсеместный допуск уже существующих международных организаций (Красного Креста, ВОЗ, Эмнести интернейшнл и др.) туда, где можно предполагать нарушения прав человека, в первую очередь, в места заключения и психиатрические тюрьмы; демократическое решение проблемы свободы перемещения по планете (эмиграции, реэмиграции, личных поездок).

Решение проблемы свободы перемещения на планете особенно существенно для преодоления закрытости социалистических обществ, для создания атмосферы доверия, для сближения правовых и экономических стандартов в разных странах.

Я не знаю, понимают ли до конца люди на Западе, что представляет собой сейчас декларируемая свобода туризма в социалистических странах — как много в этом показного, казенщины, жесточайшей регламентации. Для немногих, пользующихся доверием, подобные поездки — чаще всего просто оплаченная конформизмом притягательнейшая возможность приодеться «по-западному», вообще войти в элиту. Я уже много писал о проблемах отсутствия

свободы перемещения, но это тот Карфаген, который должен быть разрушен.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что борьба за права человека — это и есть реальная сегодняшняя борьба за мир и будущее человечества. Именно поэтому я считаю, что основой деятельности всех международных организаций должна стать Всеобщая Декларация Прав Человека, в том числе основой деятельности провозгласившей ее 25 лет назад Организации Объединенных Наций.

Гипотезы о техническом облике будущего

Во второй части статьи я изложу некоторые футурологические гипотезы, в основном научно-технического характера. Большинство из них уже публиковалось в той или иной форме, и я не выступаю тут ни как автор, ни как эксперт. Моя цель другая — попытаться набросать общую картину технических аспектов будущего. Естественно, что эта картина является весьма гипотетической и субъективной, а местами условно-фантастической. Я не считал себя при этом слишком связанным датой 2024 года, т. е. писал не о сроках, а о возможных, по моему мнению, тенденциях. Предсказатели недавнего прошлого чаще всего завышали сроки своих прогнозов, но для современных футурологов нельзя исключить и обратной ошибки.

Я предполагаю постепенное (далеко не завершенное к 2024 году) выделение из перенаселенного, плохо приспособленного для жизни людей и сохранения природы индустриального мира двух типов территорий. Назову их условно: «Рабочая территория» (ниже РТ) и «Заповедная территория» (ЗТ). Бóльшая по площади «Заповедная территория» предназначена для поддержания природного равновесия на Земле, для отдыха людей и активного восстановления равновесия в самом

человеке. На «Рабочей территории» (меньшей по площади и с гораздо большей средней плотностью населения) люди проводят большую часть своего времени, ведется интенсивное сельское хозяйство, природа полностью преобразована для практических нужд, сосредоточена вся промышленность с гигантскими автоматическими и полуавтоматическими заводами, почти все люди живут в «сверхгородах», в центральной части которых многоэтажные дома-горы, с обстановкой искусственного комфорта — искусственного климата, освещения, автоматизированных кухонь и т.п. Однако большую часть этих городов составляют пригороды, растянувшиеся на десятки километров. Я рисую себе эти пригороды будущего по образцу наиболее благополучных сейчас стран — застроенными семейными домиками-коттеджами с садами, огородиками, детскими учреждениями, спортплощадками, купальными бассейнами, со всеми предприятиями быта и современным городским комфортом, с бесшумным и удобным общественным транспортом, с чистым воздухом, с кустарным и художественным производством, со свободной и разнообразной культурной жизнью.

Несмотря на довольно высокую среднюю плотность населения, жизнь в РТ при разумном решении социальных и межгосударственных проблем может быть ничуть не менее здоровой, естественной и счастливой, чем жизнь человека из средних классов в современных развитых странах, т.е. гораздо более здоровой, чем это доступно подавляющему большинству наших современников. Но у человека будущего, как я надеюсь, будет возможность часть своего времени, хотя и меньшую, проводить в еще более «естественных» условиях ЗТ. Я предполагаю, что в ЗТ люди тоже живут жизнью, имеющей реальную общественную цель — они не только отдыхают, но и трудятся руками и головой, читают книги, размышляют. Они живут в палатках или в домах, построенных ими, как

дома их предков. Они слышат шум горного ручья или просто наслаждаются тишиной, красотой дикой природы, лесов, неба и облаков. Основная их работа — помочь сохранению природы и сохранению самих себя.

Условный числовой пример. Площадь РТ — 30 млн. км², средняя плотность населения 300 человек на км². Площадь ЗТ — 80 млн. км², средняя плотность населения — 25 человек на км². Общее население Земли — 11 млрд. человек, люди около 20% своего времени могут проводить в ЗТ.

Естественным расширением РТ явятся «летающие города» — искусственные спутники Земли, выполняющие важные производственные функции. На них сосредоточена гелиоэнергетика, возможно, значительная часть ядерных и термоядерных установок с лучистым охлаждением энергетических холодильников, что даст возможность избежать теплового перегрева Земли; это предприятия вакуумной металлургии, парникового хозяйства и т.п.; это космические научные лаборатории, промежуточные станции для дальних полетов. Как под РТ, так и под ЗТ — широкое развитие подземных городов: для сна, развлечений, для обслуживания подземного транспорта и добычи полезных ископаемых.

Я предполагаю индустриализацию, механизацию и интенсификацию земледелия (в особенности в РТ) — не только с самым широким использованием классических типов удобрений, но и с постепенным созданием искусственной сверхпродуктивной почвы, с повсеместным применением обильного орошения, в северных районах — широчайшее развитие парникового хозяйства с использованием подсветки, подогрева почвы, электрофореза, возможно, и других физических методов воздействия. Конечно, сохранится и даже усилится первостепенная решающая роль генетики и селекции. Таким образом, «зеленая революция» последних десятилетий должна продолжаться и разви-

ваться. Возникнут также новые формы земледелия — морское, бактериальное, микроводорослевое, грибное и т.п. Поверхность океанов, Антарктиды, а в дальнейшем, возможно, Луны и планет будет постепенно втягиваться в орбиту земледелия.

Сейчас очень острой проблемой в области питания является белковый голод, от которого страдают многие сотни миллионов людей. Решение этой проблемы за счет расширения объема животноводства в перспективе невозможно, так как уже сейчас производство кормов поглощает около 50% продукции земледелия. Более того, многие факторы, и в том числе задачи сохранения среды, толкают на сокращение животноводства. Я предполагаю, что в течение ближайших десятилетий будет создана мощная промышленность производства заменителей животного белка, в частности, производства искусственных аминокислот, главным образом для обогащения продуктов растительного происхождения, что приведет к резкому сокращению животноводства.

Почти столь же радикальные изменения должны произойти в промышленности, энергетике и быте. В первую очередь задачи сохранения среды обитания диктуют повсеместный переход на замкнутый по отходам цикл, с полным отсутствием вредных и засоряющих отходов. Гигантские технические и экономические проблемы, связанные с таким переходом, могут быть решены лишь в международном масштабе (так же, как проблемы перестройки сельского хозяйства, демографические проблемы и т.п.)

Другой чертой промышленности, как и всего общества будущего, будет гораздо более широкое, чем сейчас, использование кибернетической техники.

Я предполагаю, что параллельное развитие полупроводниковой, магнитной, электронно-вакуумной, фотоэлектронной, лазерной, криотронной, газодинамической и иной кибернетической техники приведет

к огромному возрастанию ее потенциальных и экономическо-технических возможностей.

В области промышленности можно предполагать большую степень автоматизации и гибкости, «перестраиваемости» производства — в зависимости от спроса и потребностей общества в целом. Такая перестраиваемость промышленности будет иметь далеко идущие социальные последствия. В идеале можно думать, в частности, о преодолении социально-вредных и пагубных для сохранения ресурсов и среды явлений искусственной стимуляции «сверхспроса», которые сейчас имеют место в развитых странах и частично связаны с консерватизмом массового производства.

В бытовой технике все большую роль будут играть простейшие автоматы.

Но особенную роль будет играть прогресс в области связи и информационной службы.

Одним из первых этапов этого прогресса представляется создание единой всемирной телефонной и видеотелефонной системы связи. В перспективе, быть может, позднее, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приемники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих из наших современников, ВИС будет предоставлять каждо-

му максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности.

Но поистине историческая роль ВИС будет в том, что окончательно исчезнут все барьеры обмена информации между странами и людьми. Полная доступность информации, в особенности распространенная на произведения искусства, несет в себе опасность их обесценивания. Но я верю, что это противоречие будет как-то преодолено. Искусство и его восприятие всегда настолько индивидуальны, что ценность личного общения с произведением и артистом сохранится. Также сохранит свое значение книга, личная библиотека — именно потому, что они несут в себе результат личного индивидуального выбора и в силу их красоты и традиционности в хорошем смысле этого слова. Общение с искусством и с книгой навсегда останется праздником.

Об энергетике. Я уверен, что в течение 50 лет сохранится и даже возрастет значение энергетики, основанной на сжигании угля на гигантских электростанциях с полным поглощением вредных отходов. В то же время, несомненно, огромное развитие получит атомная энергетика и к концу этого периода — термоядерная энергетика. Проблема «захоронения» отходов атомной энергетики — это уже сейчас проблема чисто экономическая, и в перспективе это будет не более сложно и дорого, чем столь же необходимое в будущем извлечение сернистого газа и окислов азота из топочных газов тепловых электростанций.

О транспорте. В области семейно-индивидуального транспорта, который в основном будет применяться в ЗТ, на смену автомобилю, по моим предположениям, придет аккумуляторная повозка на шагающих «ногах», не нарушающих травяного покрова и не требующих асфальтовых дорог. Для основных грузовых и пассажирских перевозок — гелиевые дирижабли с атомным двигателем и, главным образом,

быстроходные поезда с атомным двигателем на эстакадах и в туннелях. В ряде случаев, в особенности в городском транспорте, получит распространение погрузка и выгрузка на ходу с использованием специальных подвижных «промежуточных» устройств (движущиеся тротуары, подобные описанным в романе Герберта Уэллса «Когда спящий проснется», разгрузочные вагоны на параллельных путях и т. п.).

О науке, новейшей технике, космических исследованиях. В научных исследованиях еще большее значение, чем теперь, получит теоретическое вычислительное «моделирование» многих сложных процессов. Использование вычислительных машин с большим объемом памяти и быстродействием (машины параллельного действия, возможно, фотоэлектронные или чисто оптические с логическим оперированием информационными полями-картинами) даст возможность решать многомерные задачи, задачи с большим числом степеней свободы, квантово-механические и статистические задачи многих тел и т. п. Примеры подобных задач: прогноз погоды, магнитная газодинамика Солнца, Солнечной короны и других астрофизических объектов, расчеты органических молекул, расчеты элементарных биофизических процессов, расчеты свойств твердых и жидких тел, жидких кристаллов, расчеты свойств элементарных частиц, космологические расчеты, расчеты «многомерных» производственных процессов, например, в металлургии и химической промышленности, сложные экономические и социологические расчеты и т. п. Хотя вычислительное моделирование ни в коем случае не может и не должно заменить эксперимент и наблюдения, оно дает, тем не менее, огромные дополнительные возможности развития науки. Например, это великолепная возможность контроля правильности теоретического объяснения того или иного явления.

Возможно, будут достигнуты успехи в синтезе веществ, обладающих сверхпроводимостью при комнатной температуре. Такое открытие означало бы революцию в электротехнике и многих других областях техники, например, в транспорте (сверхпроводящие рельсы, на которых повозка скользит без трения на магнитной «подушке»; конечно, сверхпроводящими могут быть, наоборот, полозья повозки, а рельсы — магнитными).

Я предполагаю, что достижения физики и химии (быть может, с использованием математического моделирования) позволят не только создать синтетические материалы, превосходящие природные по всем существенным свойствам (тут первые шаги уже сделаны), но и воспроизвести искусственно многие уникальные свойства целых систем живой природы. Можно представить себе, что в автоматах будущего будут применяться экономичные и легко управляемые искусственные «мускулы» из обладающих свойством сокращаемости полимеров, что будут созданы высокочувствительные анализаторы органических и неорганических примесей в воздухе и воде, работающие по принципу искусственного «носа» и т.п. Я предполагаю, что возникнет производство искусственных алмазов из графита при помощи специальных подземных ядерных взрывов. Алмазы, как известно, играют очень важную роль в современной технике, и более дешевое их производство может еще более способствовать этому.

Еще более важное место, чем сейчас, в науке будущего должны занять космические исследования. Я предполагаю расширение попыток установления связи с инопланетными цивилизациями. Это — попытки принять сигналы от них во всех известных видах излучений и одновременно проектирование и осуществление собственных излучающих установок. Это — поиски в космосе информационных снарядов инопланет-

ных цивилизаций. Информация, полученная «извне», может оказать революционизирующее воздействие на все стороны человеческой жизни — на науку, технику, может быть полезной в смысле обмена социального опыта. Бездействие в этом направлении, несмотря на отсутствие каких-либо гарантий успеха в обозримом будущем, было бы неразумным.

Я предполагаю, что мощные телескопы, установленные на космических научных лабораториях или на Луне, дадут возможность увидеть планеты, обращающиеся вокруг ближайших звезд (альфа Центавра и других). Атмосферные помехи делают нецелесообразным увеличение зеркал наземных телескопов сверх уже существующих.

Вероятно, к концу 50-летия начнется хозяйственное освоение поверхности Луны, а также использование астероидов. Произведя на поверхности астероидов взрывы специальных атомных зарядов, возможно, удастся управлять их движением, направлять их «поближе» к Земле.

Я изложил некоторые свои предположения о будущем науки и техники. Но я почти полностью обошел то, что составляет самое сердце науки и часто оказывается наиболее значительным по практическим последствиям — наиболее абстрактные теоретические исследования, порождаемые неистощимой любознательностью, гибкостью и мощью человеческого разума. В первой половине XX века такими исследованиями явились: создание специальной и общей теории относительности, создание квантовой механики, раскрытие строения атома и атомного ядра. Открытия такого масштаба всегда были и будут непредсказуемы. Единственное, на что я могу рискнуть, да и то с большими сомнениями, это назвать несколько достаточно широких направлений, в которых, по моему мнению, возможны особенно важные открытия. Исследования в области теории элементарных частиц

и в области космологии могут привести не только к большому конкретному прогрессу в уже существующих областях исследований, но и к формированию совершенно новых представлений о структуре пространства и времени. Большие неожиданности могут принести исследования в области физиологии и биофизики, в области регуляции жизненных функций, в медицине, в социальной кибернетике, в общей теории самоорганизации. Каждое крупное открытие окажет прямо или косвенно глубочайшее влияние на жизнь человечества.

Неизбежность прогресса

Мне кажется неизбежным продолжение и развитие основных существующих сейчас тенденций научно-технического прогресса. Я не считаю это трагичным по своим последствиям, несмотря на то, что мне не совсем чужды опасения тех мыслителей, которые придерживаются противоположной точки зрения.

Рост населения, истощение природных ресурсов — это все такие факторы, которые делают абсолютно невозможным возвращение человечества к так называемой «здоровой» жизни прошлого (на самом деле очень тяжелой, часто жестокой и безрадостной) — даже если бы человечество этого захотело и могло осуществить в условиях конкуренции и всевозможных экономических и политических трудностей. Разные стороны научно-технического прогресса — урбанизация, индустриализация, механизация и автоматизация, применение удобрений и ядохимикатов, рост культуры и возможностей досуга, прогресс медицины, улучшение питания, снижение смертности и продление жизни — теснейшим образом между собой связаны, и нет никакой возможности «отменить» какие-то направления прогресса, не разрушая всей цивилизации в целом. Только гибель цивилизации в огне

всемирной термоядерной катастрофы, от голода, эпидемий, всеобщего разрушения — может обратить вспять прогресс, но надо быть безумцем, чтобы желать такого исхода.

Сейчас в мире неблагополучно в самом прямом, самом грубом смысле слова, голод и преждевременная смерть непосредственно угрожают множеству людей. Поэтому сейчас первой задачей истинно человеческого прогресса является противостоять именно этим опасностям, и всякий другой подход явился бы непростительным снобизмом. При всем том я не склонен абсолютизировать одну только технико-материальную сторону прогресса. Я убежден, что «сверхзадачей» человеческих институтов, и в том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве все человеческое — радость непосредственного труда умными руками и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства. Но я не считаю непреодолимым противоречие между этими задачами. Уже сейчас граждане более развитых, индустриализованных стран имеют больше возможностей нормальной здоровой жизни, чем их современники в более отсталых и голодающих странах. И уж во всяком случае, прогресс, спасающий людей от голода и болезней, не может противоречить сохранению начала активного добра, которое есть самое человеческое в человеке.

Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и природного в природе.

Религия в нашей жизни

о. Павел Ф л о р е н с к и й

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ

Этот труд о. Павла Флоренского (1882—1943) был впервые напечатан в сборнике «Троице-Сергиева Лавра» (Петроград, 1919 г.), который вышел малым тиражом и почти сразу же стал недоступен для широкого читателя, а спустя несколько десятилетий превратился в величайшую библиографическую редкость. Фактически, переиздание в «Континенте» этой статьи о. П. Флоренского можно считать первой широкой публикацией.

I

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XII веке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Св. Троицы, «так прекрасна», по его словам, «что не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отвести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя: ведь если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное, и среди всего Лавра оказывается на исключительном месте; очевид-

но, она и была таковою. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы», как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые разворачивается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изодня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования — в его глубокой органичности. Тут — не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, трудно объяснимая, но непреклонная, мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называть общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это-то всестороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое.

Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе

многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место — не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи — энтелихия, скажем с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное — ее провинция и окраина. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно-соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинают грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией Преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удастся найти себе выражения. Это слово — **АНТИЧНОСТЬ**. Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно, древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неумоимо пронизывается мыслью о перекликах в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном, подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего

глаз внешнего сходства. И если вся Русь в метафизической форме своей сродна эллинству, то *духовный родоначальник Московской Руси* воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной личности с такою степенью художественной проработки линии духовного характера Руси, что сам, в отношении к Лавре, или, точнее, всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть — возвращаясь к прежнему сравнению — портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры, как целого. Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гете, или, обращаясь к родной нашей терминологии, ЛИК ее, — лик лица ее, ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное от всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, от всего полуживого и застывшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, что запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное соби́рание живущем духовном самосознании народа, *Дом Живоначальныя Троицы всегда создавался и создается сердцем России, а строитель этого Дома, Преподобный Сергий Радонежский — «особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», — как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году — особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, может быть, точнее было бы сказать — Ангелом-Хранителем — России.*

Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности Преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном

для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но, тем не менее, он — мой, *он* именно, и вникая в себя, я никак не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли русской — Сергие, а ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: Платоновской идее, Аристотелевской форме, или, скорее, энтелехии, к позднему, хотя и искаженному понятию идеала, как сверхэмпирической, вышеземной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни — культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни «чюдного старца, святого Сергия», как свидетельствуют о нем его современники.

II

Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо Преподобный Сергей родился приблизительно за полтора года, а умер приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием разгорается ярче; так Византийское Средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью, сознавая и повторяя свою идею: XIV век ознаменован так называемым Третьим Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства ромеев тут вновь пробуждаются —

и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспринимающее око, собираются в один фокус достижения греческого Средневековья и культуры. Разошедшиеся в Византии и там раздробившиеся, — что и повело к гибели культуры тут — в полнोजизненном сердце юного народа они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности и из нее, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напавшая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение...^{*} русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузелу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, — получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси, как народа исторического; Преподобным Сергием incipit historia. Однако взглянемся, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята Преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же Преподобного полигистором или политехником, в себе одном совмещающим всю раздробленность расползающейся византийской культуры. Конечно, нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого Средневековья, в которой,

^{*} Пропуск в оригинале.

как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух; этою вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Преподобного. Я знаю: для не вникавших в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контрверсы рассматриваемого времени, бесспорна их неизмеримо важная, общественно-культурная и философская подоснова, символически завершающаяся в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвлеченной мысли, но глубочайшим анализом самих условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры, ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрвать фундаменты античной культуры и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть сполна. Богословски, все догматические споры, от первого века начиная и до наших дней, приводятся только к двум вопросам: к проблеме Троицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии вопросов были отстаиванием абсолютности Божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира — с другой. Христианство, требуя с равной силой и той и другой, исторически говоря, было разрушением преграды между только монотеистичным, трансцендентным миру иудейством, и только пантеистичным и имманентным миру язычеством, как первоначалами культуры. Между тем, самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно — и сущую в себе, неслиянно с жизнью, а воплощаемость ее в жизни, так сказать, пла-

стичность жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины, послушной перстам ваятеля.

...Сама в перстах слагалась глина
В обличья верные моих сынов... —

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, глубинный исследователь художественного творчества. Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать и, следовательно, невозможно само понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда Божественности, то она неспособна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и следовательно — снова останется она сама по себе, вне культуры, и следовательно — снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время, то с одной, то с другой стороны — то со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства, и защита культуры, в самых ее основах, всенародным соборным сознанием всегда была борьбой за оба, взаимно необходимые начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих, на вкус случайного обозревателя истории, узкий и схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей общекультурной значимости, при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, — они же — предельные символы догматики, взаимно подкрепляемые и взаимно разъясняемые, как основа и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом, Киевская Русь, как время преобразования народа, как сплетение самых тканей народности, раскрывается под знаком идеи о Божественной восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народа в государство, маячит преимущественно другая идея, о воплощающемся, превыше-мирном Начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской

Руси находит себе догматический и художественный символ — Софии-Премудрости, Художницы Небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской, выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории — Киевского и Московского, вместе с тем, суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа.

III

Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры, — вовсе не богословской науки только, культуры не церковной только, ложно понимая это слово, как синоним «клерикальный», но во всей ширине и глубине ее, церковной, в смысле — всенародной, целостной русской культуры, во всех ее, как общих, так и частных, обнаружениях. Да, Равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей Первообразом горнего мира, узрел Софию; и в его восприятии, Она — божественная восприимчивость мира, — предстала как прекраснейшая Дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство Небесной Деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей воспринять от царственных щедрот Византийской культуры. Первый по времени иконографический русский сюжет — икона Софии, Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненноликой, пламенеющей эросом к небу, Девы, исходит от первого родоначальника русской культуры — Кирилла. Нужно

думать, что и самая композиция Софийной иконы, исторически столь таинственной, — имею в виду древнейший, так называемый новгородский тип, — дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовываются Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как вместе с ним и наша древнейшая литература, пронизанная и формально и содержательно благороднейшим из языков — эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного — Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его — Философ, и что около Софийного храма, около древнейших наших Софийных храмов обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за доверчивым приятием эллинства и за формированием извне женственной восприимчивости русского народа, приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создание государственности, устойчивого быта, проявление всего своего активного творчества в искусстве и науке и развитие хозяйства и быта. Новое видение горнего Первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника — Преподобного Сергия, и опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего — а по сказанию жития — даже утробного возраста. Нам нет надобности опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать: «Вот как глубоко определился дух Преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской весь ему преданный и весь им проработанный». Этим Первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы, приблизительно в это время Преподобного Сергия предельно довыясненная и досказанная в так называемых паламитских спорах и в вопросах об «общей благодати Пресвятой Троицы»

церковною мыслию Византии. Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного Сергия — для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век — век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому — и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская Держава выродилась в «грекосов», а из русских болот возникало русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы.

IV

Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный Преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня Преподобным Никоном, есть первая по времени в мире Церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическую точность этого первенства: древние историки упоминают до четырех храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и два — на Западе в IV-IX веках; но если бы эти свидетельства и были достоверными, то, все же, такое храмоздательство не вошло.....* в обиход, и даже названные церкви не удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел Троицких храмов. В наших летописях, уже в XII, XIII и в XIV веках упоминаются храмы Троичные; так, в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпухове, в Наозерыи и, главное, соборный в Пскове. Точно ли

* Пропуск в несколько слов

позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям, или названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях в более древних известиях этим именем только ретроспективно — сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов (так, например, Лаврский Святого Духа был первоначально во имя Троицы), во-вторых, варианты в летописных известиях (например, Троицкий Краковский называется и Богородичным) и, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, — сравнительно поздняя, в XIV веке лишь, установка симметричной Троицной формулы, каковая именно в XIV веке, в Восточной церкви, делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству Троицных храмов, развитию Троицной иконографии, созданию цикла Троицных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение храмов Троицных до этого роста Троицной идеи в XIV веке; но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли бы быть сознательно воздвигнутыми символами идеи еще не оформившейся и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо — как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе; оно не было бы великим, если бы не разрешало собою творческое томление всего народа. Но, тем не менее, это оно именно — творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одном слове.

Таковым было слово Преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского Собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в Петербургский период России опять ознаменовано построением Троицкого Собора. Этим установил Петр Великий духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано, в свое время, и начало самостоятельности России на Востоке.

Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергий строит Троичный Храм, видя в нем призыв к единству земли русской, во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, — по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия... — побеждать страх перед ненавистною раздельностью мира». Троица называется Живоначальной, т.е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное Преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем не забыты даже утешения детям — игрушки, самим Преподобным

изготавливаемые, все это вместе, по замыслу прозорливого открывателя Троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для «взирания» на храм Пресвятой Троицы и созерцание в нем первообраза Божественного единства. Отныне Троичное храмоздательство связывается с именем Преподобного Сергия и не без причины Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы.

Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма, — так сказать, осуществленное в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика Преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию Троичной иконы, бывшую при Преподобном и им утвержденную, самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Епифаниева жития представляют иконы Троицы в келии Преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, т.е. свидетельствуют о возникновении ее именно среди деятельности Преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, дотоле неизвестная миру, появляется впервые в Московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы — Сергия. Мы сказали: «неизвестная миру»; но и тут, как и в утверждении о Троицком Соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех, исторически выработанных, материалов, которые привлечены к воплощению символа. Если в отношении к знаменитой рублевской Троице мы говорим о последних, то тогда, конечно,

ее должно рассматривать лишь как звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции трех Странников-Ангелов — в частности. История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314-м году, у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех Странников Аврааму, а в V и VI веках известны подобные же изображения на стенах Римской Церкви Марии Маджоре и Равенской Св. Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречается не раз; но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений, прежде чем устанавливать их связь с Троицей Рублева. Изображение женщины с ребенком на руках вовсе не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаем вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно Богоматеринство, открывшееся Рафаэлю. Так точно, три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и снабженные крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сюжетом творческое названной иконы еще несколько не определяется. Композиция трех Странников с предстоящим Авраамом или позже — без него, есть не более как эпизод из жития Авраама, хотя бы даже условно-аллегорически принято было усматривать в ней намек на Пресвятую Троицу. Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число три, не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая перед нами завеса ноуменального мира, и нам, в порядке эстетическом, важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального, и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, — а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному воз-

ру бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольном, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном Единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь — более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом покорность — мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни — деревом, и земля — скалою, — все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой бесконечной любви: все — лишь около нее и для нее, ибо она — своею голубизною, музыкою своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений — есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, столь и кристально твердое и непоколебимо верное, видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собою небесный первообраз, а вокруг себя — земное отображение, — быть в среде духовной, в среде умиренной. Андрей Рублев питался как художник, тем, что дано ему было. И потому, не Преподобный Андрей Рублев, духовный внук Преподобного Сергия, а сам родоначальник земли русской — Сергей Радонежский — должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублев был не

самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием. Это — второй символ русского духа; под знаком его разворачивается дальнейшая русская история, и достойно внимания, хотя иного и ждать было нельзя, что величайший литургический сдвиг, в котором, своим чередом, выразилась русская идея и своеобразные черты русского духа, опять-таки связываются с именем Преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне, как литургическом творчестве именно русской культуры и даже определеннее — творчестве Преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника, как не знала она, в сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных икон. Последнее слово Византии в области догматической стало источным выходом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы, причем третья молитва на вечерне, обращенная ко Христу, соединяется теперь с новой молитвой, — к Духу Святому, впоследствии отмененной, согласно Византийскому образцу, реакционной и вообще антинациональной деятельностью Патриарха Никона. Почитание же Духа Утешителя, Надежды Божественной, как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений Софийных и переносится на последующий за Троицею день — День Духа Святого, в каковой, по проникновенной догадке нашего народа, «Земля — именинница», т.е. празднует своего Ангела, свою духовную Сущность — Радость, Красоту, Вечную Женственность.

Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве местного храмового праздника Троицкого Собора — как чествование «Троицы» Андрея

Рублева. Подобно тому, как служба Иерусалимского храма Воскресения, — в мире, по самому месту своего совершения, единственная, — делается образом и образцом службы Воскресной, повсюду совершаемой, и вводится затем в устав, или подобно тому, как Празднество Воздвижения Креста Господня, опять-таки первоначально единственное, по самому предмету празднования, по единственности Животворящего Креста, уставно распространяется в качестве образца (аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав можно привести и еще немало), так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовною сущностью всего русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных Троицких храмах, с бесчисленными иконами Троицы. Предмет, отраженный тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, все же остается основой реальности всех их и реальным их центром. Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть России — первообраз Пресвятой Троицы, как культурной идеи, несмотря на дальнейшее размножение свое, все же остается историческим, художественным и метафизическим уником, не сравнимым ни с какими своими копиями и перекопиями. Прекраснейшее из зданий русской архитектуры, Собор Троицкий, «из которого не хочется уходить», — по вышеупомянутому признанию Павла Алеппского, — и прекраснейшее из изображений русской иконописи — Рублевская Троица, как и прекраснейшее из музыкальных воплощений, несущее великие возможности музыки будущего, — служба вообще и Троицына дня в частности, значительны вовсе не только как красивое творчество, но своею глубочайшею художественной правдивостью, то есть полным тождеством покрывающих друг друга первообраза русского духа и творческого его воплощения.

Так вот почему, именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более, чем в своем собственном доме. Ведь она, и в самом деле, воплотила в себе священнейшие воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотою, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра — это мы, более чем мы сами, это мы — в наиболее родных и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несем сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество, во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности: мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с *сердцем* русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Праздник Троицы делается точкою приложения творчества бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота народного быта обрастает вокруг этого Троицына дня и частью, как, например, наши Троицкие березки, вливается в самое храмовое действо, так что нет определенной границы между строгим уставом церковным и зыблущимся народным обычаем. Русская иконопись нить своего предания ведет в иконописной лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, так что Лавра — подлинный исторический музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение, основное свое питание получали всегда от просветительной деятельности, сгушавшейся в Лавре и около Лавры. Самые странствования Преподобного Сергия, а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней

включительно, разносили с собою русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в ее целом, все стороны нашей жизни собою определяющую.

В древней записи о кончине Преподобного он назван «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси». И действительно, не менее четверти русских монастырей основано прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-Восточную Россию, до пределов Пермских и Вологодских включительно. Но бесчисленно отраженные и тысячекратно преломленные лучи нашего Солнца! Что не озарено его светом?

Идея Пресвятой Троицы для Преподобного Сергия была, в порядке общественного строительства, заповедью общежития. «Там не говорят: это мое, это — твое; оттуда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей», — писал в свое время св. Иоанн Златоуст о современных ему монастырях. Общежительство знаменует всегда духовный подъем: таковым было начало христианства. Начало Киевской Руси также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской Лавре вскоре после крещения Руси; и начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития, по совету и с благословения умирающей Византии. Идея общежития, как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, — назовется ли она по-гречески *киновией*, или по-латыни — *коммунизмом*, всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожденнейшая заповедь жизни, — была водружена и воплощена в Троице-Сергиевой Лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы, как центра-колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и про-

светительной. и, наконец, моральной. Из всех этих сторон культурного изучения Лавры следует остановиться сейчас в особенности на сравнительно мало учитываемом ее просветительном воздействии на Русь. Уже Преподобный Сергей требовал от братии, наряду с телесными трудами, в которых сам первенствовал, неустанного чтения, а для чтения необходимо было завести и мастерских переписчиков; так Сергиева Лавра, от самого основания своего, делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой доныне живет в монастыре его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было непрерывавшееся доныне огромное издательское дело Лавры, учесть культурную силу которого было бы даже затруднительно по его значительности. А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимосоприкосновений русского общества; просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны тесными узами с Лаврой и все пять веков тут именно, у раки Преподобного, искали они духовной опоры и верховного одобрения своей деятельности. От кого именно? Не от тех или иных насельников монастыря, входящих и входивших в состав Лавры как ее служители и охранители, а у всего народа русского, через Лавру говорящего, искали одобрения от Лавры как единого культурного целого, центр которого — в Троицком Соборе, а периферия — далеко с избытком покрывает границы России. Московская Духовная Академия, питомица Лавры, из Лаврского просветительного и ученого кружка Максима Грека вышедшая и в своем пятисотлетнем бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость уз с Домом Живоначальной Троицы, не без глубокого смысла, после четырехсотлетней своей истории, нашла наконец себе

место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более ста лет пребывает здесь, с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая Высшая школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одною из сторон в жизни Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вокруг Лавры и, во второй половине XIX века, выкристаллизовали из себя более чистое свое выражение — художественно-кустарную мастерскую Абрамцева, в свой черед ставшую образцом художественно-кустарных мастерских прочих наших губерний. Кстати сказать, не без вдохновений от Лавры и не без ее организующей мощи возникло и жило само Абрамцево, взрастившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России: вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве можно исчерпать все то, чем высказывала и высказывает себя культурная жизнедеятельность, исходящая от Лавры? Рискуя или распространиться на целую книгу, или же — дать сухой перечень, не будем продолжать далее и на сказанном остановимся.

VI

Подвожу итоги. Лавра собою объединяет, в жизненном единстве, все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов; как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Лавра — показательный музей архитектуры; естественно организовывать здесь школу архитектурную, а может быть, и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие образцы шитья — этого своеобразного, пока почти не оцененного изобрази-

тельного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи; как необходимо учредить здесь, на месте, Общество, которое изучало бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло бы искусство вышивки и устроило соответствующую школу и мастерские. Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле. Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая русскую народную музыку, с ее, по терминологии Адлера, «гетерофонией» или «народным многоголосием», — это зерно прорастающей музыки будущего, идущей на смену гомофонии Средневековья и полифонии Нового времени и их в себе примиряющей. Нужно ли напоминать об исключительно благоприятном изучении здесь, в волнах народных, набегающих ото всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислить всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры, нельзя и предвидеть те новые дисциплины науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые могут возникнуть и наверное возникнут с свершившимся переломом истории — *от уединенного рассудка ко всенародному разуму*. Скажу короче: мне представляется Лавра, в будущем, русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где, в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц, совместно осуществляются те высокие предназначения — дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую Элладу, — которые ждут творческого подвига от русского народа. Не о монахах, обслуживающих Лавру и безусловно необходимых, как пятивековые стражи ее, единственные стильные стражи, не о них говорю я, а о всенародном

творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся культурною ее насыщенностью. Средоточием же этой всенародной Академии культуры мне представляется поставленное до конца тщательно, с использованием всех достижений русского высокостильного искусства, храмовое действо у священной гробницы Основоположника, Строителя и Ангела России.

1919 г.

Из последних листьев

Публикуемые материалы В. В. Розанова принадлежат к последним его страницам. Ими завершается книга «Из последних листьев», главки которой были опубликованы Виктором Ховиным в «Книжном углу» (1918) при жизни Розанова и которая, по замыслу автора, совпадала с «Апокалипсисом нашего времени». Датировать их следует весной-летом 1918 г.: главка «Тени», вероятно, написана непосредственно вслед за 21 мая — днем, когда православная церковь чтит память Константина. «Последние листья» объединяет истолкование Апокалипсиса как противохристианской книги, выдвинутое Розановым в «Апокалипсисе нашего времени», и утверждение «однозаветия», отстаивавшееся Розановым на протяжении двух десятилетий в полемике с Мережковскими и их теорией «Третьего Завета».

Л. Флейшман

ОБРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТ

Дифирамбы, дифирамбы, дифирамбы...

Дифирамбы, дифирамбы, дифирамбы...

.....

О, пойте песни, народы

.....

Знаете ли вы, знаете ли вы, что всякая настоящая радость нема:

.....

Ах... так вот отчего планеты немо обращаются около солнца...

ТЕНИ

Стою за службою в церкви Красного Креста. Стою, слушаю, слежу. И мне кажется, что ничего этого — *нет*, как нет

$A = \text{не-}A$,

т. е. по логике — нет, а следовательно — и исторически тоже нет этого. Не может быть.

Прежде всего, нельзя не поразиться, что на монетах Константина Великого, коих сохранилось так много, что ими можно мостовую мостить, нет ни одного — так-таки решительно ни единого, «Христианского символа», как равно и на монетах с изображениями Св. Елены. Везде (т. е. у Константина) — *solī invicto*, т. е. культ Митры. Наконец, есть монеты *погребальные*, но и там — два изображения: одно — в грустной траурной тоге, но — совершенно языческое; другое: как он, подобно Илье Пророку, уносится в небо и на колеснице. Везде, однако, изображения языческие: это — квадрига, четырехконная языческая колесница, уносящая в небо императора, который, по сумме монетных изображений, как будто и не становился никогда христианином.

Что же такое и о чем написано у Евсевия? Принятия христианства как будто никогда не было.

Затем, меня прямо томит эта мысль: что принятия христианства никогда *и не могло быть*, что это религия, что называется, «не статичная».

Прежде всего, когда я шел еще в церковь послушать этот праздник, то мне представилась совершенно кошунственной самая мысль, будто Бог мог быть так безжалостен к человеку, чтобы оставить его вовсе без религии, вовсе — «не открыв Себя» целых 4000 лет, т. е. дольше, чем сколько тянется христианство? Возможно ли это, и мыслимо ли по жалости Бога к чело-

веку, возможна ли такая бессмыслица? Но и затем. Меня в самом деле смущает мысль: а как же физиология? Христианство — оно все «чистенькое», «книжка», и в нем ни испражнений, ни роженицы — нет. А «Отец» — Он Бог, т. е. «тот Единый Бог, Который и есть», будем ли мы изображать Его в гиматие и со скипетром и с орлом у ног, как греки; или как египтяне — в виде Озириса-Онуфрия, т. е. сидящего и одетого, но тоже — «на престоле» (очевидно, этот-то Озирис-Онуфрий, «уже без физиологии», и послужил источником и началом и Зевса-Этофора, и Юпитера у римлян, т. е. сидящего и «одетого»: но в основе-то, мы знаем, у египтян, как и у греков, с римлянами вслед их, Бог имеет изображение именно физиологическое, рождающее, как Свое «первозданное»). Бог — он Отец, и это — прежде всего. Что же мы видим у христиан? Бог у них именно — не отец, и это — прежде всего. «Бог есть Дух», от этого начинаются все катехизисы. «В Боге — крови нет», «Бог — бескровен», вернее — он «обескровен», и именно у христиан, у христиан у первых. Не понимаю: или я сплю и вижу все это во сне, или христиане все спят и всё видели только во сне, и увидели какого-то Странного Бога — бескровного. Откуда же — кровь, первое начало мира, из которого все и рождается. Ибо уже из крови — семя, или точнее — семя есть энтелехия крови: кровь *есть*, потому что *будет семя*, кровь создана, чтобы потом *породиться семени*. Явно, что Бог не только кровен, но и слишком кровен, полно-кровен, Бог именно — Семя, как и изобразили первые египтяне, «*sim phallo in statu erectionis*», как их открытый Озирис. Да иначе и быть не может, потому что откуда же иначе взялась жизнь? Что же христиане нам проповедуют о «Богe Духе Святом»: он — не только не «Святой», а это есть просто *мнимость*, т. е. его просто — нет. Христианство есть именно «мнимость», а не — «религия». И это, в конце концов, не только космо-

гически, но и нравственно: в самом деле, что за «отец», который гнушается своей «рождающей дочери»? Это — не Отец, а чужой, посторонний, проходящий мимо человек. Очевидно, в безфизиологического Иисуса христиане поверили как «в проходившего мимо человека» вследствие какой-то красоты слов. Христос совершенно чужд миру и идет мимо его, идет именно «в погибель», как и речет Апокалипсис: так как это «Дух», т. е. одни «разговоры». А-космический, а-физиологический Христос миру просто не нужен, и если бы он «пришел», то «не знаю, зачем приходил». Христианство именно — марево, мираж. И его — не может быть. Это

не-А,

которое вздумало быть

А.

Не только не «Альфа» и «Омега», но даже никакая из промежуточных маленьких букв.

Что же такое совершилось и что такое христианство? И вот эта обедня, которую я слушаю. Я слушаю ее и берусь за руки, пробуждая себя, думая: «не сплю ли я?» Но — нет, не сплю. Значит, «все спят люди и ничего не видят». Кажется, «христианство приснилось» и только приснилось человечеству: как и речет Апокалипсис.

Хорош «Отец», который не хочет видеть рождающей дочери. Это именно монастырь, и Христос основал монастыри. Вот *для них* он и пришел, «сын погибельный». Тогда понятно, что он а-космичен, что Он есть «Дух». И вообще христианство объяснимо. Конец, точка, смерть. Тогда — Димитрий Сергеевич. Тогда зачем же говорить о Христе, когда можно говорить о Димитрии Сергеевиче и Зинаиде Николаевне, — людях ведь ясных и наших дней литераторах. Это — очевидно и уже никого не может смутить. «Проходите, люди добрые; нам вас не нужно и вас просто нет».

Дву-заветие возвращается к *едино-заветию*, и, как

говорит опять Апокалипсис: возвращается «к песне Раба Божия Моисея», которую поют Апокалипсические человеки. Дело в том, что право именно язычества, и ноумен всего его — юдаизм: все возвращается к Едино-Божию, после которого неведомо что настало. И вот царство, наисильнее всего поверившее в то, — «неведомо что настало»:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил благословляя

— оно первое, именно первое, и разрушилось. Но оно есть начало падения вообще всей европейской цивилизации. О которой можно поистине сказать, что она «как бы была», а на самом деле «не была». Тенность. Тень. И не более. Посмотрите на монеты. Какая роскошь — там; скудость воображения — здесь. И Аннибалы, и Рим. Гомер и Фемистокл. А Людовики, как Александры и Николаи, — пробежали как мыши. Только еще Дарвин, да Спенсер, да телефоны с телеграфами. «Проходит лик мира сего» (Достоевский). Проходит и уже воистину «прошел». «Будет все новое» (Апокалипсис). Вот — оно и настало. Пришли солдатушки-ребятушки. И начался опять *trivium* и *quadrivium*. Расколотили царство и начали опять эпоху средних веков. «Все — новое и сначала».

* * *

Бунт Апокалипсиса с этого и начинается. Он начинается с а-физиологизма христианства. Бросает этот а-физиологизм в Преисподнюю, говоря, что «и история пойдет вспять за этим», что если где нет физиологии, — то какая же будет и история? И вот смотрите, престол Божий:

«И вот — престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смагду... И от престола исходили молнии и громы* и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом... и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле... поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред Престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (глава 4).

А кончается все родами женщины:

«И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот... дракон... Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, — дабы, когда она родит, пожрать ее младенца».

Здесь все связано, все понятно. Мир — подставка для человека. А человек — для вечной жизни, вечного бытия.

Новый Иерусалим. Как все понятно. Как все гороскопично. Поистине, Апокалипсис — гороскоп человечества. Опять — тривиум и квадравиум. И милые монеты античности.

* *Всё это, — все символы грома и молнии, как равно символы топора, секиры и копья, — по объяснению мне одного ученого археолога, — суть обычные в древности фаллические символы. [«Ученый археолог» — несомненно, И. А. Рязановский, «Князь обаяний». См. о нем в книге А. Ремизова «Кукха», Берлин, 1923 — Л. Ф.]*

ФИЛОЛОГИЯ ИЛИ ОНТОЛОГИЯ?

Нельзя не удивляться, когда мы высказываемся о движении светил небесных, мы всегда неизменно говорим о *движении их «вперед»*, хотя ведь есть такое же точно сказать о движении «назад»..? Ибо где же тут «вперед» и где же тут «назад», когда вообще в нескончаемостях пространственных нет ни «вперед», ни «назад», ни «вправо», ни «влево», ни «вниз», ни «вверх»? Итак, правильно и уравновешенно было бы говорить хотя о $1/2$ светил небесных, что они движутся «назад». Но — никогда не говорим. Почему?

Тут является сомнение: одна ли это филологическая односторонность, или есть нечто *и от мира*? Почему это, летя по эллипсу вокруг Солнца, земля будто бы летит *все вперед и нисколько не назад*?

Разгадка, — онтологическая или внутри нас — душевная, — по-видимому, заключается в видении Иезекииля, где, говоря о странных и страшных колесах, пророк то же высказывает, что они «шли *все вперед*», «на *лице свое не оборачиваясь*». Видение это, конечно выражающее космогонические движения, говорит нам о том, что суть всего движущегося заключается в вечном «вперед», в каком-то *онтологическом, а не пространственном «вперед»*, и что есть какой-то будто «грех», если бы какая-нибудь вещь «оглянулась *назад себя*», посмотрела «под ноги себе» и вообще узнала нечто «обратное» (жена Лота, обернувшаяся *назад* и тотчас обратившаяся в *соляной столб*).

Вообще, это — из загадок, *почему и как* возникло «*лицо вещей*»? И еще: почему возникла *спина* и всяческое *спинное расположение вещей*?

По-видимому, в спине *меньше зрения*. Спина — тупее, неосязаемое. Спина — она глухая. «Вперед»

планета летит, потому что «нужны глаза», чтобы «знают, куда летишь», «выбрать, определить *путь*». И хотя, конечно, «у планеты *нет же глаз*», но как-то, с другой стороны, все-таки планета и не совершенно лишена зрения. Ну, «нет глаз», но ресницы-то уж наметились?

Фу, чудовищная мысль. Что же, это — воздух? Лучеиспускание, которое есть и у планет? Или — магнитные ее токи?

Глубокое, глубокое: «не вем».

Последние листья

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА

Праздник, сияние, отдых. Больше ли он труда? О, воистину — больше. Человек трудится, человеку — труд? Но что тут хорошего? Воистину, если человек «бог» или божествен — он создан для праздности. Вот «Эврика». Наоборот, если он демоничен и черен — он создан для «труда».

Праздник — это стихотворение. Труд — проза. Говорят, раньше человек говорил только стихами. Отсюда большой объем «Илиады», «Одиссеи», «Наля и Дамаянты». Потому что он был блажен. Так вот в чем коренится зло. Бог был *solus* и вечно праздновал. В один день у Него мелькнуло: «дай — потружусь». И Он «создал мир». Так в «создании мира» и заключается зло. И — от того, что Богу для этого надо было отменить отдых.

Странно, но — так.

Солнце вечно «отдыхает». «Нести на себе планеты» и заставлять их «вращаться» — ему ничего не стоит.

ИСТОКИ

Николас Бетелл

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

(Окончание)

Многие офицеры имели какое-то представление о Ялтинском Соглашении и полагали, что те среди них, которые были советскими гражданами, должны вернуться домой. Они думали, что дело будет решаться в персональном порядке и «овцы будут отделены от козлиц». В то время как погрузка шла полным ходом, пишет Ленивов, многие казаки пытались вручить английским офицерам свои нансеновские паспорта и другие удостоверения, показывающие, что их обладатели не жили в России после 1920 года. Но Брейер и его сотрудники, несомненно под влиянием приказа Китли, предписывавшего «во всех сомнительных случаях рассматривать этих людей как советских граждан», отказывались принимать бумаги и освободили только четырех человек.

Английские отчеты утверждают, что принимались меры к выявлению лиц, не имеющих отношения к советскому гражданству, но что «из-за отсутствия документов, быстроты и секретности, при которых проводилась эвакуация, расследование каждого индивидуального случая было невозможно». Но даже эти весьма сдержанные утверждения не выдерживают критики, когда речь идет о высших офицерах, таких, как

Шкуро, Краснов, Клич Гирей и фон Паннвитц. Они были хорошо известны. Шкуро был в 1919 году награжден высшим английским военным орденом за участие в первой мировой войне. Эмигрантом он стал с того самого времени. Фон Паннвитц был чистокровным немцем. Он не только не являлся советским гражданином, но даже никогда не был в России. Можно прийти к заключению, что насильственная репатриация этих людей в духе Ялтинского Соглашения была осуществлена на основе уверенности Китли в том, что советские власти хотели бы получить в свои руки высшее казачье офицерство и что их выдача будет рассматриваться как акт доброй воли со стороны Великобритании. Важнее было ублажить советскую власть, чем соблюдать Соглашение.

Лишь в малой степени могли англичане смягчить ужас предстоящего путешествия. Начальник снабжения майор Роулет говорит: «Я позвонил в дивизию и затребовал тонны и тонны водки». Водка была доставлена и вместе с щедрыми рационами питания погружена в грузовики. В нескольких ярдах от ворот лагеря какой-то человек выпрыгнул из машины, но колонну сразу же остановили и он был схвачен.

Колонна въехала в Юденбург и остановилась перед большим железным мостом через реку Мур — пограничной линией между английской и советской зонами оккупации. Русские на той стороне были готовы, и грузовики без задержки начали пересекать мост. Сержант Д. Чартерс в своем отчете пишет следующее: «Когда наш грузовик остановился, какой-то человек попросился помочиться. Он получил разрешение и справил нужду. После этого он перескочил через перила и бросился вниз с огромной высоты. Позже его выловили». Командир вооруженной охраны майор Т. Гуд не был свидетелем инцидента, но, как он пишет: «Я видел его последствия... Когда офицеры вышли из машин и советская охрана собиралась принять

их, один офицер бритвенным лезвием перерезал себе горло и мертвый упал к моим ногам». Ленивов описывает пять случаев самоубийств на мосту, но в рапорте Чартерса упоминается только о двух.

Гуд пересек мост и ждал, когда советские представители примут военнопленных. Многие фамилии в английских списках, такие, как Шкуро или Краснов, были хорошо известны советской «приемной комиссии». Гуд пишет, что советские офицеры казались очень обрадованными прибытием таких знаменитостей, среди которых находились главные демоны двадцатипятилетнего советского фольклора. Когда Гуд спросил советскую женщину-капитана, хорошо говорящую по-английски, что сделают с этими казаками, она ответила, что старших «будут перевоспитывать», а младших отправят работать на восстановлении разрушенных советских городов. С тем же вопросом он обратился к другому офицеру. Тот знал английский плохо. «Он просто скорчил гримасу и провел пальцем по горлу».

Теперь казачьи офицеры находились в советских руках: 1500 домановских и 500 из Кавалерийского Корпуса фон Паннвитца. Английские офицеры отмечают теплый, почти дружеский прием, который ожидал казаков по ту сторону моста.

Как только группа пересекла русскую границу, подкатили и остановились два мощных мерседес-бенца и вышли два генерала. Они поприветствовали всех присутствующих и приказали устроить смотр прибывшим в грузовиках. На этот раз военнопленные явно почувствовали, что Немезида повернулась к ним спиной. Это можно было заметить по выражению их лиц. Генералы, окруженные всеми присутствующими, поговорили с одним или двумя военнопленными. Один из генералов произнес пространную речь, в которой назвал военнопленных непослушными детьми и сказал, что если они будут послушны и будут трудиться,

как все остальные члены советского общества, никакого серьезного наказания они не понесут. В результате этой речи, когда заключенных повели за загородку, на их лицах можно было видеть выражение облегчения.

Через несколько дней их передали в руки сталинской секретной полиции — НКВД, и на этом дружеский прием окончился.

* * *

В долине Драу, между Лиенцем и Обердраубургом, оставалось еще более 20 тысяч казаков: отдельные офицеры, простые солдаты, гражданские беженцы, женщины, дети. Наступил вечер, но никаких признаков возвращения офицеров не было. В 8 часов одну из переводчиц (Ольгу Ротовую) вызвали к англичанам. «Где офицеры?» — спросила она. «Мы не знаем». Тогда она сказала: «Вы четыре раза обещали нам, что они вернутся к вечеру. Значит ли это, что вы обманывали нас?» На это, по словам Ротовой, один из офицеров ответил: «Мы только простые английские солдаты и выполняем приказы наших начальников». На следующий день другая переводчица, М. Н. Леонтьева, прямо спросила английских офицеров, выдали казаков или нет. Ее уверили, что этого не произошло. В Лиенц они не вернутся, но они в безопасности и содержатся в хороших условиях. Пищу и одежду им посылать не нужно, так как всем этим они будут обеспечены. Надо только собрать их вещевые мешки и личные вещи, чтобы отослать им.

Все это было сомнительно, но казаки не были до конца уверены, что это ложь. Природный оптимизм еще какое-то время оставлял их в блаженном неведении. Это соответствовало стремлению англичан скрывать от них правду сколь только возможно.

У них не было достаточно людей, чтобы охранять открытое место, на котором расселилось более 20-ти тысяч человек. И без того уже часть из них покинула долину и перебралась на холмы. Как только откроется правда, эта струйка превратится в поток.

На долю Девиса выпало самое неприятное задание: открыть правду. Девис постарался всеми способами смягчить реальное положение вещей. Он сказал, что советские представители обещали обращаться с репатриантами хорошо и гуманно. Казаки почти засмеялись над такой наивностью. Они закидали Девиса вопросами: а вы знаете, что сделала советская власть? Вы знаете, сколько миллионов было убито при насильственной коллективизации или сколько умерло от голода? Вы слышали о массовых арестах и чистках? Вы действительно думаете, что Сталину можно верить? На такие вопросы Девис ответить не мог. Он знал, что четыре года советский народ храбро сражался с нацистскими агрессорами, что четыре года английские газеты пели славу Сталину. Чему он мог верить? Они должны вернуться в Советский Союз. Таков был данный ему приказ. Он вспоминает, что казаки вытолкнули вперед старую женщину. Она подняла руки и он увидел, что на ее пальцах не было ногтей. «Это результаты пыток НКВД — вот на что вы нас толкаете!» — сказала она ему через переводчика. Девис был глубоко потрясен, но что он мог сделать?

Это было за два дня до начала депортации. По словам английских официальных отчетов, «районы, где находились лагеря, усиленно патрулировались, но, тем не менее, было невозможно предотвратить бегство в последующие несколько дней значительного количества казаков и кавказцев». Одним из них был Георгий Шелест, живущий сейчас в Соединенных Штатах. Какой-то английский солдат нарушил приказ и еще до выступления Девиса рассказал ему, что слу-

чилось с казацкими офицерами. «Несколько солдат были готовы помочь нам. Они рассказали нам правду. У меня была жена и девятилетний сын Георгий. Поэтому я решил, что наша единственная надежда — бежать. Сотни поступили так же. Лучше было погибнуть в лесах, чем быть выданными коммунистам».

Но большинство, более 20 тысяч человек, решило остаться в долине и не подчиняться приказу. Казаки были лишены верхушки, и поэтому они избрали временным атаманом старшего сержанта Кузьму Полунина. Полунин проявил себя хорошим организатором. Он направил петицию в адрес командира охраны этого района Алека Малколма. Она начиналась словами: «Мы, русские, казаки, бежавшие из России по собственной воле и присоединившиеся к немецкой армии не для того, чтобы защищать интересы Германии, а с единственным намерением бороться против Советского Союза, заявляем, что наше возвращение в Советский Союз абсолютно невозможно».

В петиции говорилось, что многие казаки имеют родственников в Соединенных Штатах и в Европе, за что они подвергались арестам и пыткам в Советском Союзе. Многие в качестве военнопленных мучились и умирали в нацистских концлагерях. Поэтому они и были так рады попасть в руки англичан. «Мы хотим находиться под протекцией английского правительства, потому что в этом наше спасение, — писали они, — а если это невозможно, мы предпочитаем умереть, чем вернуться в Советский Союз, где будем обречены на длительное и систематическое уничтожение». Они просили Малколма отослать эту петицию в английский Парламент и американский Конгресс.

Девис сказал казакам, что если они подчинятся приказу, их хорошо снабдят провизией на дорогу и не будут разделять семьи. Если же они будут сопротивляться, их погрузят силой. Родителей отделят от детей. Собирались ли они поступить таким образом?

Но аргумент обладал достаточной силой, чтобы повлиять на казаков. И в день, предшествующий отправке, они решили, что делать: они соберутся все вместе на открытом воздухе и будут молиться. «Мы хотели молиться в полях, мы хотели молиться непрерывно, без отдыха. Мы были уверены, что у англичан не поднимется рука на молящихся».

Казаки объявили голодовку. Они сказали англичанам, что не будут принимать пищу, чтобы подготовиться к предстоящим страданиям, на которые они обречены. Тем не менее англичане продолжали приносить еду: хлеб, сахар, печенье и мясные консервы. Часть этого казаки высыпали на землю. Банки консервов открывали и содержимое выбрасывали. Остальные продукты складывались в кучу, чтобы охрана могла убедиться, что они остаются нетронутыми. Есть разрешалось только больным. Даже детям родители отказывали в пище.

Выдача казаков из Лиенца была назначена на 31 мая, но была на день отложена по требованию советских представителей. Депортация из долины Драу началась ранним утром 1 июня. Специфический ужас произошедшего в Лиенце заключался в том, что здесь находилось около 4 тысяч женщин и 2,5 тысячи детей, и все это выглядело почти как акт геноцида, т.е. уничтожения большей части нации казаков в эмиграции. В то время это событие не обсуждалось в английской или американской прессе. Как советскую, так и западную сторону устраивало держать это дело в секрете, и журналисты последовали совету своих правительств.

До того как в 1972 году были обнародованы английские документы, относящиеся к 1945 году, точной информации обо всех этих событиях не существовало. Русские эмигранты рассказывали о них довольно подробно, но их сообщения были, конечно, слишком

эмоциональны и часто преувеличены. Вот как описывает их Алек Малколм в своем отчете, который начинается так:

В 7.30 утра 1 июня я и майор Девис пришли в лагерь... В лагере я увидел большую толпу людей в несколько тысяч человек, образовавшую строгий квадрат с женщинами и детьми посередине и мужчинами снаружи. В первом ряду на равных расстояниях друг от друга стояли мужчины, одетые в военную форму. В одном месте собралось 15 или 20 священников, одетых в облачения, держащих иконы и хоругви. В 7.30 они начали богослужение и вся толпа запела. Было ясно, что эта форма сопротивления была хорошо организована.

Малколм был прав. Накануне вечером священники решили собрать всех казаков для службы на открытом воздухе. Они думали, что служба сделает депортацию невозможной, что это окажет моральное давление на англичан. Никому не понравится чинить насилие над человеком, когда он молится. В 6.00 священники возглавили процессию вокруг лагеря, чтобы собрать людей, и, по подсчетам Девиса, на площади, окруженной с трех сторон высоким деревянным забором, скопилось не менее 4-х тысяч человек.

Те, кто выжил, сохранили живое воспоминание об этой сцене. Над толпой возвышался деревянный помост с временным алтарем и большим крестом на нем. Вокруг помоста стояли священники в ярких парадных облачениях. Службу вел Василий Григорьев.

Девис через переводчика обратился к толпе, заявив, что время начинать погрузку. Он пишет, что «единственным результатом его слов было еще большее сплочение толпы». Он сказал, что дает им полчаса на молитву, а когда они истекли, дал еще полчаса. Но не было никаких признаков того, что священники собираются заканчивать службу. После этого Девис понял, что «бесполезно предлагать толпе до-

бровольно начать погрузку и следует прибегнуть к насильственной эвакуации».

Он построил своих людей на неогражденной стороне площади. Одни были вооружены дубинками, другие — заряженными винтовками. Штыки у солдат висели в ножнах на поясах. Он приказал им примкнуть штыки. Но даже когда солдаты двинулись на толпу со своими штыками и дубинками, казаки продолжали молиться и отказывались двигаться. Подобно стаду животных перед лицом хищников, они прятали женщин и детей в середину толпы, выдвигая в первые ряды молодых бойцов для защиты. По словам Девиса: «люди скучивались в плотные массы, опустившись на колени и обхватив друг друга руками». Солдаты пытались вытащить из толпы отдельных казаков. При этом (как вспоминает Иван Мирошниченко) толпа только покачивалась и содрогалась, но солдаты не могли вытащить из нее никого.

Солдаты никогда не сталкивались с такой безвыходной ситуацией. Несколько из них пришли к Девису. «Они не хотят идти, сэр», — сказали они почти жалобно. Приказ Девиса был ясен. Он сказал им, что казаки должны идти, хотя они этого или нет. Они подчинились и вернулись к побоищу, но так смущенно и нерешительно, как будто бы хотели сказать: «Вы действительно так думаете?» Девиса это поразило. По опыту он знал, что они не поколебались бы ни секунды, прикажи он им атаковать противника на поле битвы.

Следующий план Девиса заключался в том, чтобы послать отряд в толпу и изолировать одну ее часть. «Около двухсот человек было отрезано от остальных. Я приказал двум отрядам вклиниться между этой группой и основной толпой, чтобы никто не мог ускользнуть из мешка и помешать начинать погрузку этих людей в грузовики». Девис описывает, как это происходило:

Когда отдельные казаки на периферии толпы были вырваны из нее, остальные спрессовались в плотную массу и под влиянием паники начали карабкаться друг на друга в судорожных усилиях уйти от солдат. В результате образовалась пирамида из истерически кричащих человеческих существ, под которой ряд людей оказался в ловушке. Солдаты применяли неистовые усилия растащить эту массу, и били прикладами и дубинками по рукам и ногам, чтобы спасти людей, затапываемых внизу.

Эта сцена произвела сильное впечатление на английских солдат. Эрчи Рид, ныне шотландский фермер, говорит: «Это не солдаты душили их, это они сами. Я думаю, что шестеро задохнулось до смерти». Девис в своем рапорте сообщал, что все казаки из этой группы были погружены силой и что двое умерло от удушья.

Фролов увидел солдата, который тащил на плечах к грузовику мальчика лет пяти. Мальчик в казацкой форме отчаянно извивался и, к своему ужасу, Фролову показалось, что это его сын Володя. Он потерял контроль над собой, вырвался из толпы, но, когда подошел поближе, увидел, что это не его сын. Он повернул назад, но был схвачен солдатами, потащившими его к грузовикам. Он был спасен группой молодых казаков, которые вырвались из толпы и освободили его. Потом они снова сомкнули руки, образовав цепь вокруг толпы, чтобы защитить ее от налетов солдат. Хватать женщин и маленьких детей и насильно грузить их в машины было проще. Часто отец семейства оказывался свидетелем, как это происходило. Такие люди, как и Фролов, моментально теряли разум при мысли, что их жены и дети будут отправлены в Советский Союз без них. Они выскакивали вперед и схватить их не представляло труда.

Зоя Полянская находилась в самой гуще толпы и ее все плотнее прижимали к стене одного из стро-

ений. Пытаясь уклониться от рук нападающих, толпа пятилась назад, и задним грозила опасность быть раздавленными. Зою постепенно поднимало по стене, пока она не оказалась на уровне окна. Ее прижало к стеклу, которое в конце концов треснуло. Верхняя часть ее туловища оказалась в комнате, а ноги оставались снаружи, изрезанные кусками разбитого стекла. Она рассказывает: «Мои ноги были изрезаны в лохмотья. Кровь хлестала, но я не чувствовала боли, и это меня беспокоило больше всего. Так я лежала до тех пор, пока кто-то не втолкнул мои ноги в окно».

Толпа все сильнее нажимала на высокий деревянный забор, который начал прогибаться под ее напором и наконец рухнул. Толпа устремилась в пролом, как лава извергающегося вулкана. После чего, по словам Ротовой, они, подобно преследуемым зайцам, рассыпались по всем направлениям. Она упала на землю недалеко от рухнувшего забора.

Люди, потеряв головы, бежали по моим ногам. Все смешалось: пение, молитвы, стоны, вопли, крики людей, убегающих от рук солдат, плач детей и грубая солдатская брань. Избивали всех, даже священников, которые высоко держали кресты и продолжали молиться. Я молила Бога помочь мне встать на ноги. Мне удалось встать и я вместе с толпой бросилась через опрокинутый забор наружу. Здесь много людей во главе со священниками опустились на колени и продолжали молиться. Другие бежали к мосту через реку и дальше в горы. У всех была одна мысль: скоро моя очередь. Они схватят меня и бросят в грузовик. Недолгое путешествие, и я окажусь лицом к лицу с большевистскими убийцами.

Неудивительно, что этот кошмар привел многих казаков к мысли о самоубийстве. Фролов рассказывает: «Я вошел в лес и увидел несколько тел, висящих на деревьях». Это подтверждается английскими солдатами, включая самого Девиса, и не остается

сомнений, что ряд казаков покончил с собой таким способом. Самыми ужасными были самоубийства на мосту через реку Драу. После того как рухнул забор, многие казаки на короткий момент оказались в неохраняемом пространстве. Правда, и здесь были солдаты, но на какое-то время толпа вырвалась из окружения. Ротовая пишет: «Река казалась единственным нашим спасением. Один прыжок в ее стремительный поток, и все будет кончено». Многие устремились к мосту, причем часть с намерением пробраться к гограм, а часть — покончить с собой.

Солдаты тоже бежали к мосту, чтобы помешать казакам перейти его, однако, прежде чем удалось создать прочный заслон, многие уже были на той стороне. Одной из них была Зоя Полянская. Она вспоминает, как разорвала на лоскуты свою юбку, чтобы перевязать кровоточащие ноги, как солдаты вели огонь из пулеметов поверх голов казаков, пытаясь заставить их остановиться. Но они, как муравьи, усыпали мост и быстро исчезали между деревьями. В какой-то момент она собственными глазами увидела женщину с ребенком, прыгающую с моста в воду.

Воспоминания об этой ужасающей сцене особенно богаты подробностями. Батальонный священник К. Тайсон видел, как солдаты на мосту бросались во все стороны, пытаясь создать из своих винтовок заслон и оттеснить людей. Девис рассказывает: «Я думаю, что солдаты действовали грубо и буквально вышибали их прочь с моста, чтобы не дать им возможности броситься в воду». Фролов говорит: «Я видел солдат, спасающих людей из воды веревками и шестами. Один солдат набросил лассо на женщину и вытащил ее. Он был в слезах». Солдаты делали, что могли, но река, вздувшаяся от растаявших при жаркой погоде снегов, превратилась в стремительный поток, и они не могли спасти всех.

Больше всего солдат потрясло то, что казаки не

только сами бросались в воду, но бросали туда и своих детей. Один из таких случаев описывает эмигрантский писатель Федор Кубанский:

Молодая женщина с двумя маленькими детьми подбежала к краю моста. Она быстро обняла первого ребенка, а потом неожиданно бросила его в пропасть. Второго ребенок цеплялся за ее юбку и кричал: «Мама, не надо! Мама, я боюсь!» — «Не бойся, я буду с тобой», — отвечала обезумевшая женщина. Она разжала руки, и второй ребенок полетел в бурные воды Драу. Потом она распластала руки наподобие креста. «Господи, спаси мою грешную душу!», — крикнула она и, не опуская рук, бросилась за своими детьми. Через минуту стремительные водовороты реки поглотили ее.

Самое страшное воспоминание Девиса, подтверждаемое многими другими свидетелями, это как один казак застрелил свою жену и троих детей, а потом застрелился сам. Девис нашел их около глубокой ямы: женщину и детей, лежащих рядом друг с другом, а напротив — мужчину с пистолетом в руке. Он вспоминает, что, рассматривая тела, размышлял над тем, каким способом этот казак покончил сразу с четырьмя. Собрал ли он всех вместе и стрелял в каждого поочередно? Едва ли: это неизбежно вызвало бы панику и тела не лежали бы в таком порядке. Очевидно, пришел к заключению Девис, этот человек привел сюда первого ребенка, застрелил его, потом сходил за другим, застрелил и его и так далее, пока все четверо не оказались мертвыми и он не убедился, что никто из его семьи не попадет в советские руки. Науменко пишет, что имя этого человека было Петр Мордовкин, а его жену звали Ирина.

Ужас всего этого произвел большое впечатление на солдат. Тайсон пишет: «Эмоционально они были подавлены тем, что делали». Было заметно, что многие из них находились в глубокой депрессии, особенно

необычной для этих солдат, прошедших через много жестоких боев в Северной Африке и Италии. Они поняли, что одно дело убивать или видеть, как убивают или ранят твоих друзей на поле битвы, и совсем иное — быть вынужденным применять насилие против женщин и детей. Тем не менее они подчинялись военной дисциплине и получили прямой приказ произвести погрузку казаков, причем, если понадобится, силой. Они много лет вместе сражались, приучились подчиняться приказам, и хотя данный приказ был несколько иного рода, требуя от них не столько физического, сколько эмоционального напряжения, все же шок был недостаточным, чтобы привести к полному неповиновению. Дисциплина стала инстинктом — более сильным, чем обычные человеческие эмоции, встающие против свершаемого. Несмотря на подавленное состояние, Девис и его люди чувствовали, что надо закончить работу. Девис пишет:

Поэтому мы сделали второй налет на толпу. Когда эти люди снова увидели среди себя солдат, их охватила паника, они бросились врассыпную, и солдаты должны были пустить в ход винтовки, чтобы не быть сбитыми с ног. В это время кто-то из толпы ухватился за ружье одного солдата и умышленно нажал курок, пытаясь застрелить себя. Пуля попала в юношу, стоящего в стороне. Во время последовавшего бегства его затоптали до смерти.

Капрал Доналд Смит входил в команду майора Барна, на которую была возложена задача погрузки казаков в вагоны и осуществление мер против их бегства. Поезд подогнали прямо к дороге, по которой на грузовиках подвозили военнопленных. Лагерь находился всего в нескольких стах ярдах и сюда доносились звуки побоища. «Этих бедняг гонят на расстрел», — сказал ему один офицер. Потом начали прибывать первые грузовики. Их разворачивали и подгоняли пря-

мо к деревянной платформе, специально для этой цели сооруженной у поезда.

Смит вспоминает «испуганных, подавленных пожилых людей и плачущих детей», здесь же были «два-три старика с седыми волосами и бородами, на лицах которых застыла кровь от ударов прикладами». Их начали выгружать из грузовиков. Смит пишет: «Мы помогали старикам, которые непрерывно молились. Некоторые дети были оторваны от своих родителей. Я думаю, что некоторые были настолько потрясены, что не могли уже ни плакать, ни молиться, а просто вскарабкивались в вагон и сразу же забивались в угол. При виде этого мне стало почти дурно».

Пришел Девис и увидел ожидающий сигнала к отправке поезд, полный плачущими людьми. Из-за голодовки и приказа брать с собой только ручные вещи, у них едва ли было достаточно пищи. Но это не слишком беспокоило Девиса, так как только несколько часов пути отделяло их от Юденбурга, где их должны были передать советским представителям. День был жаркий, и в каждый вагон погрузили по три четырехгаллонные канистры с водой. Этого было достаточно. Но как с уборными? — беспокоился Девис. Казаков везли в товарных вагонах безо всяких признаков удобств этого рода. Девис был настолько обеспокоен, что задал этот вопрос офицеру, ответственному за организацию транспорта. «О, все в порядке, — сказал тот, — в каждом вагоне имеется параша». Девис на момент вообразил типичный товарный вагон: тридцать человек, мужчин и женщин вместе, некоторые из женщин пожилые — жены сержантов и старших офицеров, некоторых из этих женщин он знал лично. Значит предполагалось, что каждая из них сядет на парашу в углу вагона для скота на виду у остальных двадцати девяти? Он понял, что с казаками обращаются почти как с нелюдьми, немногим лучше, чем с животными. Он пришел в ужас.

Было 11.30 утра. За четыре часа солдаты сумели доставить к поезду только 1252 человека, на 500 меньше, чем предписывалось приказом Малколма. Что касается последних, то, пишет Малколм, он приостановил их погрузку «ввиду нанесенных телесных повреждений». Но повсюду в долине операция продолжала осуществляться, хотя и не с такими трагическими последствиями, как в Лиенце. Всего в этот день было отправлено на восток 6500 казаков.

У англичан не хватало солдат, чтобы охранять весь этот район, поэтому ночью много казаков ушло в леса и на холмы. Одним из них был Георгий Морозов. Он был офицер и имел право на ношение личного оружия. Когда вышел приказ о сдаче такового, он отдал револьвер, но у него был второй и он оставил его при себе. Он видел, как женщина бросилась в реку вместе с ребенком и сам он находился в состоянии близком к безумию. Своей жене он сказал: «Если англичане нас схватят, я застрелю тебя, а потом застрелюсь сам. Но назад я не вернусь. Они могут вернуть нас только мертвыми».

Этим вечером Малколм был у бригадира и сказал ему, что не хочет повторения операции предыдущего дня. Но из Пеггетца должен был прийти следующий товарный состав и Массон не хотел ломать график. Малколм согласился постараться выполнить его приказ, и действительно преуспел в этом, потому что в последующие дни не произошло трагических беспорядков, которыми отмечено 1 июня: оказывалось только легкое пассивное сопротивление. Воля казаков была сломлена. Хотя некоторые и продолжали бежать в горы, большинство было неспособно оставить «племя» даже в такой опасный момент. Только немногие могли, подобно зверям, скрываться в лесах, имея при себе только рюкзак с провизией и, вероятно, револьвер. Остальные подчинились судьбе, религиозный подъем и твердое намерение сопротивляться смени-

лись безвольным подчинением. 2 июня солдаты смогли отправить 1858 казаков, а 3-го — еще 1487.

Солдаты, на долю которых выпала малоприятная задача сопровождать поезда с военнопленными на советскую территорию, испытывали к этой работе еще более острое отвращение. Сначала ее осуществлял 2-й Батальон Лондонских Ирландских Стрелков, потому, вероятно, что батальонное командование имело странную точку зрения о большей пригодности для работы такого типа ирландцев, чем англичан. Командир батальона подполковник (позже генерал-майор) Г. А. Н. Бредин вспоминает, как получил приказ о репатриации всех этих русских военнопленных и был удивлен, с какой страстностью эти люди настаивали на невозможности своего возвращения в Советский Союз. Сначала его солдат раздражали все эти нелепые жалобы и дикие истории, которые якобы ожидают казаков по возвращении. Он помнит, что некоторые солдаты советовали казакам не быть дураками и не преувеличивать.

Бредин говорит: «В то время добрый старый британский солдат не мог поверить, что такие вещи действительно случаются. Но потом наши люди в качестве охраны поездов побывали в советской зоне и когда первые же из них вернулись обратно, мы услышали, что военнопленных уводят и расстреливают». Сам Бредин не был свидетелем таких случаев, но он говорит:

Я разговаривал с людьми, которые видели, как расстреливали военнопленных, и я думаю, что имеются доказательства того, что такие расстрелы имели место. Во всяком случае мои люди были совершенно уверены в этом и наслушались достаточно, чтобы убедиться, что это не тот сорт работы, который мы должны выполнять. Мы также получали рапорты о самоубийствах в поездах, о людях, которые выпрыгивали на ходу или перерезали себе

горло осколками стекол из разбитых окон. Назревала очень серьезная ситуация и, казалось, солдаты были на грани того, чтобы сказать: «Простите, сэр, но мы не хотим подчиняться вашим приказам. Мы не повезем этих людей туда, где их сразу же скосят из пулеметов безо всяких признаков судебного разбирательства».

Поэтому Бредин пошел к своим начальникам и сказал им, что положение серьезное и что его люди находятся на грани неподчинения приказам. Начальство не высказало никаких суждений по этому поводу. Оно просто отозвало Лондонский Ирландский Батальон и заменило его другим подразделением. Бредин объясняет: «Они, очевидно, подумали: «Давайте попробуем употребить на это дело новичков». Видите ли, надо было всего несколько дней, чтобы заболеть от этой работы. Трудно было согласиться, что подобные вещи могут происходить. Поэтому, я думаю, они использовали для этого ту или иную воинскую часть только в течение нескольких дней, а потом заменили ее новой».

Депортация продолжалась ежедневно, пока 7 июня генерал Китли смог сообщить в своем рапорте: «Выдача казаков полностью закончена, за исключением сопротивляющихся, находящихся в окружении, и больных, нуждающихся в медицинской помощи». К этому сроку было выдано 35 тысяч казаков: 20 тысяч из домановских отрядов в долине Драу, а остальные из различных частей Австрии. Приблизительный подсчет и сравнение с различными списками не оставляют сомнений, что за 10 дней эвакуации 4 тысячи казаков исчезло из лагерей. Советские представители сразу же отметили это и предъявили претензии. Англичане почувствовали справедливость этих претензий и стали предпринимать более активные действия для поимки беглецов. Всякое несогласие, думали они, будет расцениваться советскими как выражение симпатии к лю-

дям, которые предали свою страну и поддерживали Гитлера. Именно в этот момент английские генералы нуждались в добрых отношениях со своими советскими коллегами. Они не собирались провоцировать их каким бы то ни было образом. В соответствии с этим английская армия предприняла розыски в долине на протяжении почти 60-ти миль. Нескольким советским офицерам было даже разрешено присоединиться к таким поисковым отрядам — такова была степень желания показать, что ни одна щель не останется неосмотренной, и англичане были готовы терпеть этих людей, которые не пользовались в отрядах никакой популярностью и на которых смотрели просто как на шпионов.

В некоторых отношениях этот район был идеальным местом для беженцев. На несколько миль к северу и югу от реки тянулась гористая, покрытая густыми лесами местность, где человеку нетрудно было скрываться от преследования. Дни стояли жаркие, по ночам было тепло. Жизнь на холмах могла казаться почти привлекательной. Но у казаков оставалось не много духовных сил, чтобы выносить свое трудное положение. По долине проходило только пять дорог и все они были сразу же перекрыты английскими воинскими частями. Мало шансов было пробраться в хаос послевоенной Центральной Европы. Все они знали, что их друзья и члены семей уже попали в руки коммунистов, поэтому их моральные силы были подорваны — слишком подорваны для того, чтобы вынести длительный период жизни в лесах. Многие из них были обременены женами и маленькими детьми. Они никогда не смогли бы обмануть патруль, а их дети нуждались в нормальном питании.

Повезло не многим. Георгий Шелест и его жена поняли, что не смогут сохранить здоровье своему девятилетнему ребенку, не получая продуктов из долины. Поэтому, взяв ребенка, они спустились к мосту в

надежде перейти его и в Пеггетце найти какую-нибудь пищу. Подойдя поближе, они увидели, что мост охраняется английскими солдатами. Поперек него, закрывая проход, стояла военная машина. Шелест не знал, что предпринять. Его друзья по несчастью говорили ему: «Не ходи. Они схватят вас и отправят назад в Россию». Он слышал также, что англичане пытаются отделять «новых эмигрантов», то есть тех, кто жил в Советской России, от «старых», не подлежащих по Ялтинскому Соглашению репатриации. Но и это не помогло бы ему: до 1943 года он жил на Кубани около Краснодара. Его советское гражданство не оставляло никаких сомнений.

Он решил на риск и пошел через мост:

Грязный, завернутый в какие-то лохмотья ребенок был в очень плохом состоянии. Сторожевой солдат увидел нас и заволновался. Вместо того, чтобы арестовать нас или перекрыть нам дорогу, он отодвинул машину так, чтобы мы могли пройти. Потом он что-то нацарапал на листке бумаги и дал его мне. Я не знал, что это такое, но это спасло нам жизнь. Мы смогли дойти до лагеря и что-то поесть. Пока у меня был этот клочок бумаги, никто нас не задерживал.

Бумажка, данная солдатом Шелесту, была фальшивой справкой, удостоверяющей, что ее владелец не проживал в Советском Союзе до 1939 года и, следовательно, не подлежит репатриации.

Английские солдаты, которые сочувствовали казакам и были готовы тайно им помогать, тем не менее проявляли усердие в поисках и даже открывали огонь, когда находились под надзором советских представителей. И это еще раз доказывает, что западные политические деятели и военные руководствовались чувством уверенности, что советские требования должны выполняться, даже в том случае, когда эти требования казались неразумными и жестокими. Всего за

июнь было поймано 1356 беглецов. В военных дневниках отмечается, что «многие из них сдались добровольно, предпочитая плен суровой жизни в горах», но других удалось захватить только силой оружия, а большое число, более двух тысяч человек, осталось на свободе, ускользнув от патрулей, скрываясь в лесах в надежде на чудо, которое спасло бы их от отеческой заботы сталинской полиции.

16 июня колонна из 3-х английских и 16-ти немецких грузовиков под командованием капитана Дункана Мак-Миллана доставила на советскую территорию 934 пленных казака. Для предотвращения бегства были приняты строгие меры. На каждом грузовике находились вооруженные автоматами солдаты, колонну замыкала военная машина с направленными пулеметами. Но никто не пытался бежать. Воля казаков была сломлена и они покорились судьбе. Вечером они достигли границы около Юденбурга и советские офицеры попросили Мак-Миллана доставить военнопленных в Грац, расположенный в глубине советской зоны, где уже находилось большое количество насильственно репатриированных казаков.

Они ехали всю ночь и достигли Граца на рассвете. Их направили к небольшой железнодорожной станции, рядом с которой находилась огороженная колючей проволокой территория. Он видел, как казаков выгружали из грузовиков. Сначала их обыскивали. Все ценности, особенно деньги и часы, отбирались, а также свертки с продуктами, которыми их снабдили на дорогу. Потом их построили в колонну и отправили куда-то. Никто из английских солдат не увидел их больше, и, по словам Мак-Миллана, «не требовалось большого воображения, чтобы понять, что случилось с этими людьми». Многие присутствовавшие при этом английские солдаты свидетельствовали, что вскоре после того, как увели военнопленных, они слышали раздавшийся невдалеке треск пулеметных очередей. Правда,

ни один солдат не видел, как расстреливали заключенных, никто не мог в точности знать, что произошло, но, как говорит один из водителей (Джеймс Девидсон): «Мы думали, должно быть пулеметы покончили с ними. Мы думали, что их увели и убили. Так считали мы все».

Насильственная репатриация казаков из долины Драу была закончена, но в других районах, оккупированных 5-м Корпусом, она продолжалась. За вторую половину июня в районе Юденбурга было выдано Красной Армии 13 350 советских граждан, а всего за пять недель, начиная с 28 мая, — немногим более 50 тысяч. Из них 35 тысяч составляли казаки, боровшиеся на стороне немцев. Обстоятельства свидетельствуют, что почти все эти люди не хотели возвращаться в Россию, что многих смогли репатриировать, только применив физическое насилие, что многие предпочитали покончить с собой, даже убив предварительно членов своих семей, чем быть выданными советским.

После июня депортация постепенно начала сворачиваться, однако отнюдь не из-за изменения британской политики. Как говорится в военном дневнике 36-й Пехотной Бригады: «После этого, хотя мы и вылавливали много беглецов, мы рассматривали их как сдавшихся в плен и не передавали русским. Причина заключалась в том, что русские были удовлетворены числом выданных и не хотели больше». Британские решения по этому вопросу все еще зависели от требований, предъявляемых Красной Армией. Операция была закончена, и Бригада прочитала приказ Массона, в котором он поздравлял всех с быстротой и эффективностью действий.

Небольшое кладбище было построено недалеко от Лиенца, чтобы отметить могилы казаков, убитых во время событий 1 июня 1945 года. Здесь находятся 27 могил — цифра, несколько превышающая фигурирующую в английских документах. Документы говорят,

что в долине Драу пятеро были застрелены при попытке к бегству, двое задушены и один был убит случайно. К этому надо добавить пятерых членов семьи, убитых своим главой, и троих, утонувших в реке Драу. (Реальность этих двух инцидентов подтверждают несколько человек, как казаков, так и англичан.) Другие надежные свидетели говорят, что гораздо больше казаков покончило с собой, повесившись в бараках или в лесу, но никто точно не знает, сколько их было.

Среди офицеров, выданных 29 мая, документально подтверждается пять случаев самоубийства: двое повесились на спусковых ручках в уборных, один перерезал себе горло во время ночной остановки в Спаттле, другой перерезал горло на мосту у Юденбурга, и третий бросился с моста. Английская охрана, сопровождавшая поезда с военнопленными на советскую территорию, свидетельствует, что на протяжении этого пути покончило с собой неизвестное число казаков. Мы никогда не узнаем точных цифр.

Так начинались долгие годы страданий, не только для казаков, но и для нескольких миллионов советских граждан, находившихся на оккупированных немцами территориях, — как для тех, кто добровольно сражался в немецкой армии, так и для военнопленных и просто рабочих, насильственно угнанных на работу в Германию.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

(Окончание)

ОП: Еще той же ночью вы улетели домой. При этом произошло какое-то происшествие в связи с Франтишком Кригелем. Мог бы ты это уточнить?

ИС: Начал обсуждаться вопрос о том, как мы поедем в Прагу. Свобода хотел сделать так, что он позволит в Прагу и что служба в Граде организует всё, отвоз с аэродрома. Советские деятели это отклонили: что мы не будем ничего организовывать сами, что всё организует советская сторона, а в Праге — всё устроит товарищ Червоненко. И вот мы ждали самолета не менее двух часов, пока они всё организовывали. Устроено это было так, чтоб в Праге никто не узнал о нашем прилёте; поэтому было отвергнуто предложение Свободы организовать всё самим; в Прагу мы должны были прилететь в темноте. Таким образом, у нас оставались два, может быть, три лишних часа.

Мы сидели вместе с советскими деятелями, всегда двое советских и двое наших; я сидел с Косыгиным и Подгорным; это было еще в Кремле. Кригель во всем этом не участвовал. Он отказался подписать и при подписании не присутствовал; чуть позже они его опять отвезли в другое место.

До того как начались переговоры, Дубчек говорил Брежневу, что, конечно, когда мы будем возвращать-

ся, то вернемся все вместе, значит, и товарищ Кригель. Советские представители сказали — да.

Когда мы подписали протокол, пришел ко мне Дубчек и говорит: «Не хотят нам отдать Кригеля, хотят его здесь оставить». Говорю: «Это невозможно. Это нарушение слова; тогда пойдем требовать новых переговоров».

Позвали мы Черника, я сказал ему об этом, он говорит: «Пошли к Свободе». Свобода находился в другой комнате с Брежневым. Мы потребовали разговора с ним, сказали ему это, а также — что требуем снова возобновить переговоры, чтобы собрались «четвёрки». Когда обсуждались какие-нибудь частности, то собирались всегда четверо с советской стороны и четверо с нашей: Брежнев, Косыгин, Подгорный и Сулов, а с нашей — Дубчек, Свобода, Черник и я. Так и произошло. Мы сказали советским представителям, что без Кригеля домой не поедem. И пусть они примут это к сведению.

Они объяснили, почему его хотят оставить, что у нас из-за него будут трудности: мы подписали протокол, а он — нет и будет строить из себя героя, дословно сказали «героя».

Мы говорили — это наше дело, мы без Кригеля домой не поедem, примите это к сведению. Тогда они пошли посоветоваться, вернулись и сказали: «Ладно, дадим вам его».

Перед тем как мы покинули Кремль, перед отъездом на аэродром, я просил, чтоб они позаботились о том, чтоб на аэродроме был тоже Кригель. А когда мы приехали на аэродром, в колонне машин, — там уже находились советские представители; один товарищ говорит: «Ваш Кригель уже сидит в самолете».

Я подозревал сотрудника нашего посольства, — он был там с нами, — и говорю: «Иди, загляни в тот самолет». Было это примерно в тридцати метрах от здания; товарищ пошел заглянуть в самолет, вернулся

и говорит: «Да, товарищ Кригель находится в самолете, все в порядке». Так это кончилось; и мы в темноте поднялись в воздух.

ОП: Какие впечатления произвели на вас первые встречи после вашего возвращения из Москвы?

ИС: Мы вернулись в темноте; советские машины отвезли нас с аэродрома в Град, где нам сказали, что за полчаса до нашего приезда из Града уехали советские танки, советские солдаты. Товарищ Свобода предложил нам, чтобы мы в течение нескольких следующих дней находились и жили в Граде, может быть, по соображениям безопасности. Мы прожили там около десяти дней.

В Граде персонал, в особенности женщины; сразу же о нас позаботились, принесли чистое белье. За какой-то ширмой я там менял белье, и когда я положил свою несвежую рубашку на стул и надевал чистую, так находившаяся там женщина схватила ту рубашку, в которой я вернулся из Москвы, и сказала: «Эту я оставляю себе, товарищ Смрковский, эту я вам не дам, возьму её себе на память». Просто забрала её у меня.

На рассвете начали приходить люди, в Град потянулись журналисты; разнеслось по Праге, что мы вернулись назад, об этом уже вышло сообщение.

Многие из нас были настолько измучены, что нуждались в отдыхе. Мне отдохнуть не пришлось; у меня было первое короткое выступление по радио, потом я принял участие в заседании правительства в Граде, где Черник и другие информировали о ходе нашего пребывания в Москве, главное, о результатах переговоров. Долго я там не пробыл, не было необходимости.

Дубчек вёл главную работу с новыми партийными деятелями, избранными на XIV съезде, в Высочанах. Не только Дубчека информировали о съезде, но и Дубчек информировал участников съезда о результатах московских переговоров и об обязательстве, содер-

жащемся в протоколе московских переговоров, о том, что XIV съезд не будет признан. Это было очень трудное, сложное, волнующее дело — зачеркнуть, собственно, существование этого съезда.

Наконец представители съезда приняли соображения Дубчека. В тот день Дубчек еще попросил меня, чтоб я приехал в Высочаны, где заседали выбранные на съезде партийные деятели, наверняка уже не все, и там я должен был как бы поддержать то, о чем Дубчек уже договорился с ними в первую половину дня.

Я был там в вечерние часы; ну, большого труда мне это уже не стоило, потому что соображения Дубчека были приняты.

В тот день в Град тоже явилась делегация от советской армии, руководил ею генерал Павловский вместе еще с одним генералом. Я был назначен вести с ними переговоры. Они пришли с требованием, чтобы кто-нибудь из нас, хотя бы я, обратился по радио к пражанам и призвал их, чтобы были ликвидированы все надписи, которые были в Праге⁵⁵).

Я согласился выступить, даже обещал успех или хотя бы думал, что мог бы его обеспечить, но при условии, что одновременно выступит представитель советской армии, который заверит пражан, что советские войска уйдут из Праги, как только надписи исчезнут.

Этого они принять не хотели — такое обязательство на себя взять, поэтому мы расстались с тем, что я не обращусь к пражанам. Потом делегация отправилась в Ратушу и в Центральный Национальный Комитет, где говорила с представителями пражского Городского совета.

В тот же день меня посетила делегация из Парламента, из тогдашнего Национального Собрания, информировавшая меня о деятельности, о непрерывном заседании Национального Собрания с 21.8., и обратилась ко мне, чтоб я приехал в Парламент, где ждут депутаты.

Я приехал в Парламент. На площади им. Горького яблоку негде было упасть — тысячные толпы людей. В Парламенте я говорил о результатах нашего пребывания в Москве, о содержании протокола, который был подписан, о наших представлениях, что делать дальше. Представители Парламента кратко ознакомили меня с предыдущими постановлениями; всего этих постановлений Национального Собрания было около двадцати. Они публиковались сразу после принятия, а потом все были изданы в совокупности.

ОП: Самой сложной проблемой было тогда, наверное, объяснить нашим народам, что подписано в Москве и почему. Я вспоминаю людские потоки, запрудившие пражские улицы и нервно ожидавшие, что скажет каждый из вас. Как ты готовился к своим выступлениям?

ИС: Было решено, что представители должны — говорилось еще о «четвёрке» (Свобода, Дубчек, Черник, Смирковский. — Ред.) — публично выступить перед народом. В тот первый день выступил Людвик Свобода как президент; после него в тот же день выступил Дубчек. Его выступление рождалось тяжело. Поскольку он был полностью изнурен физически и душевно, — это отразилось и на выступлении. На следующий день выступал Черник, наконец, говорил я.

Благодаря тому, что я выступал последний, у меня была возможность лучше ознакомиться с событиями, которые тут происходили, с атмосферой, царившей в нашей стране. У меня больше времени было на подготовку. Может быть, если учесть содержание, то я сказал больше, чем другие. Наша общественность оценила это.

Однако мое выступление было плохо воспринято советской стороной. Меня потом информировали, что советский посол Червоненко передавал о недовольстве Москвы моим выступлением. И в более позднее время, в 1969-70 годы, в известных материалах и передачах

тогдашней пропаганды, в наших средствах массовой информации, мое выступление несколько раз критиковали как враждебное советской стороне, называли его эмоциональным и тому подобное. В том моем выступлении после возвращения из Москвы я много задумывался о том, как вещи будут развиваться дальше. Я исходил из грандиозного единства нашего народа, из авторитета, который имела наша партия. А в течение августовских кризисных дней авторитет партии был действительно исключительным, редким — мало известно случаев, когда бывало нечто подобное. Я говорил себе, что, собственно, после всей той трагедии дня 21 августа, еще не всё потеряно, что можно было бы и при более сложных условиях всё же, в определенной мере, продолжать ту политику, которую мы называли «послеянварской». Вместе с тем, я отдавал себе отчет, что многое зависит от того, сохранится ли единство между наивысшим руководством государства и народом, с одной стороны, и также — единство внутри этого руководства. Этого я как раз боялся. Свои предчувствия я выражал в выступлении тем, что ссылался на единство, на своды — под этим я подразумевал руководство государства. Если мы позволим, чтоб выпал один кирпич, то за ним выпадет второй, и потом обрушится целая постройка. Я также вспоминал о Сватоплуке⁵⁶), не ради какого-то ораторского оборота речи, но я хотел выразить опасения того, что я предчувствовал и что потом действительно произошло: вскоре после января, а особенно после августовских событий, в Москве нападали на единство, которое было у нас в стране, — что это, мол, странное единство, не классовое единство, — и вскоре после августа это начало проявляться на практике.

ОП: Известно, что такой подход у тебя был и по отношению к людям, которые хотя и не вели себя однозначно, но в принципиальных вопросах в реши-

тельные моменты выполняли свои задачи. Мог бы ты привести какой-нибудь пример?

ИС: Когда мы вернулись в Прагу, жили в Граде, примерно на второй или на третий день, было это вечером, около 11 часов вечера, ко мне пришли Дубчек с Пиллером (в то время — член Президиума ЦК КПЧ и первый секретарь Средне-Чешского областного комитета КПЧ. — Ред.). Где-то, думаю, в Кладно, заседал Областной комитет партии и там обсуждался вопрос о Пиллере как о секретаре Средне-Чешской области. Областной комитет Пиллеру не доверяет и хочет знать, как он вёл себя с 20-го на 21-е августа при том голосовании. Таким образом, в Прагу приехали два делегата (двое из Областного комитета) вместе с Пиллером и хотели свидетельств от Дубчека и от меня. И вот мы пошли к ним, приняли их, Дубчек и я подтвердили им, что Пиллер голосовал вместе с нами. Делегаты были рады, а Пиллер очень растроганно и сердечно благодарил нас, что мы это засвидетельствовали и тем самым защитили перед Областным комитетом его честь. Вот как это случилось. (Позже Пиллер активно выступал как «нормализатор», но, очевидно, за это голосование и также поскольку он был формально руководителем комиссии, которая представила в ЦК — позже, в 1969 году, уже не одобренный, — отчёт о расследовании преступлений Госбезопасности в 50-е годы, так называемый «Отчёт Пиллеровской комиссии», его сместили со своей должности. — Ред.).

ОП: Когда ты начал чувствовать, что возникают раздоры, что единство руководства распадается?

ИС: Примерно в первой половине сентября Черник, как председатель правительства, уехал в Москву для переговоров о конкретных вопросах, военных и хозяйственных, вытекающих из Московского протокола. И меня удивило то, что произошло когда он вернулся — в воскресенье, в понедельник утром он дол-

жен был сделать сообщение, сначала — в более узком комитете, потом — в Президиуме ЦК партии. Я предполагал, что он поедет в Град и что все мы будем туда позваны. Я ждал напрасно, мне сказали, что Черник уехал в Град. Я распорядился позвонить Дубчеку, мне тоже сказали, что он уехал в Град. Разумеется, что на это совещание меня уже не пригласили. Уже один этот факт показывает, какова была установка, привезенная ими из Москвы: курс на мое отстранение из тогдашней «четвёрки», а постепенно — и от других должностей.

Более выразительно это проявилось в ноябре, когда было созвано совещание в Киеве. Там участвовало советское руководство, а с нашей стороны — самые ведущие представители: Свобода, Дубчек, Черник, Штроугал и Гусак. А я узнал об этом только по телевизору, что вернулась наша делегация. Я вообще не знал о том, что она улетела в Киев. Я требовал объяснения, но не получил его. На мой вопрос только выкручивались: якобы меня не могли найти. Это была неправда, поскольку я был на службе в Парламенте, дома и так далее. Это была просто неприятная история.

Я, понятно, после Киевского совещания, требовал ответа на это в Исполнительном комитете партии, но не получил его. Наконец я получил через какое-то время не прямой ответ от Штроугала, к этому я еще вернусь.

Выразительным моментом того Киевского совещания были назначения на должности во вновь создающемся Федеральном Национальном Собрании. В первую очередь речь шла о председателе. Это был удобный случай, с точки зрения плана замены руководства партии, чтобы как-то устранить меня. В этом деле большую роль сыграл Густав Гусак. Хотя ни в Президиуме ЦК партии, ни в ЦК, ни в Исполнительном комитете дело не было решено — в Исполнительном комитете Президиума ЦК было даже принято

решение оставить вопрос о председателе Федерального Национального Собрания в секрете, не выступать с этим публично, — ни с того, ни с сего мы слышали по телевизору и узнавали из других средств массовой информации, что ЦК КПС и Президиум Словацкого Национального Собрания выдвинули требование, чтоб этот пост занимал представитель Словакии. Об этом тоже сказал в своем выступлении по телевизору Густав Гусак, в выступлении, которое было далеко не лучшим.

Дело не только в том, что я был поставлен — руководством партии и государства — перед свершившимся фактом. Но словацкие деятели, а именно, — руководство во главе с Густавом Гусаком, обязывали словаков, членов ЦК партии, придерживаться этой точки зрения. То есть, мой уход с поста поставили как ультиматум. Одновременно было наложено эмбарго на сообщения обо мне: средства массовой информации не смели публиковать ничего, касающегося моей личности, даже и официальные сообщения. Просто эмбарго — мое имя должно было исчезнуть из словацких средств информации. И до определенной степени, вплоть до решения (о председателе Национального Собрания. — П е р.), оно исчезло, до того моего выступления 5 мая (1969 г. — П е р.), где я говорил об этих вещах.

На заседании Исполнительного комитета, происходившем после Киевского совещания, я задавал товарищам вопросы, требовал, чтобы мне было сказано ясно и правдиво, какова советская точка зрения по отношению ко мне, чего они хотят или чем угрожают. Я также подчеркивал, что, окажись я причиной затруднений или осложнений при нормализации отношений и положения, то в таком случае я бы ушел с поста. Я говорил, что много об этом раздумываю, потому что всё равно вижу, что не могу, собственно, ничего делать. Прихожу ли я с чем угод-

но, пусть с тем же, с чем приходят другие, всё отклоняют и мои усилия напрасны.

Хотя мне и отказывались ясно сказать о советской точке зрения в отношении меня, моих постов, моей деятельности, но косвенно кое-что узнавалось. Например, Черник говорил, что Дубчек со Смерковским сами должны бы «объясниться» — он употребил такое выражение — с советскими. Гусак повторял, в сущности, то же самое: Смерковский и Дубчек должны поехать в Москву и переговорить обо всем, потому что советские товарищи критически относятся к Смерковскому, так тот не выполняет Московский протокол, однако при этом он утверждал, что никакого личного и конкретного требования с советской стороны внесено не было.

Исполнительный комитет усиленно сосредоточился на мне, нажимал, чтоб я согласился подать в отставку уже заранее на пост в новом Национальном Собрании, где — в старом Собрании — я был председателем, а в новом, — федеральном, — чтоб этот пост был дан представителю Словакии.

Я, в принципе, соглашался, что словаки имеют право на этот пост; этого права я не оспариваю. Однако при существующем положении и в данных взаимосвязях речь не идет только о праве, но у этого есть и другой смысл — постепенная ликвидация тех органов, тех деятелей, которые представляли или олицетворяли всю послеянварскую политику.

Этот нажим в Исполнительном комитете был сильным. Когда Гусак вначале выдвинул требование, что они (словаки. — П е р.) хотят на этот пост словака, так все делали вид, что удивлены и даже боятся этого. Все. Где-то у меня есть заметки, кто что говорил тогда. Так вот, в начале заседания все — Свобода, Черник, Штроугал, Эрбан — высказывали опасения о политических последствиях, грозящих в связи с этим, беспокоились, как это подействует на общественность.

Штроугал даже говорил, что это не должно быть представлено, как словацкое требование; все чувствовали, что вопрос — не в государственно-правовом порядке, а что речь идет о деле исключительно политическом.

Тем не менее, в течение этого заседания, после обструкции Гусака, говорившего, что раз ушли другие, то Смрковский тоже может уйти, после того, как он ударил по столу и ушел с заседания Исполнительного комитета, — в ответ на это Дубчек протестовал против таких методов морального террора, — остальные это по-разному комментировали (когда буду работать над текстом, то дополню его точными записями выступлений) и уже по ходу совещания меняли свои точки зрения, перевернулись. Вот, хотя бы, Олдржих Черник, принявший незадолго до этого назначение на пост председателя в новом Федеральном правительстве; так он просто заявил, что предоставляет свой пост в распоряжение, раз я не хочу отказаться от своего поста и предоставить его словакам.

От меня хотели не только согласия уйти, но чтоб я выступил в поддержку требования словаков перед общественностью; были нападки, почему я молчу и разные подобные разговоры. Тогда тоже критиковали кампанию, начавшуюся в Республике после упомянутого выступления Гусака по телевидению. До того времени всё было, в общем, спокойно, но после его выступления заволновались заводы, общественные организации, профсоюзы; в то время пришло страшное количество резолюций (народ в Чехии поддерживал кандидатуру Й. Смрковского на пост председателя Федерального Национального Собрания. — Р е д.). Канцелярия Национального Собрания дала сделать анализ общественного мнения в период выборов председателя, какие-то научно-исследовательские институты над этим работали, институт вычислительной

техники. Своё мнение высказало около четырёх миллионов человек.

Уже в то время, в разговорах в ЦК, были нападки на меня; сыпались угрозы, что дело плохо кончится, если будет генеральная забастовка, что будут тысячи мёртвых и что я понесу за это ответственность и тому подобное. У меня есть некоторые цитаты, я потом это тщательно дополню. Садовский, часто говоривший то, что не хотел сказать, заявил: если у нас не будет единства (он подразумевал «восьмёрку», Исполнительный комитет), если мы не поддержим требование словаков, то они, словаки, уйдут из Исполнительного комитета. Вот эти угрозы, — что словаки не придут на заседания, что покинут их, что словацкая делегация выступит против наших предложений, — эти методы очень широко тогда использовались. Словаки говорили, что если не прекратится эта кампания за чешского председателя Федерального Национального Собрания — это была кампания за Смирковского, — то они в Словакии начнут кампанию против этого и т. д. (Позже Гусаку не мешало, что председателем Федерального Собрания стал чех Алоис Индра, несмотря на то, что посты президента и председателя правительства остались и далее в руках чехов. — Ред.).

Дубчек говорил, что он никакого обязательства не давал и вопрос обо мне с советскими руководителями не обсуждал. Но он также намекал, что создалось крайне опасное положение и что он не исключает нового прихода войск в случае генеральной забастовки в Чехословакии.

Товарищ Свобода отмечал, что всегда, когда нужно было единство в Исполнительном комитете Президиума ЦК, то это единство было. Но сейчас, что семеро смогут договориться, а восьмой, — то есть я, — может быть против; он сказал, что моим именем

злоупотребляет толпа — это были те, кто предлагал меня как будущего председателя Парламента.

И он (Свобода. — Р е д.) как бы бросал на весы свой авторитет и заявлял, что если не будет достигнуто согласия, то он подаст в отставку. А я, мол, тем, что молчу, помогаю тому, чтобы он, как президент, подал в отставку. Что я противопоставляю себя народу и тому подобное.

Были и другие высказывания. Штроугал: реально то, что мы не сумеем овладеть положением, что положение очень опасное — он говорил об опасности сотен мёртвых.

В Президиуме ЦК партии потом некоторые члены, вроде Пинкавы⁵⁷⁾, Славика и другие, не приняли этот аргумент Штроугала; там возникла полемика.

Я напрасно пытался узнать от участников, как, собственно, всё происходило в Киеве. Об этом я узнал в январе или в феврале 1969 года от Штроугала. Я был у него, мы обменивались взглядами на политику партии, обсуждали разные вопросы из послеполугодия прошлого. В этой связи я спросил, как на самом деле обстояло дело в Киеве с вопросом о председателе Национального Собрания.

Штроугал ответил мне так: «Ведь ты знаешь, как это бывает. То сидят двое, то совещаются вдвоем; на охоту мы тоже ездили, и там тоже велись разговоры обо всем возможном. Я тебе могу сказать, что когда происходил последний разговор всей нашей делегации и советской делегации и слово взял товарищ Брежнев, так он заявил: «И мы принимаем к сведению, что председателем Федерального Национального Собрания будет представитель словацкого народа».

Итак, тем самым мне Штроугал подтвердил, что советские представители с кем-то договорились. Думаю, не трудно догадаться, с кем?

После всех этих драматических совещаний кампания между Рождественскими праздниками достигла

огромного размера, говорю, — около четырёх миллионов человек участвовало в ней. И примерно третьего января я в Исполнительном комитете поддался этому нажиму и согласился выступить перед общественностью: против своей кандидатуры, в пользу словацкого народа. Я это сделал в выступлении по радио пятого января.

В Исполнительном комитете потом еще обсуждался вопрос о новом назначении на посты в Парламенте. Гусак обязан был предложить проект списка кандидатов и на первом месте назвал Лацо Новомеского. Однако он сообщил, что Новомеский не хочет принять этот пост, поскольку он болен и не мог бы нормально работать. Как второго кандидата Гусак привел Клокоча, как третьего — Ленарта, а, как выход из положения, предложил Цолотку или Бодю, но этих четвертого и пятого кандидатов он никак не выделял и сам же высказывал сомнения.

Но, в отличие от взглядов Гусака, Исполнительный комитет решил, что раз Новомеский не может, то ни Ленарт, ни Бодя, а именно Петер Цолотка будет председателем Федерального Собрания.

В комитете было также решено, что Сморковский будет первым заместителем председателя Федерального Собрания и председателем Палаты национальностей, а председателем Палаты Народа станет профессор Ганес — юрист из Братиславского университета.

ОП: Считаешь ли ты и сегодня правильным свое выступление пятого января 1969 г.?

ИС: В тот раз мне, после моего выступления, прислал телеграмму Лацо Новомеский, где он хвалил это выступление; Эвжен Эрбан⁵⁸⁾ тоже мне послал телеграмму. Ну, я не знаю, убедил ли я слушателей. Есть у меня на счет этого сомнения, потому что я, в конце концов, в государственных интересах должен был говорить вещи, в правильности которых

я не был уверен. Это — если мягко выражаться. Но я должен был — под давлением описанных обстоятельств — сделать это.

* * *

На этом рассказ Йозефа Сморковского окончился. Различные обстоятельства помешали нам продолжать разговор. Но и так у нас нет более ценного свидетельства о том времени. Хотя бы до сих пор.

О. П.

КОММЕНТАРИИ

⁵⁵ В августовские дни вся Прага была покрыта надписями, осуждающими оккупацию. В надписях отразился талант и юмор чехословацкого народа. Вспоминаются, например, надписи, сделанные азбукой:

«Ленин, проснись, Брежнев сошёл с ума!»

«Ваши отцы — освободители, вы — захватчики».

⁵⁶ По старой легенде, умирающий чешский князь дал своим трём сыновьям связку прутьев — вместе их ни один не мог переломить, по отдельности — легко. Этим Сватоплук хотел продемонстрировать важность единства.

⁵⁷ Пинкава — рабочий, в 1968 г. был членом Президиума ЦК КПЧ.

⁵⁸ Эрбан Эвжен — бывший социал-демократический политик; в настоящее время — член Президиума ЦК КПЧ, председатель Национального Фронта.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЗАВЕЩАНИЮ Й. СМРКОВСКОГО

Что за человек был, собственно, Йозеф Смрковский? В чешской эмиграции и, разумеется, в самой Чехословакии об этом идут горячие споры.

Будучи убежденным коммунистом, в мае 1945 года он хотел, чтобы Прагу заняли не американцы, а Советская армия. На посту министра сельского хозяйства подчинил аграрную реформу политическим целям КПЧ. Во время «Пражской весны» продолжал тактически маневрировать: сначала отверг манифест «2000 слов» и лишь позднее признал его значимость. Таково мнение его противников.

Среди трех политических деятелей, объявивших 27 августа 1968 г. о нашей капитуляции, он был, однако, единственным, открыто высказавшим свое мнение: «Еще не пришло время подставить нашу грудь танкам». В момент капитуляции эти слова были вызовом. Вплоть до окончательного спуска в политическое небытие, он оставался открытым противником советской оккупации. Изгнанный из общественной жизни, он оставался опорой, духовным вождем и символом оппозиции. Так могут возразить его друзья.

Я принадлежал к ним с начала сентября 1968 г., с тех пор, как встретился с ним впервые. Мы продолжали встречаться и тогда, когда вокруг его квартиры сновали сыщики. Когда я публично отрекся от марксизма и вернулся к христианской вере, мы и тогда остались друзьями. И если он когда-то и был «марксистским догматиком», то он перестал им быть после советской оккупации нашей страны.

Мы часто говорили о политическом образе жизни нашей страны, которого должна добиться будущая Чехословакия. По его убеждению, это должен быть непременно плюралистический режим, с эффективной,

децентрализованной, развивающейся по законам рынка экономикой, режим, обеспечивающий свободу печати и свободу мнений. Это должен быть режим, возвращающий нас в семью европейских народов.

Мы беседовали и о марксизме. В нашу последнюю встречу я спросил его, остается ли он еще марксистом?

— Но, милый Людек, если бы Карл Маркс мог ныне воскреснуть, он всплеснул бы руками и воскликнул бы: «Люди, не сходите с ума, ведь я написал все это 125 лет тому назад!» — ответил он мне с улыбкой.

Нам нужна ныне не идеология, а нравственная крепость, воля и концепция — вот его убеждение.

В своем политическом завещании он выступает, однако, как коммунист и сторонник марксистского понимания Пражской весны, с идеями недогматического марксизма и «либерального коммунизма». Совсем иные слова я слышал от него во время наших встреч, не те слова говорил он мне в нашу последнюю встречу.

Чем это объяснить? Успел ли кто-то убедить Йозефа Смрковского перед смертью, что только в этих идеях есть реальная возможность? Питал ли он под конец жизни ту же надежду, что и Дубчек, надежду, заставляющую верить, будто властители Советского Союза могут быть нашими друзьями и позволят нам устроить нашу жизнь согласно воле нашего народа, его традициям и уровню культуры?

Я этого не знаю и могу лишь предполагать. Но я уверен, что он был прав тогда, летом 1972 года, а не в своих последних высказываниях.

Не бывает недогматического марксизма, ибо полностью замкнутая в себе система не способна к развитию. Не может быть и либерального коммунизма, ибо коммунизм есть отрицание индивидуальности свободы и человека. В этом режиме нет множественного начала: коммунистическая идеология — это учение об избранности, согласно которому прав может

быть только «авангард пролетариата» и больше никто.

Невозможно объединить огонь и воду, любовь и ненависть, обезличенный коллектив и свободу личности, теорию авангарда и политический плюрализм. Прогресс не в объединении необъединимого, а в укреплении добра и в борьбе со злом. Правда не может мириться с ложью, она должна побеждать ее.

Намеченная в завещании Смрковского концепция не дает никаких надежд на будущее нашей страны и Восточной Европы. Но тем более интересно прочесть его последнее политическое выступление и вывести из него урок. В нем отразилось время многих надежд, многих иллюзий, исканий и ложных путей.

Людек Пахман

«СЁРВЕЙ»

*Журнал изучения Востока и Запада
на английском языке*

№ 3 (96)

Лето 1975

Советская действительность

Леонард Шапиро: КПСС * Мервин Матьюс: Советская элита *
Питер Вайлс: Распределение дохода * Димитрий К. Саймс:
Параллельный рынок

Советское вмешательство за границей

Китай — Румыния — Ирландия

Солженицын в изгнании

Письмо Вацлава Хавеля Густаву Гусаку

№ 4 (97)

Осень 1975

Социальные вопросы

Поиндустриальное общество

Восток и Запад

Идеология и образование

Детант

Лешек Колаковский * Биль Трехарн Джонс * Эрл Каллен *
Джон А. Армстронг

Коммунистические партии

Италия — Скандинавия — Китай и Албания

Ленин

Давид Анин * Джордж Леджет * Михаил Геллер

Советские тюрьмы

Документ из пермского лагеря № 35

Годовая подписка: 6 ф. ст., или 16 ам. дол.

Подписка для студентов: 3 ф. ст., или 8 ам. дол.

Цена одного номера: 1.50 ф. ст., или 4 ам. дол.

Редакция: Ilford House, 133 Oxford Street, London W1R 1TD

Прием подписки: Oxford University Press, Press Road, Neasden,
London NW10

ИСКУССТВО

Игорь Голомшток

ЯЗЫК ИСКУССТВА ПРИ ТОТАЛИТАРИЗМЕ

*И нас от сдирания шкуры
На бойне — хранят, отделив,
Лишь хрупкие стенки культуры,
Прившейся песни мотив.*

Наум Коржавин

Однажды среди бумажного хлама за стеллажами библиотеки Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, где я тогда работал, кто-то обнаружил один из номеров официального журнала нацистской Германии «Искусство Третьего Рейха». Очевидно, давным-давно какой-то книголюб засунул этот фолиант подальше от глаз многочисленных цензорских комиссий; не из-за симпатии, конечно, к нацизму и его искусству, а просто потому, что душе этого нормального человека было глубоко противно уничтожение какого бы то ни было печатного слова.

В числе прочих музейных обязанностей я вел тогда (в начале 60-х годов) кружки юных искусствоведов, и на одном из занятий, прикрыв немецкие названия, предложил своим ученикам на атрибуцию картинки из этого журнала. Перед глазами советских старшеклассников проходили привычные сюжеты, выполненные в столь же привычной для них реалистической манере: дымящиеся домны на фоне символического рассвета и трудовой пафос заводских цехов, целеустремленные рабочие, мускулистые юноши и героиче-

ские воины, народное ликование, всеобщее процветание, единодушное одобрение... Задание показалось им легким и они наперебой выкрикивали знакомые имена: Герасимов! Котов! Налбандян! Томский! Вучетич! — проявив при этом неплохое знакомство с советским искусством последних десятилетий. На одной из репродукций трудовая семья в тесном домашнем кругу с тупым благоговением внимала звукам нарисованного приемника.

— Локтионов! — почти единодушно определили мои ученики.

— Смотрите внимательно.

И тут физиономии юных искусствоведов обрели выражение крайнего недоумения: на портрете над головами слушателей — там, где ему и надлежало быть, — вместо скрывающих ухмылку усов Вождя топорщились чаплинские усики немецкого Фюрера.

* * *

В двадцатом столетии прямая зависимость форм искусства, его стилистики и языка от навязываемой ему извне идеологии выступила в качестве эстетической закономерности с такой трагической определенностью, как ни в одну другую эпоху. В той мере, в какой государство берет под контроль и ставит себе на службу художественное творчество, продукт этого творчества лишается покровов культуры и под ним — с той же прямой зависимостью — обнаруживается голая анатомия, физиология, биологические инстинкты. В государствах такого рода, независимо от их географического местонахождения, национальных истории и культуры, — будь то советская Россия, фашистская Италия, нацистская Германия или коммунистический Китай, — искусство начинает говорить на единообразном языке тоталитаризма. Его «словарный

запас» резко ограничивается, его «грамматика» строится на навязчивом повторении натуральных признаков, превращаемых в набор элементарных символов, он апеллирует к простейшим рациональным категориям и коллективным инстинктам, а его образный строй не выходит за рамки воплощения этих категорий и инстинктов.

Всякий тоталитарный переворот — большевистский, фашистский или нацистский — на первых порах рядится в революционные одежды, однако искусство, им порожаемое, рано или поздно всегда оказывается плодом реанимации художественных форм уже изжившей себя и наиболее консервативной традиции. К моменту подобного переворота эти формы существуют лишь на далекой периферии культуры и их сторонники отнюдь не склонны приветствовать в области политической ту ломку устоев, которую в области жизни духовной еще до переворота осуществляли их революционные собратья — создатели новых движений в искусстве. Последние в силу своей революционной природы оказываются в эпицентре взрыва, предлагают себя на службу революции и ее разрушительной волной выносятся к вершинам творчества. Потом начинается отлив, угар разрушения сменяется пафосом созидания, и разного рода дуче, фюреры и вожди стремятся направить его прежде всего на создание новых идолов, изваянных по их собственному образу и подобию. Язык современного искусства, как он сложился в первых десятилетиях нашего века, — язык вольного поиска и свободного выражения индивидуальности, язык футуристического нигилизма и кубистического анализа, экспрессионистического эмоционального протеста и сюрреалистического рационального неприятия мира, язык мрачных предчувствий и трагических прозрений жуткой сути феноменов, вызываемых к жизни этими самыми переворотами, оказывается непригодным для данной цели. И тогда моби-

лизуются старые, традиционные, взятые из более счастливых эпох формы, простые и понятные каждому, воссоздающие образ по-античному здорового, бодрого и мужественного человека, строящие простейшую модель счастливого мира с его красотами природы и мирным трудом, закрывая этой моделью от глаз народов, как декорацией, печи Майданека и вечную мерзлоту Колымы, свирепый голод и оголтелый террор, уничтожение миллионов людей по принципу расы или класса. С периферии культуры эти формы втягиваются в ее центр, трансформируются в язык, на котором тоталитаризм в полный голос заявляет о своем существовании. Смены разрушительных и созидательных этапов тоталитарных революций и определяют этапы развития искусства при тоталитаризме.

Язык тоталитаризма не изобретается вне эстетической сферы и в период своего становления не навязывается искусству извне. Он вырабатывается в процессе естественного отбора, когда разделяющие идеологию режима художественные течения испытываются им на «идеологическую прочность», как правило, не выдерживают этого испытания, последовательно отодвигаются из центра на периферию, пока, наконец, одно из них — всегда наиболее примитивное, консервативное, косное — не опускается до уровня выдвигаемых в данный момент государством политических задач и в силу этого не получает поддержки со стороны государства. Тогда оно объявляется официальным, единственным, обязательным и провозглашает себя «новым, высшим этапом на пути развития художественной деятельности человечества» (так официально именует себя советский социалистический реализм).

История тоталитарного искусства начинается всегда с провозглашения им себя орудием создания новой — пролетарской, арийской, фашистской или коммунистической — культуры и, как следствие этого, со столь же агрессивного ниспровержения всех прош-

лых и существующих культурных форм. Но чтобы стать «высшим этапом», надо обрести корни. И в соответствии с этой претензией искусство тоталитаризма начинает строить собственную генеалогию, оно отыскивает свои истоки в национальной традиции, камуфлируя ею обнажившуюся плоть исповедуемой политической доктрины, ставшей его единственным содержанием, с которой спали одежды культуры. На развитых стадиях тоталитаризма культура всегда подменяется своим эрзацем — традицией, на мертвом языке которой его искусство начинает вещать о столь же потусторонних вещах. В результате возникает художественный язык тоталитаризма, образовавший своего рода второй «интернациональный стиль» в искусстве двадцатого столетия. Ибо только по морфологическим запечатленным в нем признакам — расовым, этническим, географическим и прочим деталям — мы можем определить данное созданное под тоталитаризмом художественное произведение как принадлежащее к культуре того или иного народа, той или иной страны.

Таков в самых общих чертах нехитрый механизм возникновения этого языка. Он складывается внутри искусства, но источник питающей его энергии лежит во внеэстетической сфере — в области борьбы за власть появляющихся на мировой арене диктаторов. Интенсивность процессов этой борьбы, их концентрация или растянутость во времени и пространстве определяет в конечном итоге последовательность этапов сложения языка тоталитаризма, степень его кристаллизации, его чистоты. Так, относительная вялость процесса развития итальянской фашистской диктатуры растянула этап формирования этого языка до середины 30-х годов. Кратковременность существования национал-социализма в Германии в сочетании с колоссальной энергией его агрессивности свела этот процесс к одной пятилетке, в течение которой нацистское ис-

кусство звенящими вибрациями своей эстетической пустотелости почти достигло неподражаемой чистоты звучания сталинского социалистического реализма, исчисляющего к этому моменту (к 1937 году) свой возраст полуторами десятилетиями (включая сюда и его предысторию). Искусство Советской России представляет собой классический образец тоталитарного языка двадцатого столетия. Практика социалистического реализма в период его расцвета (1937-53) воплощает чистейшую субстанцию этого языка, марксистско-ленинско-сталинская эстетическая теория подводит под него базис и подробнейшим образом объясняет его, а история советского искусства с наглядностью учебного пособия демонстрирует механизмы его возникновения, формирования и кристаллизации.

1. МОДЕРНИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ

В ноябре 1917 года, т. е. через несколько дней после провозглашения власти большевиков, ВЦИК пригласил интеллигенцию Петрограда в Зимний дворец, чтобы обсудить вопросы сотрудничества деятелей культуры с новым правительством. На это совещание явились только пять человек: поэты Блок, Маяковский, Ивнев, режиссер Мейерхольд и художник-футурист Натан Альтман. Сей факт, замалчиваемый впоследствии советской историографией, свидетельствует о том, что большевистский переворот (как несколько позже и муссолиниевский путч) с самого начала приняли не те, кто впоследствии станет воспевать подвиги вождей, т. е. не реалисты, не традиционалисты, а футуристы, кубисты, абстракционисты и представители прочих крайних революционных течений. В первое послереволюционное пятилетие они приняли на себя руководство художественной жизнью России: заведующим отделом Изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса становится близкий к футуристам Да-

вид Штеренберг (впоследствии его заменит Альтман), председателем его московской коллегии — основоположник конструктивизма Владимир Татлин, первым председателем Института художественной культуры (ИНХУКа) стал Василий Кандинский и т. д.

Сходную ситуацию можно наблюдать и в Италии после 1922 года. Лидер итальянского футуризма Томмазо Маринетти был личным другом Муссолини и активным участником фашистского переворота. С самого начала он стремился поставить футуризм на службу новой идеологии, заслужив от дуче почетное прозвище «Иоанна Крестителя фашизма». Вместе с ним видными художниками фашистской диктатуры стали крупные представители наиболее революционных течений начала нашего века: Джино Северини, Джорджо де Кирико, Карло Карра.

Едва ли правомерно на этом основании рассматривать все современное искусство в качестве «авангарда, открывающего дорогу тоталитаризму», как это проделывают антимодернисты в разных частях света. Но столь же неосновательно и полное отрицание роли революционных течений в формировании художественной идеологии тоталитаризма, считая всякие утверждения такого рода «столь же нелепыми, как возложение ответственности за диктатуру на западные демократии»¹. Очевидно, в художественной структуре этих течений, как и в политической структуре современных демократий, содержится некий идеологический компонент, помогающий диктатуре подняться к вершинам власти, хотя, достигнув этих вершин, диктатура начинает сокрушать и то и другое. Как слова Руссо обернулись (по выражению Гейне) кровавой машиной Робеспьера, так (и только в этом смысле) некоторые аспекты модернизма обернулись тоталитарным террором 30-х годов. Классический образец подобного взаимоотношения модернизма и тоталитаризма опять же дает нам Россия.

Развитие советского искусства первых послереволюционных лет представляет собой довольно пеструю картину. Советские историки сводят ее к простейшей формуле борьбы между зарождающимися элементами новой социалистической культуры и «отживающим буржуазным формализмом» (как в конце 30-х годов, пользуясь той же терминологией, будут рассматривать историю своего искусства историки национал-социализма), то есть, по сути, перечеркивают этот наиболее интересный и плодотворный период развития советского искусства. Историки на Западе, следуя за терминологией того времени, объединяют все новые течения в понятие «советского авангарда» и противопоставляют его победившему впоследствии реализму или соцреализму. При этом в лагерь авангардистов попадают такие противоположности и непримиримые враги, как фанатик техницизма А. Родченко и В. Кандинский, видящий главную ценность искусства в духовном, мечтатель М. Шагал и идеолог К. Малевич, эстет Н. Габо и враг всякой эстетики В. Татлин, а в лагере их противников оказываются и «буревестники» социалистического реализма И. Бродский, А. Герасимов, Н. Касаткин и бежавшие от нового режима И. Репин, К. Коровин, Н. Богданов-Бельский и др.

Обе эти схемы лишь искажают реальное положение дел в советском искусстве первого послереволюционного пятилетия. Звездный час реализма тогда еще лежал в непостижимом будущем и никакой борьбы между его присмирившими адептами и авангардистами в те отдаленные времена не происходило. Никто не спорил о том, должно ли пролетарское искусство отображать действительность или создавать новые формы: для всех революционно настроенных деятелей культуры было очевидным, что эта альтернатива решена самым ходом истории и только замшелые консерваторы и контрреволюционеры могут стремиться вызывать к жизни тени уже умершего прошлого. Реа-

лизм был безоговорочно занесен в рубрику обреченной на уничтожение буржуазной культуры. Спор шел тогда не о языке — реалистическом или формалистическом; спор шел между сторонниками нового искусства об истинно революционной, истинно пролетарской, истинно социалистической художественной идеологии.

Суть этого спора можно свести к одной кардинальной проблеме: должно ли новое, или (по обязательной — тоталитарной — терминологии того времени) пролетарское, искусство быть продолжением общеевропейской культурной традиции, то есть сохранить свою автономию от государственной власти и оставаться выражением свободного творческого поиска, человеческой личности, индивидуальности, или оно должно целиком порвать с традицией «буржуазной» культуры, подчинить себя государственным задачам и раствориться в коллективной деятельности по строительству нового общества. Не только разные художественные течения, но и отдельные художники, объединенные, казалось бы, общими творческими устремлениями, давали на этот вопрос диаметрально противоположные ответы. Наиболее радикальную позицию здесь с самого начала заняли русские футуристы.

Русский футуризм возник одновременно с итальянским и сразу же вступил в конфронтацию с последним, резко обнажившуюся в годы первой мировой войны. Два этих национальных течения, объединенные одним названием, вначале имели больше различий, чем сходства. Маринетти своими первыми манифестами нацелил итальянских футуристов на светлое будущее, сверкающее горизонтами грядущей технической эры. В настоящем его последователи видели либо зримые черты этого будущего: скорость, динамичность, напряженную энергию работающей машины, либо то, что мешает этим потенциям реализоваться и, следовательно, обречено на уничтожение. Их русские коллеги

придерживались вначале лишь второй — чисто негативной — части этой идеологии. По определению видного теоретика русского футуризма С. Третьякова, «он был социально-эстетической тенденцией, устремлением группы людей, основной точкой соприкосновения которых были даже не положительные задания, не четкое осознание своего «завтра», но ненависть к своему «вчера и сегодня», ненависть неутолимая и беспощадная»². Манифестации, дискуссии, выставки русских футуристов до революции, часто заканчивающиеся прямыми потасовками, содержали в зародыше элемент той целенаправленной скандальности, того нигилистического отрицания всех и всяческих культурных ценностей, которые через несколько лет определят выступления дадаистов в различных странах Европы и Америки. Отстаивая свой футуристический приоритет, они, сами того не подозревая, закладывали фундамент дадаизма, здание которого еще предстояло воздвигнуть западной культуре.

Кошмар первой мировой войны, заранее провозглашенной Маринетти «единственной гигиеной мира», на деле показал, к чему приводят разрушительные тенденции культуры. Итальянские и русские футуристы оказались по разные стороны от линии фронта: первые в лагере сторонников национальной войны, вторые — пацифистов-интернационалистов. В этой ситуации в среде последних созревает ощущение, что то, что они называли футуризмом, изжило себя, и в конце 1915 года Маяковский провозглашает смерть футуризма по принципу «футуризм умер — да здравствует футуризм!»: «Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего... Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением... Сегодня все футуристы. Народ футурист. *Футуризм мертвой хваткой взял Россию!*»³.

Это было пророчеством. Перестав быть движением эстетического бунта, своего рода предвестником дадаизма, русский футуризм стал футуризмом в изначальном — итальянском — значении этого слова и в первые годы Октября настоящим наводнением разлился по художественным центрам России.

Для русского изобразительного искусства футуризм был скорее генератором общественных и эстетических идей, чем источником стилистических форм. До появления первых супрематических композиций Малевича и конструктивистских «живописных рельефов» Татлина его стилистическая эволюция протекала в общем русле формальных исканий западного авангарда. И когда — в новых условиях — настало время поставить искусство на службу построения пролетарской культуры и сменить «шутовскую погремушку» на «чертеж зодчего», в арсенале его художественных средств и методов не оказалось подходящего строительного материала. Теорию организации жизни средствами искусства выработал конструктивизм, определявший художественную деятельность как «ничто иное, чем создание новых вещей». Эта теория тесно переплеталась с возникшей почти одновременно концепцией жизнестроения, легшей в основу так называемого производственного искусства, или производственничества. Создатель этой концепции Н. Чужак так рисовал оптимистические картины будущего, когда окончательно отомрут «буржуазные» формы и художник превратится из творца эстетических объектов в создателя утилитарных вещей: «Нет больше «храмов» и кумирен искусства... Есть мастерские, фабрики, заводы, училища, где в общем праздничном процессе производства творятся... *товаро-сокровища*... Искусство как единый радостный процесс ритмически организованного производства товаро-ценностей в свете будущего — вот та программная тенденция, которая должна преследоваться каждым коммунистом... Ис-

искусство — есть производство нужных классу и человечеству ценностей»⁴. Подобного понимания искусства в то время придерживались — с теми или иными вариациями — все наиболее революционные художественные группировки. Их полемический пафос был направлен на уничтожение всех, и прежде всего, станковых форм искусства, которые доминировали в европейской художественной культуре последнего полутысячелетия, а теперь железобетонными адептами марксистской теории были отнесены к разряду «буржуазных». «Укрепляется ощущение, что картина умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией... Станковая картина не только не нужна современной нашей художественной культуре, но является одним из самых сильных тормозов ее развития»⁵. Им они противопоставляли искусство коллективное, создаваемое в едином трудовом процессе народных масс, растворяющем творческую индивидуальность художника; искусство, функция которого должна заключаться отныне не в отражении или украшении действительности, а в ее радикальной перестройке. По грандиозности поставленных задач художники советского авангарда не знали предшественников и сознательно шли на разрыв со всей предшествующей культурной традицией.

В первое послереволюционное пятилетие футуризм, конструктивизм и производственничество получили почти абсолютное господство в художественной жизни России. Эти художественные феномены трудно рассматривать как самостоятельные течения или группировки. Скорее они представляют собой три уровня единой структуры советского художественного авангарда: его идеологии (футуризм), его методологии (конструктивизм) и его практики (производственничество). Они развивались параллельно, их представляли одни и те же люди и печатные органы: теории

производственничества и конструктивизма зародились на страницах футуристической газеты «Искусство коммуны», орган конструктивистов «Вещь» — журнал, издаваемый в Берлине Эренбургом и Лисицким, — поддерживал футуристов и производственников, а в 1923 году всех их объединил «ЛЕФ», созданный Маяковским. Внутри советского художественного авангарда и была выработана та самая художественная идеология, которая вначале противопоставила себя не только прошлому, но и всем прочим левым движениям своего времени, а потом, переведенная на язык тоталитаризма, сокрушила своих создателей.

Если одним из главных признаков всякой тоталитарной системы можно считать провозглашение исповедуемой ею доктрины — неважно какой: расовой или классовой, национальной или интернациональной — единственно истинной и общеобязательной, то в созданной советским авангардом художественной идеологии нетрудно обнаружить множество признаков такого рода. Так, четвертый номер газеты «Искусство коммуны» за 1918 год (печатного органа футуристов) открывался статьей ее главного редактора Н. Пунина под названием «Футуризм — государственное искусство», где Пунин, в частности, писал: «Мы (футуристы. — И. Г.), пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения наших идей». Программа-декларация образовавшегося в Петрограде в январе 1919 года коллектива комфутов⁶ требовала «подчинить советские культурно-просветительные органы руководству новой, теперь лишь вырабатываемой коммунистической идеологии» и «во всех культурных областях, и в искусстве также, решительно отбросить все демократические иллюзии, обильно покрывающие буржуазные пережитки и предрассудки»⁷, а первая программа ЛЕФа обрушивалась на тех, кто неизбежную

«диктатуру вкуса заменяет учредительским лозунгом общей элементарной понятности»⁸.

Очевидно, эти претензии авангардистов на тоталитарное господство в искусстве в сочетании с их устремленностью в «светлое будущее» определили глубинное ощущение ими своего идеологического родства с итальянским футуризмом, вступившим в это время в альянс с фашизмом. Проблема отношения советского художественного авангарда к итальянскому футуризму красной нитью проходит через всю литературно-эстетическую полемику начала 20-х годов. Родство между ними ощущается в той страстности, с которой подчас советские авангардисты пытаются отмежеваться от своих итальянских коллег, причем отмежеваться не как от классовых врагов, а скорее как от раскольников по партии, часто подкрепляя свое отношение к ним аналогией отношений между большевиками и меньшевиками. Не случайно в 1921 году, когда пафос строительства будущего достиг у авангардистов своего апогея, а их идеи во многом совпали с идеями итальянских футуристов, Маяковский попытался снять термин футуризм как обозначение революционного авангарда во избежание неприятных ассоциаций с фашизмом. Увы! это были не только ассоциации. Среди этой полемики можно найти и прямые признания этого родства. Так, один из теоретиков футуризма М. Левидов писал тогда: «Конечно, фашизм оперирует опасным для него материалом, в том числе и футуризмом. Итальянский футуризм ставит ставку на сильного. Прекрасно! сейчас этим сильным кажется фашизм. Завтра этим сильным окажется революция. Всякое движение в мире, ставящее сейчас ставку на сильного, ставит ее объективно на революцию, каковы бы ни были субъективные его устремления»⁹. На Втором Конгрессе Интернационала в 1920 году нарком Луначарский назвал Маринетти «интеллектуалом революции». Со своей стороны, Маринет-

ти, отнюдь не жалующий коммунизм («коммунизм можно осуществить только на кладбищах»), приветствовал достижения русских футуристов как собственную победу: «Я был восхищен, когда узнал, что все русские футуристы — большевики и что в целом футуризм является официальным русским искусством. В день Первого мая прошлого года русские города были декорированы футуристическими росписями. Ленинские поезда снаружи были украшены яркими динамическими формами, очень напоминающими Боччоно, Балла и Руссоло. Это делает честь Ленину и приветствуется нами как одна из наших собственных побед»¹⁰. И далее Маринетти выдвигает лозунг, под которым охотно поставили бы свои подписи деятели советского авангарда: «Да! Власть для художников! Управлять будет широкий пролетариат одаренных»¹¹.

Как и итальянский футуризм, советский художественный авангард тоже делал «ставку на сильного»: на революцию и пролетариат, и эта осознанная программа определила в конечном итоге как негативные, так и позитивные аспекты его идеологии. В своей негативной части она продолжала сохранять неутолимую и беспощадную ненависть к своему «вчера» и «сегодня», т.е., как уже говорилось, ко всей предшествующей культурной традиции. В позитивной же ее части были сформулированы главные принципы, которые в дальнейшем легли в основу официальной так называемой марксистско-ленинской эстетической теории.

Понимание авангардом функции революционного искусства колебалось в амплитуде между превращением его в труд художника-рабочего по созданию «нужных классу» вещей (теории производственников и Пролеткульта) и воспитанием его средствами масс пролетариата. «Людей живых ловить», «голов людских обделывать дубы», «мозги шлифовать рашпилем языка» — о такого рода задачах искусства еще в

1917 году мечтал Маяковский, а теоретики авангарда много писали о необходимости замены прежней эстетики «учением об искусстве как средстве эмоционально-организующего воздействия на психику в связи с задачами классовой борьбы»: «Рядом с человеком науки работник искусства должен стать психо-инженером, психо-конструктором»¹² (впоследствии Сталин использовал эти слова сгноенного им в лагерях С. Третьякова в качестве основополагающего определения писателя-соцреалиста: «Писатель — это инженер человеческих душ»).

Задача искусства как средства идеологической обработки масс, как одно из действенных орудий политической агитации и пропаганды, требовала развития прежде всего его массовых форм — плаката, монументальной скульптуры и т.д. «Проблема пролетарского переходного-изображающего художественного творчества — это проблема агитискусства, — искусства, агитационного не только по теме, но и по приемам материального оформления»¹³, — так предельно четко сформулировал эту задачу «Сен-Жюст авангарда» Борис Арватов. «Приемы материального оформления» по терминологии того времени означали художественный язык произведения, который, в соответствии с этой задачей, должен был быть доступен широким народным массам. Это не было данью авангарда наступающему тоталитаризму: теория в данном случае лишь шла за практикой. Именно авангардисты первыми включились в осуществление так называемого ленинского плана монументальной пропаганды, во главе которого стал футурист Натан Альтман. Именно ими на площадях Москвы и Петрограда было сооружено большинство памятников деятелям революции, уничтоженным впоследствии советской диктатурой. Их язык должен был действовать сразу, точно и безошибочно доводить до сознания масс очередную политическую идею. Поэтому хаос рушащегося мира

они стремились свести к простейшему порядку элементарных форм. «Формы недвусмысленные и сразу узнаваемые — это геометрические формы». Никто не спутает квадрат с кругом и круг с треугольником»¹⁴, — писал конструктивист Л. Лисицкий. И в своих плакатах, вроде «Клином красным бей белых!», Лисицкий этими сочетаниями геометрических форм просто и ясно выражал политическую идею. На фронтах гражданской войны этот его плакат был, очевидно, не менее понятен революционным бойцам, чем ставший знаменитым впоследствии плакат Моора «Ты записался добровольцем?», повторявший, кстати, идею известного английского плаката времен первой мировой войны и уже в силу этого могущий вызывать у солдат двусмысленные ассоциации. Художественный язык авангарда в тот период ломки оказывался ближе бунтарскому духу народных масс, чем любые традиционные формы искусства. С одной стороны, потому, что русский пролетариат вообще не имел никакой изобразительной традиции, а все традиционные формы прочно ассоциировались в его сознании с буржуазным бытом, который следовало уничтожить. С другой стороны, богатейшая народная, или крестьянская традиция, идущая еще от иконописи, всегда принимала условность, гиперболу, гротеск как естественный язык, выражающий народное миропонимание.

Наконец, в ходе развития авангарда определилась и еще одна — присущая всякому тоталитарному искусству — творческая установка: на безусловный социальный оптимизм. «Фабрикой оптимизма» называли свое искусство русские футуристы, а Маринетти определял свое как «вдохновляющий алкоголь», который обожествляет молодых, удесятеряет мужество зрелых и обновляет стариков. Вместе с отрицанием культуры прошлого, требованием подчинения творчества строительству будущего и провозглашением материально-технической стороны настоящего главной эстетичес-

кой ценностью нового искусства, все это складывалось в стройную систему взглядов, которую можно назвать художественной идеологией авангарда.

Эта идеология не была спущена сверху; она сложилась стихийно как результат осознания определенной группой художников места своего искусства и творчества в победившей революции. Однако не все «революционеры духа», чье творчество в начале нашего века развивалось в общем русле левого искусства, придерживались подобного мировоззрения. Многие из них не были склонны ни отрицать прошлое, ни апеллировать к массам, ни строить коммунистическое будущее средствами своего искусства. Они хотели делать лишь то, что всегда и везде делали их предшественники: свободно создавать новые формы и стили, независимые от политических категорий. И в победоносном ходе русской революции они видели лишь стихийный поток, сметающий социальные и психологические преграды, которые стояли на пути развития европейской традиции свободного и независимого творчества. Так, основоположник абстракционизма В. Кандинский писал: «Беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но необычайно и первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немыслимо... Утверждение, что я хочу опрокинуть здание старого искусства, всегда действует на меня неприятно. Сам я никогда не чувствовал в своих вещах уничтожения уже существующих форм искусства: я видел в них ясно только внутренне логический, внешне органически неизбежный дальнейший рост искусства»¹⁵. А Шагал буквально кричал от ужаса при виде надвигающейся железобетонно-пролетарской культуры: «Куда мы идем? Что это за эпоха, которая слагает гимны техническому искусству и делает бога из формализма!»¹⁶

Подобные высказывания, как и вся активная дея-

тельность на ниве нового искусства левых художников, звучали резким диссонансом к футуристическим мечтаниям авангардистов, не склонных по своей революционной природе проявлять терпимость к инакомыслию. Развитие советского искусства первого послереволюционного пятилетия проходит под знаком борьбы не реалистов с формалистами, а авангарда с левым искусством. В этой борьбе идеология авангарда оказалась могучим оружием, помогающим крушить противников. Из центра художественной жизни левые вытесняются на периферию, лишаются возможности работать и с 1921 года начинают покидать Советскую Россию¹⁷.

Конечно, авангардисты — эти революционеры духа, эти идеалисты от материализма, комиссары от искусства, эти сменившие идолов истово верующие атеисты — не могли тогда предположить, что уже через пять лет после революции в стране победившего социализма начнется кардинальная переоценка ценностей; правое станет левым, буржуазное пролетарским, контрреволюционное революционным; что еще спустя десятилетие вместе с ликвидацией художественных группировок будут задавлены последние остатки творческой свободы в стране; что уже к середине 30-х годов практика и эстетика соцреализма во многом сомкнется с практикой и эстетикой искусства Третьего Рейха; и еще меньше могли они предполагать, что главным оружием новой официальной эстетики, сокрушившим в первую очередь их самих, будет их же собственная идеология.

2. МЕЖДУ МОДЕРНИЗМОМ И ТОТАЛИТАРИЗМОМ

Для искусства тоталитаризма, как советского, так и итальянского, первый период развития был этапом формирования не его художественного языка, а его идеологии, происходящим еще в горниле авангардист-

ско-революционных художественных движений. И советский авангард, и итальянский футуризм пытались выражать новую идеологию на языке, сложившемся еще в дореволюционное время. Это был пластический язык общеевропейской культуры начала XX века, носитель ее исторически сложившихся ценностей, — прежде всего, права абсолютной — вплоть до самоотрицания — свободы творчества, вольного творческого поиска и самовыражения. Сыграв свою роль в деле переделки массового сознания, в ломке стереотипов эстетического мышления, расчистив тем самым почву для новой художественной идеологии, сам он оказался неперевожимым на понятный широким народным массам язык агитации и пропаганды — что прежде всего всегда требует от искусства тоталитарное государство. Попытки советского авангарда и итальянского футуризма сделаться языком официального искусства одной из двух диктатур — диктатуры пролетариата и диктатуры фашизма — уже в середине 20-х годов потерпели фиаско как в России, так и в Италии. Начинается период компромиссов этих движений с требованиями режима, период трансформации их языка, а несколько позже и его насильственного искоренения, зачастую вместе с его носителями. Этот процесс в Италии и России до начала 30-х годов протекает синхронно и порождает удивительные по сходству стилистические формы.

И итальянский футуризм, и советский авангард были порождением и естественным продолжением общеевропейской культуры, которую они стремились взорвать, но только во имя построения культуры будущего. Для тоталитаризма всякая культура — лишь побочное средство для самоутверждения. «Прежде чем человек познает потребность в культуре, он чувствует потребность в порядке»¹⁸, — этими словами в 1927 году Муссолини возвел внутреннюю интенцию диктатуры в извечный человеческий принцип. Куль-

тура в онтологическом, широком общечеловеческом (хотя бы в пределах одной цивилизации) смысле, с точки зрения любого тоталитаризма, представляется явлением стихийным, иррациональным, не поддающимся идеологизации и потому враждебным. И в качестве упорядочивающего ее элемента идеология тоталитаризма выдвигает на первый план национальную традицию, от которой ведет отсчет всем прежним и будущим ценностям и которая в конечном итоге подменяет собой культуру. Трехкратное подтверждение этого правила развитием искусства в классических тоталитарных государствах XX века — Италии, России и Германии — возводит его в закон.

Вскоре после прихода к власти Муссолини (январь 1922 года) футуризм в Италии отходит на второй план. Карра и Северини покидают движение, «второй футуризм» (как обычно называют искусство его продолжателей в период фашизма) вырождается в плакатно-рекламный стиль, очень сходный с советской массовой изо-агитационной продукцией того же времени. С 1923 года все большую роль начинает играть художественное объединение «Новеченто» («Двадцатый век»), которое вскоре становится ведущим направлением искусства итальянского фашизма. Первую выставку этой группы в Милане открывал сам Муссолини.

Деятельность «Новеченто» вполне соответствовала изначальной эстетической установке итальянского фашизма на «лишенную мрачности интерпретацию действительности и на использование традиции итальянского искусства»¹⁹. Что касается первой части этой формулы, то есть социального оптимизма, то ее разделяли все основатели футуризма, по отношению же к национальной традиции новечентисты сделали «шаг вперед». И, конечно, третьим главным компонентом их идеологической программы было провоз-

глашение себя художниками «для народа», а своего искусства «массовым»²⁰.

По этому рецепту и создавалась официальная продукция искусства фашизма. Его стилистика строилась на заимствовании форм скульптуры Императорского Рима и росписей итальянского Ренессанса; его главными темами стали труд, спорт, война; его содержанием — прославление силы, бодрости, физического совершенства «нового человека» и вдохновителя его побед — Дуче (в области пластического утверждения культа личности искусству итальянского фашизма безусловно принадлежит пальма первенства: иконография Ленина, Сталина и Гитлера сложилась несколько позднее). Этот монументальный стиль героического реализма доминировал в итальянском искусстве до начала второй мировой войны. Однако наряду с ним здесь продолжали работать художники с иными творческими установками, не разделяющими официальную идеологию: итальянский фашизм проявлял относительную терпимость в области художественного творчества, а государство не стало здесь единственным заказчиком и распределителем среди художников материальных благ. Гораздо мучительнее и с большими потерями процесс вытеснения с официальной арены прежних — революционных — форм протекал в то же самое время в Советской России.

В феврале 1922 года 47-й выставкой возобновили свою деятельность передвижники, пережившие свой кризис еще в 90-х годах прошлого столетия и с тех пор благополучно и, казалось бы, навсегда сошедшие с арены художественной жизни России. Во время диспута, которым сопровождалось ее открытие, зародилась Ассоциация художников революционной России (АХРР), ставшая в руках набирающей силу тоталитарной власти удобным инструментом по кардинальной переделке всего советского искусства. Ядро АХРРа составили бывшие передвижники (Н. Касаткин, В. Жу-

равлев) и молодые, никому тогда не известные художники из разряда десятистепенных. Ее председателем стал бывший председатель Товарищества передвижных выставок П. Радимов, секретарем — Е. Кацман. «Через несколько дней после открытия передвижной выставки и диспута по докладу Радимова, — пишет в своих воспоминаниях Е. Кацман, — группа художников-реалистов решила обратиться в ЦК партии и заявить, что мы предоставляем себя в распоряжение революции, и пусть ЦК РКП(б) укажет нам, художникам, как надо работать»²¹. Пожалуй, за всю историю европейской живописи мастера кисти впервые обратились к партийным руководителям за указаниями по вопросам собственного творчества. Эти указания, а также всесторонняя поддержка со стороны государства деятелей АХРР, не заставили себя ждать. Нарком Луначарский, чутко реагирующий на настроения верхов, резко меняет курс и в том же 1922 году выдвигает лозунг «назад к передвижникам».

Уже первая декларация АХРР отличалась агрессивной трескучностью своей политической терминологии: «Наш гражданский долг перед человечеством — художественно-документально запечатлеть величайший момент в истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняшний день: быт Красной Армии, рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда. Мы дадим действительную картину событий, а не абстрактные измышления, дискредитирующие нашу революцию перед лицом мирового пролетариата»²². Под «дискредитирующими измышлениями» здесь подразумевалось прежде всего творчество авангардистов, и пролетарское государство не замедлило взять на вооружение это обвинительное против современного стиля клише всякой тоталитарной идеологии. После 1924 года в России уже не устраивается сколько-нибудь значительных выставок авангардизма, его представители вытесняются с руководящих пос-

тов, лишаются заказов и постепенно сходят с арены художественной жизни.

Руководствуясь выдвинутыми ими принципами народности, массовости и реализма, деятели АХРРа разъезжаются по заводам и стройкам, они проникают в кабинеты партийных вождей и военных командиров, они пишут портреты членов правительства, создают тематические картины из времен революции и гражданской войны в стиле и технике передвижников, как две капли воды похожие на произведения салона конца прошлого века и выдаваемые за творения нового — революционного и героического — реализма. Это было началом процесса формирования того языка, на котором спустя десятилетие в полный голос заговорит официальное искусство нацистской Германии, советской России и фашистской Италии. Но в 20-х годах он еще только набирал силу. Наряду с ним, на почве уже уничтоженного авангарда создается еще один — промежуточный — стиль, тоже претендующий на универсальность выражения революционной идеологии.

С середины 20-х годов, как грибы после дождя, возникают в Советской России художественные группировки, объединяющие мастеров, которые пытаются противостоять опасности вторжения тоталитаризма в область культуры: «Четыре искусства», «Круг художников», «Московские живописцы», «Общество русских скульпторов» и т.д. Наиболее радикальными соперниками АХРРа были среди них «ОСТ» («Общество станковистов», 1925 г.) и «Октябрь» («Объединение новых видов художественного труда», 1928 г.).

Приняв уже навязанную тогда в качестве обязательной доктрину реализма с его установкой на отражение героики и завоеваний революции в пределах станковых форм искусства, наиболее значительные мастера «ОСТА» и «Октября» были тем не менее прямыми потомками авангардистов, искренне увлеченными поэтикой трудовых ритмов, пафосом социалис-

тического строительства, процессом формирования «нового человека» — бодрого, здорового и физически совершенного; легендами о героических днях революции. В пределах уже значительно сузившихся рамок творческой свободы эти мастера стремились сохранить хотя бы некоторые завоевания современного искусства и на его языке выразить «радостный, энергичный, и активный» дух времени между гражданской войной и коллективизацией, когда впрыскивание экстракта свободных рыночных отношений несколько оживило разрушенный организм экономики страны, когда появление в лавках простого хлеба воспринималось как зримая черта грядущего всенародного изобилия, когда в каждом вновь выстроенном каменном бараке мерещились черты невиданной ранее архитектуры, а новая выплавленная тонна стали выдавалась за очередной сокрушительный удар по мировому империализму. Десятилетие войны, голода, разрухи, социальных неурядиц и изолированность от всего остального мира были главными причинами этих иллюзий, но они стали живым ощущением, духом культуры этого периода и получили адекватное выражение в стиле советского поставангарда.

Стиль этот можно было бы назвать стилем конструктивного реализма, ибо его создатели строили из реальных — изобразительных — элементов идеальный мир своих картин, — мир, очищенный от старомодных нюансов настроения, от досадных ненужностей быта, организованный ритмами труда и борьбы, пронизанный единой сильной эмоцией — суровым пафосом (в сценах труда), героическим противоборствованием или драматическим противостоянием (в сценах войны), солнечным ликованием (в сценах спорта и материнства); мир, где природа выступает лишь как строительная площадка, как место приложения творческого процесса, а его участники, инструменты и результаты (люди, станки, новостройки) превращены

в символы уже виднеющегося на социальном горизонте светлого будущего. Монументальностью своих решений, героикой образов, прославлением силы, труда, энергии и здоровья работы мастеров «ОСТА» и «Октября» прямо смыкаются со стилем итальянского «Новеченто», так что сцены спорта Дейнеки почти неотличимы от аналогичных росписей Акиле Фуни, а ранние картины Пименова, Самохвалова, Вильямса — от работ Марио Сирони, Франко Джантилини и других официальных итальянских мастеров этого времени. Разница, пожалуй, заключалась лишь в том, что для итальянских художников их неоклассицизм был языком традиции, и поэтому формы его уже несли на себе клише прежних значений, что придавало стилю искусства фашизма оттенок напыщенности и стилизаторства. Русская художественная традиция не знала монументального стиля (со времен иконописи), и стиль советских мастеров был скорее переводом абстрактного языка авангарда на язык изобразительных форм, чем результатом заимствования стилистических форм прошлого. До начала 30-х годов работы мастеров «ОСТА» и «Октября» в гораздо большей степени определяли характер советского официального искусства, чем продукция АХРР, внедряемая при помощи рычагов управления нового государства.

Советский историк искусства В. Горяинов назвал деятельность художников «Новеченто» «уступкой, которую сделало большинство итальянских художников фашизму, своеобразным компромиссом мелкобуржуазной интеллигенции с режимом»²³. Если в этом определении заменить бранную кличку «мелкобуржуазная» термином «революционно-настроенная», то его можно целиком применить и к стилю советских поставангардистов «ОСТА» и «Октября».

В Германии наличие такого промежуточного между авангардизмом и тотальным реализмом стиля прослеживается гораздо труднее. Но и нацистское дви-

жение, обряженное в революционные одежды классовой борьбы с империализмом и буржуазией, пробивающееся сквозь толщу демократических наслоений Веймарской республики, находило на первых порах своих певцов среди художников-революционеров. Так, первый номер официального нацистского журнала «Искусство Третьего Рейха» (январь 1937 года) опубликовал на своих страницах вполне экспрессионистические рисунки профессора Швейтцер-Мхольнира, воспевающие героическую борьбу штурмовиков, — с их гротескно деформированными фигурами, формально-ритмической организацией движения, подчеркнутой динамичностью напряженных контрастов, неотличимых по стилю от революционной немецкой графики 20-х годов. Если не ошибаюсь, это была последняя публикация такого рода в гитлеровской Германии. Вскоре подобные произведения исчезают со страниц немецкой прессы и со стен германских музеев, точно так же, как в Советском Союзе исчезают произведения авангардистов и их последователей: язык тоталитаризма не терпит диалектов.

4. ТОТАЛИТАРИЗМ И МОДЕРНИЗМ

Процесс становления художественного языка тоталитаризма всегда тесно связан с движением по пути к господству небольшой, но наиболее эстетически консервативной и морально беспринципной творческой группы, вступившей в альянс с правящей или рвущейся к власти диктатурой. В Германии подобная группа приобрела организационную форму в лице «Боевого союза за немецкую культуру», основанного в августе 1927 года Розенбергом, Гиммлером и Штрасером. Творческая деятельность этого союза базировалась на нацистской концепции «нордического», «арийского искусства «для народа», а путь к созданию такового его представители видели в развитии нацио-

нальной, реалистической традиции. Наиболее активными борцами за искусство такого рода выступили с самого начала люди, самым ходом развития современной культуры отодвинутые на ее глубокую периферию: неподражаемый имитатор стиля голландских натюрмортов Адольф Циглер (ему приписывалось даже открытие секрета техники старых мастеров), скульпторы-реалисты Арно Брекер и Йозеф Торак — абсолютные стилистические двойники сталинских портретистов Томского и Вучетича, личный друг Гитлера архитектор-классицист Пауль Людвиг Трост — умелый проектировщик шикарных интерьеров для богатой буржуазии, и некоторые другие. После прихода Гитлера к власти все они заняли ключевые позиции в художественной администрации Третьего Рейха. В процессе их сравнительно недолгой, но сверхактивной деятельности оформилась теория и практика искусства нацизма, которое, как впоследствии подытожил их устремления официальный орган «идеологической империи» Розенберга журнал «Искусство Третьего Рейха», есть «воплощенный образ мыслей, мировоззрение, превращенное в форму. Оно зажигает, поднимает, воодушевляет. Искусство превращается в одну из наиболее действенных, организующих и направляющих сил в жизни народа»²⁴. В искусстве Италии язык описательного агитационного реализма окончательно откристаллизовался лишь после укрепления союза Гитлера и Муссолини — в результате усилившегося влияния нацистской идеологии на итальянский фашизм. В советской России формирование этого языка было связано с дальнейшей историей АХРРа.

В 1928 году крупный партийный босс Емельян Ярославский в своей приветственной речи по поводу открытия Первого съезда АХРРа с неодобрением отмечал возобновившиеся повсюду нападки на эту организацию: «Создается впечатление, что почти вся советская печать настроена враждебно против АХРРа,

что АХРР это — что-то антисоветское»²⁵. Действительно, к этому времени все лучшие силы советского искусства оказываются не только вне АХРРа, но и занимают все более резко отрицательную позицию по отношению к Ассоциации. Так, в 1926 году ряд наиболее крупных художественных группировок направил в ЦК партии коллективное письмо, в котором просил «устранить то положение, при котором одна художественная группировка (АХРР. — И. Г.) отмечается всеми осязаемыми признаками благоволения, выражающимися не только в создании для этой группировки материальной базы, но, что гораздо важнее, открывающими ей тот моральный кредит в широких кругах советской общественности, который не может быть оправдан культурно-художественным уровнем и достижениями одной этой группировки»²⁶. Под этим обращением стояли подписи ведущих советских художников: Д. Штеренберга, Ю. Пименова, И. Грабаря, А. Гончарова, С. Герасимова и др. Ответа на него, естественно, не последовало. Потому что, пока художники и деятели культуры обменивались словесными и письменными перепалками, Бродский, Кацман, Мешков, А. Герасимов портретировали Сталина, Ворошилова, Буденного, Калинина, Менжинского, изображая их на прогулках и на трибунах, на фоне гигантских строек и восторженных масс трудящихся, мирно беседующих с Горьким или произносящих пламенные речи. Механизм достижения подобными группами вершин тоталитарной власти очень точно описан в воспоминаниях Е. Кацмана: «Нашему политическому росту помогала мастерская С. А. Уншлихт в Кремле. Она помещалась тогда в Зимнем саду. Эту мастерскую Стефания Арнольдовна предоставила нам, актрисам... Мы имели постоянные пропуска в Кремль и могли часто видеть руководителей партии и правительства... Я могу с полной ответственностью сказать, что советское изобразительное искусство своими

достижениями во многом обязано К. Е. Ворошилову, который повседневно общался с нами, художниками, и помогал нам ценнейшим советом или идейной консультацией, то дружеской товарищеской беседой. Будущие историки искусства еще не раз остановятся на огромной роли членов Реввоенсовета, которую они сыграли в искусстве той эпохи»²⁷. Здесь Кацман безусловно прав: личный друг многих ахрровцев, постоянный персонаж их тематических картин и портретов К. Е. Ворошилов, знающий только одно искусство — расчленения человеческой туши при помощи казацкого клинка, — постепенно становится главным попечителем искусства в СССР, сохранив эту роль вплоть до середины 50-х годов. По сути, деятели АХРРа вышли из ведомства культурно-художественных учреждений и передали свою судьбу в руки высоких партийных сфер.

Тем не менее к концу 20-х годов даже внутри этих сфер стало ясно, что ахрровские установки на превращение искусства в голое средство агитации и пропаганды основная масса советских художников не примет добровольно. Чтобы загнать искусство на прокрустово ложе тотального реализма, потребовались действенные меры принуждения. Меры эти не заставили себя ждать. 23 апреля 1932 года выходит постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидирующее все художественные группировки в стране и заменяющее их творческими союзами. В области изобразительных искусств таковым стал существующий и поныне Союз советских художников. Все основные руководящие посты в нем заняли бывшие деятели АХРРа. Эта организация с самого начала выполняла (и продолжает выполнять) по крайней мере три (помимо творческой) основные функции — правовую, экономическую и идеологическую: в стране, живущей под лозунгом «кто не работает, тот не ест», она давала своим членам юридическое право называться трудящимися;

узурпировав монополию на заказы художественной продукции, она стала единственным в стране распределителем материальных благ в этой области; наконец, она превратилась в орган жесткого идеологического контроля, регулирующего продукцию советского искусства при помощи первой и второй своих функций. Его главным творческим принципом стала догма социалистического реализма, сформулированная в 1934 году на Первом съезде советских писателей: «Тов. Сталин назвал наших писателей «инженерами человеческих душ». Что это значит?... Это значит... знать жизнь, чтобы правдиво изображать в художественных произведениях, изображать не схоластически, не мертво, не просто как «объективную реальность», а изображать действительность в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного произведения должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод... мы называем методом социалистического реализма» (из речи Жданова на Первом Всесоюзном съезде писателей). Эта формулировка легла в основу действующего и поныне устава Союза советских художников, обязательного для всех его членов.

Всего лишь полтора года спустя (осенью 1933 г.) после учреждения в сталинской России Союза советских художников, в гитлеровской Германии создается аналогичная организация с целью «способствовать развитию немецкой культуры в духе ответственности за народ и государство» — Государственная палата культуры. С этого момента линии развития соцреалистического и национал-социалистического искусства смыкаются: огромные аппараты партийного и государственного контроля охватывают теперь всю массу работающих здесь и там деятелей культуры и целиком подчиняют ее идеологиям правящих партий. И хотя одна из этих идеологий в области культуры

придерживалась догмы «кровь и почва», а другая — классовой природы искусства, насильственное внедрение в жизнь той и другой породило почти тождественные административные, организационные и стилистическо-языковые формы. Ибо чистота тоталитарности искусства определяется не содержанием той или иной политической доктрины, а степенью абсолютности подчинения ей художественной жизни. В этом отношении положение в России и в Германии с начала 30-х годов стало одинаковым. Различие лежало лишь в хронологии возникновения там и здесь отдельных тождественных явлений.

В то время, когда нарком Луначарский поучал советских художников, как сделать искусство «волшебным зеркалом, которое... отражало бы для сознания страны то, что она сейчас собой представляет» (из речи на открытии VIII выставки АХРР 3 мая 1926 г.), а Муссолини торжественно открывал выставки фашистского искусства, Гитлер, уже сменивший к этому времени профессию художника-неудачника на карьеру политика, еще сидел в тюрьме под Мюнхеном, писал «Майн Кампф» и вербовал сторонников. Борьба за национал-социалистическую культуру велась в полуподполье и не принимала государственных форм. Поэтому после прихода к власти нацизма тоталитарное искусство проходит здесь ускоренный путь развития: все, что происходило в России с 1922 по 1953 годы, в Германии было спрессовано в пределы одного десятилетия.

Указом от 13 марта 1933 года в Германии учреждается Министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Геббельсом. Уже через полгода в его составе создается Государственная палата культуры, делящаяся, в свою очередь, на палаты по делам литературы, радио, музыки, театра и искусства. Палата по делам искусства (Kunstkammer; к концу 1936 года в нее входило 42 тысячи человек) объединяла

всех художников, скульпторов, графиков, архитекторов, прикладников, дизайнеров, кто хотел получать заказы, выставляться, приобретать материалы, а взамен принимал на себя обязательство следовать в своем творчестве доктрине национал-социалистического искусства. По сути, она была точным слепком с Союза советских художников со всеми его функциями, а Государственная палата культуры представляла собой конгломерат профессиональных творческих союзов — художников, писателей, композиторов, кинематографистов и т. д., объединенных в строгую систему и подчиненных единому партийному руководству. (Замечу в скобках, что советские руководители не раз мечтали о создании подобной централизованной системы. В частности, вопрос об объединении всех профессиональных организаций в единый союз творческих работников серьезно обсуждался в 1963 году — после разгрома Хрущевым либеральных тенденций в советской культуре, и, очевидно, только наличие громоздкого аппарата партийной и профессиональной бюрократии помешало этим тоталитарным мечтаниям воплотиться в жизнь.) Приблизительно в то же время создается для контроля на местах своеобразный институт идеологических надсмотрщиков, состоящий из членов нацистской партии, главным образом, участников «Боевого союза за немецкую культуру», и именующихся, как и в Советской России, комиссарами по делам искусств. Первоочередной задачей этих организаций была борьба с «чуждой идеологией» в искусстве, т. е., по сути, со всем, что не подходило под стандарты эстетики нацизма или соцреализма. Это означало борьбу на уничтожение со всей мировой культурой и, прежде всего, с художественной культурой XX столетия.

Отношение к современной культуре при советском и нацистском режимах меняло свои словесные формулировки, но, по-существу, оставалось неизменным и

общим для обоих на протяжении всей их истории. Для философов-марксистов подлинная культура представлялась чем-то вроде идеальной фикции, частично осуществившей себя в далеких эпохах исторического прошлого (для Маркса и Энгельса — в античности и Ренессансе), которая окончательно реализуется в столь же далеком будущем, когда победивший коммунизм объединит человечество в единое ликующее братство. В блеске этих дальних горизонтов вся прошлая и настоящая культура казалась им чем-то малосущественным. Когда А. Луначарский в дни Октябрьского переворота, потрясенный обстрелом Кремля и, как он думал, уничтожением памятников старины, подал в отставку, Ленин был искренне удивлен такой непоследовательностью своего наркома: «Как вы можете придавать такое значение тому или иному старому зданию, как бы хорошо оно ни было, когда речь идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом»²⁸. (Здесь вождь пролетариата как бы перефразирует одну из главных идей авангардистов: «Следует больше жалеть о сошедшем с нарезки винте, чем о разрушении храма Василия Блаженного»²⁹.) Точно так же и Троцкий в 1924 году оценивал современное состояние искусства и литературы в России «едва ли не как стадию подхода к подходу к искусству социалистического будущего»³⁰.

Ленин, веривший в умственные способности масс не больше, чем Гитлер, не только выдвинул подхваченную с таким энтузиазмом авангардистами идею «наглядной пропаганды» как доминирующей формы искусства в социалистическом государстве, он также хорошо отдавал себе отчет, что такое искусство «должно быть понятно самым широким народным массам» и что язык искусства XX века не отвечает этой цели. Уже в те, казалось бы, благословенные

для развития всяких революционных художественных течений годы Ленин неоднократно упрекал тогда еще «либерального» Луначарского за его «пристрастие к футуристам» и настаивал на выводе из руководства ИЗО Наркомпроса представителей революционного авангарда. Достаточно привести в качестве примера текст записки Ленина к М. Н. Покровскому от 6 мая 1921 года; «Киселиса (Киселис — посредственный художник, впоследствии видный деятель АХРР. — И. Г.), который, говорят, художник-«реалист», Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и косвенно. Нельзя ли найти надежных антифутуристов?»³¹. Цели, задачи и принципы тоталитарного искусства были впервые сформулированы Лениным; еще при жизни вождя, и явно не без его участия, началось внедрение их в жизнь через АХРР с его лозунгом «искусство в массы», и Геббельс лишь повторил (сознательно или бессознательно — неважно) основной ленинский тезис, когда потребовал от немецких художников создания «народного» искусства, которое «было бы понятно даже самому необразованному штурмовику»³².

Но как только подобного рода задача ставится перед искусством, она сразу и автоматически требует для своего осуществления «массовых», «народных», «национальных» форм, и как только эти формы магическими заклинаниями идеологов вызываются к жизни из эстетического небытия, они сразу и автоматически вступают в жестокий конфликт с существующим уровнем художественной культуры. Томский и Кандинский, Циглер и Пикассо обитают как бы в разных исторических эпохах, в несовместимых эстетических измерениях, и чтобы могли существовать первые, они должны уничтожить вторых.

Борьба с «модернизмом» — одна из сторон тех черно-белых контрастов, в которые окрашена всякая деятельность при любых тоталитарных режимах:

чтобы идея соцреалистического или национал-социалистического искусства могла сиять как золото, всякая иная художественная концепция должна быть черна как деготь. В Германии эта борьба обострялась еще и тем, что Гитлер с его комплексом неудавшегося художника и манией нереализовавшегося архитектора («Если бы Германия не проиграла войну, я стал бы не политиком, а архитектором, великим, как Микель-анджело») считал себя экспертом по искусству, патологически ненавидел модернизм, к коему относил все современное искусство начиная с импрессионизма, и лично входил в важнейшие дела художественной жизни, что накладывало на последнюю отпечаток вкусов и личности фюрера (Сталин, как говорят, сочинял стихи на грузинском языке; может быть, поэтому поэтам в России пришлось много хуже, чем художникам). Все искусство XX века Гитлер рассматривал не более чем как «дерзкие нападки на нашу культуру и наши национальные сокровища, предпринятые кучкой мошенников по чисто политическим, пропагандистским мотивам»³³. «Это потрясающе видеть, каким высочайшим был наш художественный уровень к 1910 году. Но с тех пор — увы! — наша деградация стала возрастать. В области живописи, к примеру, достаточно вспомнить удручающую мазню, которой эти люди от имени искусства обманывали немецкий народ... Что касается содержания этой мазни, то эти люди утверждали, что понять его не просто, что для этого надо проникнуться их глубиной и значением, самому погрузиться в образы — и другие идиотизмы того же порядка. В 1905-6 годах, когда я вступил в Венскую Академию, эти плоские фразы уже употреблялись — подsunуть публике бесчисленную мазню под видом художественных экспериментов»³⁴. И Гитлер нашел радикальнейший способ бороться с этими нездоровыми явлениями: «Я неуклонно придерживаюсь следующего принципа: если какой-нибудь доморощенный художник подсо-

вывает на рассмотрение для мюнхенской выставки дрянь, то он либо обманщик, и его следует посадить в тюрьму, либо он сумасшедший, и в таком случае его место в сумасшедшем доме, или он дегенерат, и тогда его надо послать в концлагерь для перевоспитания и исправления посредством честного труда»³⁵. (Как знакомо звучат эти мелодии для тех, кто читал советскую прессу и литературу по искусству 30-60-х годов нашего столетия, сколько родных ждановско-хрущевских интонаций может уловить ухо русского человека в этих чистейших излияниях самой души тоталитаризма!)

В процесс уничтожения тоталитаризмом современной культуры Гитлер вносил оттенок личных антипатий, но в основном он проходил в сходных формах и почти синхронно в Германии и в России.

Впервые фюрер публично обрушился на «дегенеративное» искусство в своей речи, произнесенной в Нюрнберге в сентябре 1934 года. Первые правительственные постановления против «формализма» в искусстве появляются на страницах газеты «Правда» всего полутора годами позже.

В сентябре 1936 года закрывается крупнейший в Германии отдел современного искусства в берлинском музее Кронпринц-Палас, а 17 июля 1937 года в Мюнхене во вновь построенном по проекту Троста «Доме немецкого искусства» открывается знаменитая «выставка дегенеративного искусства». Сотни работ величайших немецких и иностранных художников XX века экспонировались здесь по разделам с глумливыми названиями: «абсолютная глупость в выборе тематики», «моральная сторона извращения искусства: публичный дом, проститутки, сутенеры», «идиоты, кретины, паралитики», «евреи», «совершенное безумие» и т. д. Это была смелая попытка Гитлера показать широкой публике степень морального и художественного падения модернизма. Выставка имела обратный эффект:

по 20 тысяч человек приходило сюда ежедневно — большинство, чтобы навсегда проститься с художественной культурой человечества. В 1937-38 годах выходит ряд указов об изъятии и конфискации из музеев и частных собраний произведений «дегенеративного искусства». А. Циглер во главе специальной комиссии разъезжает по стране с этой целью. В результате было отобрано около 16 тысяч работ, из которых большинство было продано за границу, а около 5 тысяч картин, рисунков, акварелей и гравюр публично сожжено.

В Советской России надобности в таких указах не было: частные собрания были национализированы еще в начале революции, а со стен государственных музеев произведения «формалистов» переселялись в запасы без широковещательных заявлений. Работы западных художников не были разбросаны по стране, а сосредотачивались в одном месте — в московском Государственном музее нового западного искусства. Это и помогло ему просуществовать до 1947 года, после чего музей был ликвидирован, а его экспонаты включены в списки на продажу за границу (к счастью, этот план успел реализоваться лишь частично). От работ же отечественных формалистов советские музеи были освобождены еще в начале 30-х годов. Что же касается физического уничтожения произведений искусства в Советском Союзе, то история пока еще не донесла до нас документов, зафиксировавших подобные факты. Однако если вспомнить события совсем недавних — куда более либеральных — времен (разгром в сентябре 1974 года выставки московских неофициальных художников при помощи бульдозеров и поливальных машин с сожжением картин на кострах, уничтожение по спискам принадлежащих Государственному Художественному Фонду работ художников, эмигрировавших из СССР в Израиль, и т. д.), то есть все основания полагать, что такие факты имели место на протяжении всей истории советского государства.

Разгром «дегенеративного» (по терминологии нацизма) искусства или искусства «маразма и разложения» (по советской терминологии) прикрывался лозунгами политической борьбы, причем там и здесь ему приписывались внешне противоположные, а по существу одни и те же политические преступления. Так, А. Розенберг в статье «Пути немецкой культурной политики»³⁶, говоря о задачах борьбы с «культурбольшевиизмом», подразумевает все тот же модернизм, который нацисты выдавали за прямой продукт экспансии на Запад большевистской революции. В то же самое время, когда на стенах «Дома немецкого искусства» без рам, сопровождаемые оскорбительными надписями, еще висели картины Пикассо и Кандинского, Матисса и Клее, Макса Эрнста и Руо, когда берлинская пожарная команда сжигала на площади остатки нераспроданных работ современных мастеров, официальный орган Союза советских художников, журнал «Искусство», в передовой статье писал об этих же самых мастерах: «Эти «забавники» на Западе в фашистских странах — Германии и Италии — очень быстро нашли путь к фашистским «культурным» сердцам. Их якобы безыдейность очень хорошо и «идейно» служит фашизму. У нас же эти «левые» Петрушки, некогда претендовавшие на монополию художественного руководства, и сейчас еще путаются под ногами...»³⁷. А еще год спустя тогдашний председатель Союза советских художников и фактический диктатор в области советского искусства Александр Герасимов в своем отчетном докладе приветствовал органы НКВД, поступившие как и надлежало с «еще путающимися под ногами» авангардистами: «Враги народа, троцкистско-бухаринское охвостье, агенты фашизма, орудовавшие на изофронте, пытавшиеся всячески затормозить и помешать развитию советского искусства, разоблачены и обезврежены нашей советской разведкой, руководимой сталинским наркомом

тов. Ежовым. Это оздоровило творческую атмосферу и открыло пути к новому подъему творческого энтузиазма среди всей массы художников»³⁸. (Аналогичную речь произнес тогда на XVIII съезде партии нынешний нобелевский лауреат М. Шолохов.)

Другое обвинение, уже эстетического порядка, которое тоталитаризм выдвигал против современного искусства, заключалось в том, что модернизм якобы отрицал художественные традиции и требовал уничтожения всей предшествующей культуры. Претензии эти имели под собой не больше оснований, чем обвинения политические. Основатели современного искусства не отрицали традиций, а стремились вывести их за рамки национальной ограниченности и расширить до возможно более широких пределов общечеловеческой культуры. В этом и заключалась одна из важнейших сторон эстетического переворота, который произошел в европейском искусстве на грани XIX и XX веков. Испанец Пикассо и итальянец Модильяни в Париже, русский Кандинский в Мюнхене, швейцарец Клее и американец Фейнингер в Дессау обращались к негритянской скульптуре и древнерусской иконописи, к этрусским надгробиям и помпейским росписям, к средневековым витражам и крестьянским примитивам и создавали культуру нашего времени — интернациональную в своей основе. Их искусство заговорило на языке общечеловеческой культуры об общечеловеческих проблемах, разрушая в области духа пространственные и временные барьеры. С другой стороны, как уже отмечалось, представители наиболее революционных течений (итальянские футуристы, советские авангардисты и некоторые их немецкие последователи — Ганнес Майер, Моголи-Надь и др.) действительно отрицали предшествующую традицию ради построения культуры будущего. Однако как красный, так и коричневый тоталитаризм не проводил никакого различия между «левыми» и «авангардом»: в его глазах

те и другие были лишь формалистами и дегенератами, большевистскими вырожденками или фашистским охвостом. И в противовес им в третий раз в истории XX века, теперь уже нацизмом, в качестве единственного и обязательного был утвержден язык национальной реалистической традиции. Борьба с модернизмом в СССР и Германии имела лишь одну цель: оружием национальной традиции сокрушить общечеловеческую культуру и тем самым расчистить дорогу этому языку.

Этот язык, вытесненный художественной культурой нашего столетия на свою глубокую периферию, вместе со своими носителями — художниками самых различных политических убеждений, — притягивался оттуда, как магнитом, двумя полюсами тоталитарной идеологии. Приведу только один пример.

В конце 20-х — начале 30-х годов в Берлине и Дрездене возникают Ассоциации Художников Революционной Германии, провозгласившие себя «братскими организациями АХРРа». Участники этих Ассоциаций, по примеру своих советских коллег-реалистов, были заняты созданием пролетарского, социалистического искусства, а также изготовлением антифашистских листовок, плакатов, транспарантов. Один из членов дрезденской группы, художник-коммунист Ганс Грундиг, описывает в своих воспоминаниях, что произошло с его братьями по партии после прихода Гитлера к власти: «В первые годы нацизма нас не трогали... Не исключено, что гитлеровцы уже видели в нас опасных противников, но еще надеялись склонить нас в свою сторону... Нацистские художники Гаш и Вальденфель, прежде всего Гаш, написали в 1934 году в газете «Фрейхейтскампф», что в бывшей Ассоциации деятелей изобразительного искусства много художников, которых они, нацисты, хотели бы видеть в своих рядах... Я и поныне испытываю глубочайший стыд при мысли, что подавляющее большинство художников действительно пошло на мировую с палачами... Да, к

сожалению, мы не раз наблюдали такую метаморфозу: не успеешь оглянуться, как художник, разделявший наши взгляды, уже изменил себе и партии»³⁹. В подобного рода метаморфозах нет ничего удивительного: для художника естественно включаться в ту культуру, носителем которой он является, и немецкие художники-реалисты, за неимением в Германии культуры социалистического реализма, вопреки своим политическим взглядам предлагали себя на службу национал-социализму. Сходная ситуация возникла и в Советской России после 1922 года, когда представители бывшего «буржуазного реализма», после того как этот самый реализм был объявлен официальным языком социалистического искусства, превращались из противников в вернейших слуг нового режима. С другой стороны, сторонники авангарда — твердокаменные большевики, ленинцы, революционеры — были выброшены за борт, а в Германии предтеча экспрессионизма Эмиль Нольде — убежденный член национал-социалистической партии, — был тем не менее отвергнут гитлеровским режимом и его работы нашли место на выставке «дегенеративного искусства». И в Германии, и в России спор шел уже не об идеологии с ее высокими материями — идеология была уже создана, утверждена и воплощена в личностях фюрера и вождя; вопрос заключался теперь лишь в языке, на котором утвердившаяся тоталитарная идеология могла бы наиболее эффективно выразить себя.

4. ЯЗЫК ТОТАЛИТАРИЗМА

При всем сходстве административных, идеологических и организационных форм манипулирования искусством при разного рода диктаторских режимах, тоталитаризм ни в чем не проявляет свою природу с такой кристальной ясностью, как в языке, на котором он говорит через рупор своего искусства. Этот язык

детерминирован той главной функцией, которая отводится искусству в системе тоталитарного государства — функцией пропаганды и воспитания масс в духе конкретной идеологии — коммунистической, фашистской или нацистской. Политическая агитация и пропаганда есть исходный пункт и конечная цель всякого тоталитарного искусства; ими же определяются и конкретные — всегда сходные — формы его социального существования.

Еще в «Майн Кампф» Гитлер подробно разработал теорию и практику языка пропаганды: «Способность восприятия у масс очень ограничена и слаба. Принимая это во внимание, всякая эффективная пропаганда должна быть сведена к минимуму необходимых понятий, которые должны выражаться несколькими стереотипными формулировками... Самое главное... — окрашивать все ваши контрасты в черное и белое»⁴⁰. Изобразительный язык искусства всегда оказывался идеальным орудием такого рода пропаганды: бронзой монументов, красками росписей, типографским шрифтом плакатов он способен на улицах и площадях, в домах и музеях тысячекратно повторять неспособным массам стереотипные формулировки, окрашенные в черно-белые контрасты. Именно с этого начинается художественная практика при всяких тоталитарных режимах.

Первым и единственным позитивным мероприятием советской власти в первые годы ее режима (не считая, конечно, всякого рода запретов и ликвидаций) было постановление Совета Народных Комиссаров «О постановке памятников великим людям революционной и общественной деятельности» (июль 1918), положенное в основу так называемого ленинского плана монументальной пропаганды, от которого официальные историки в СССР и по сей день ведут отсчет развития советского искусства. Монументы дуче, памятники героической борьбы за фашизм уже с середи-

ны 20-х годов стали основным жанром итальянской скульптуры. И первой постройкой нового режима в Германии был памятник павшим в нацистском движении, торжественно открытый уже 9 ноября 1933 года. За ним последовало целое наводнение мемориалов, обелисков, кладбищ-памятников и даже особых «замков мертвых», призванных не только внушать народу почтение к режиму, но и вызывать ненависть к его врагам. В апреле 1933 года, «по примеру» ахрровцев, деятели «Боевого союза за немецкую культуру» открывают в Брауншвейге первую передвижную выставку, призванную донести до широких народных масс новый эстетический идеал тоталитаризма.

Этот идеал с развитием тоталитарных режимов перемещается по шкале исторического времени. Если при Ленине идеал подлинной социалистической культуры смутно маячил где-то в социальных далах, то при Сталине и Гитлере он перенесся с заоблачного будущего в сиюминутное настоящее. Тысячелетний Рейх и Страна Победившего Социализма объявили себя высочайшей и окончательной вершиной в развитии всего человечества, а все остальное — злостными врагами своих достижений. «Впервые за многие столетия художественный идеал и действительность оказались не в противоречии друг с другом»⁴¹, «ибо никогда прежде не было эпохи, когда бы историческая действительность в своей *основе* была бы прекрасной»⁴².

Теория «тождества идеала в искусстве и действительности», придавшая столетней давности доморощенным идеям Чернышевского статус основного эстетического закона, оформилась на страницах советской печати в последнее десятилетие сталинской эпохи, но с самого начала эта идея лежала в основе практики соцреалистического и нацистского искусства. Это означало, что достаточно выбрать в «прекрасной в своей основе» действительности наиболее типичные черты и точно воспроизвести их, чтобы автоматически соз-

дать прекрасное произведение искусства. Черты эти были тоже подробнейшим образом разработаны в официальных трудах по искусству: «Мы называем прекрасным наше социалистическое общество, не знающее угнетения человека человеком, мы называем прекрасными героические подвиги наших людей, мы называем прекрасной нашу любовь к социалистической Родине: ...с другой стороны, все пережитки капитализма в нашей стране и в сознании людей мы называем и имеем право называть безобразными, отвратительными... отвратителен империализм с его военными авантюрами и человеконенавистнической идеологией, безобразны продажные «деятели» буржуазной политики, прекрасна борьба народов за свою свободу и счастье»⁴³. В перевернутом виде точно такая же «эстетика» заявляет о себе на каждой странице нацистских изданий.

Теоретики советского и нацистского искусства много сил потратили на доказательство независимости его художественного идеала от всех прежних эстетических категорий и его прямой связи с категориями внеэстетическими. Они утверждали, например, что эстетическому идеалу советского искусства «чужды отвлеченно-формалистические нормативы, которые лежали в основе классицистических идеалов прошлого. Не в художественной норме идеал социалистического реализма, а в реальной практической перестройке жизни... У советского искусства нет иных целей, кроме целей народа, других идеалов, кроме идеалов большевистской партии. Поэтому наиболее прекрасным оказывается то художественное произведение, в котором с наибольшей полнотой выражена борьба народов под руководством партии за идеалы коммунизма, которое само, будучи проникнуто духом большевизма, зовет людей к героическим подвигам во имя блага социалистической Родины»⁴⁴. И в унисон советскому теоретику (Г. А. Недошивину) Роберт Беттхер — глава худо-

жественного образования в нацистской Германии — утверждает, что «искусство не должно прежде всего заботиться о художественной форме; формальные признаки не могут стать важными факторами в его развитии», что «оно требует глубочайшего проникновения в содержание», что функция его — «быть социальным цементом», «средством победы в классовой борьбе» под руководством партии национал-социализма, а для этого «должен быть ликвидирован разрыв не только между ученым-искусствоведом и художником, но и между художником и народом: художник должен стать слугой народа»⁴⁵. На практике это выразилось в подмене художественного содержания темой, требующей для своего воплощения правильно выбранного сюжета, в котором взятые из самой жизни фигуры и предметы вступали друг с другом в предписанные идеологией отношения: под требованием единства формы и содержания в художественном произведении тоталитаризм всегда понимает лишь единство сюжета и идеологии.

Язык искусства при тоталитаризме всегда зиждется на трех китах: краеугольный камень его практической эстетики — теория «тождества идеала в искусстве и в действительности»; его цель — пропаганда этой «прекрасной в основе» действительности; его творческий метод — «отражение этой действительности в формах самой действительности». И чем прекраснее выглядит эта действительность в резолюциях и указах правящих партий, тем более требует она своего художественного утверждения на вершине развития всех времен и народов, тем менее нуждается это утверждение в каких бы то ни было формах и стилях, почерпнутых не в ней самой. Замкнутое в теории, цели и методе на этой иллюзорной действительности, искусство постепенно утрачивает всякие одеяния культуры, и его творцы, подобно мудрецам из свифтовской академии прожектеров, начинают говорить на

чистом языке вещей и предметов, прикрывая постыдную наготу его бескультурья лишь фиговым листком национальной традиции.

«Прекрасная в своей основе», действительность при тоталитаризме не рассматривалась, однако, как однородно-прекрасная: в разных ее пластах заключались неодинаковые по своей ценности залежи художественного материала. «Среди всего богатства всего материала жизни первое место занимают образы наших вождей Ленина и Сталина»⁴⁶. Это в России. В Германии, естественно, это место отводилось Гитлеру. Поэтому «первой и важнейшей задачей художников объявлялось «вылепить, изваять, запечатлеть в монументальных полотнах, сохранить для грядущих поколений гигантскую фигуру вождя»⁴⁷. Причем образ этот не ограничивается лишь портретными чертами Сталина или Гитлера: «образ вождя раскрывается в исторической действительности, в многообразии ситуаций революционного прошлого и настоящего, в общении с людьми, с массой»⁴⁷. Отсюда другим главным видом искусства при тоталитаризме стало изображение подвигов и свершений вождей на их пути к власти, всенародное процветание под их мудрым руководством и восторженная реакция масс на плоды этого руководства. По терминологии марксистско-ленинской эстетики, этот вид искусства обозначается как «тематическая картина». Остальной ассортимент предметов и аспектов действительности был распределен — строго по иерархии — между менее важными видами: портретом, бытовым жанром, пейзажем и, наконец, натюрмортом.

Таким образом, искусство при тоталитаризме вдруг заговорило на языке тех самых жанров, которые были в той же последовательности установлены еще европейскими художественными академиями на заре их существования (в XVIII веке) и похерены вместе с ними как нечто несущественное для искусства в нашем

столетии. Ведущими жанрами, как и в XVIII веке, стали «придворный портрет» и тематическая или историческая картина, последнюю неудачу в области которой претерпел еще в 1867 году Эдуард Манэ при работе над «Расстрелом императора Максимилиана» (с тех пор этот жанр передвигается на периферию европейской художественной культуры, где и прозябает вплоть до появления тоталитарных режимов). Однако, в отличие от академических времен, жанры эти уже не могли существовать автономно друг от друга, они должны были быть пронизаны сверху донизу тематизмом, т. е. служить фоном для тех же изображенных подвигов и свершений. Любой запечатленный мотив включался в общий радостный гимн нацизму или социализму, поэтому жанровые сцены приобретали высокоидейные названия типа «слушают фюрера» или «они видели Сталина», портрет конкретного человека превращался в образ «сталевара», «комсомолки», «мальчика из гитлерюгенд», уголок природы становился «просторами нашей родины» или «немецкой землей», местом, «где налаживается советский транспорт» или «выковывается германская индустрия», натюрморт — «плодами колхозного изобилия» и т. д. И, по крайней мере в советской прессе, не раз раздавались обвинения в «безыдейности» таким мастерам, как Кончаловский, которые пишут никому не нужные фрукты и сирени, отвлекая тем самым сознание масс от более актуальных проблем.

Иерархия жанров определяла и иерархию художников. Первые места в художественной жизни сразу же заняли создатели образов вождей — придворные портретисты Гитлера и Сталина: в России — А. Герасимов, Томский, Вучетич, В Германии — Торах, Бреккер, Книрр, ставшие подлинными диктаторами в области искусства. За ними следовали исторические или тематические живописцы, далее — жанристы, пейзажисты и т. д. В годы войны в первые ряды этой

иерархии вышли баталисты. В 1941 году по распоряжению Гитлера при отделе пропаганды Верховного командования был создан «Эшелон изобразительных искусств», включавший в себя около 130 военных художников и графиков. В СССР аналогичная организация была создана в 1934 году — Студия военных художников им. Грекова. И те и другие бригадами выезжали на фронт, а по возвращении писали монументальные полотна подвигов и героизма, отличающиеся в большинстве случаев лишь солдатскими формами и марками оружия. В соответствии с этим «табелем о рангах» идеология тоталитаризма облачила искусство в казенные униформы жанров, объединив их в жестко иерархизованную структуру, точно отражающую систему иерархии ценностей этой идеологии.

Жанры, подчиненные тематике, темы, разбитые на сюжеты, — такова структура изобразительного искусства при тоталитаризме. В СССР и по сей день истории искусства пишутся по принципу развития отдельных жанров, при котором перечисление признаков приближения того или иного жанра к своему жизненному прототипу позволяет избежать собственно художественных вопросов развития⁴⁸. Но главное удобство такого рода структуры заключается в том, что сам объект отражения искусства — действительность — при этом атомизируется, распадается на составные элементы, объединяемые не по законам художественного постижения их внутреннего содержания, а по идеологическим схемам, спускаемым сверху, т. е. по темам и сюжетам. Утверждая на словах примат содержания как основы реалистического искусства, тоталитарная эстетика на деле подменила его одним из элементов художественной формы — сюжетом — и требовала его раскрытия «в формах самой жизни», поощряя максимальное приближение к ним и строго карая за малейшие отклонения от последних. Искусство тоталитаризма заговорило на языке форм,

вырванных из контекста реальной жизни и современной культуры, о вещах, имеющих такое же отношение к действительности, как ломящиеся от изображенного изобилия столы колхозных праздников к реальному голоду в советской деревне тех лет. Искусство XX века не знало, пожалуй, столь жесткого формализма — в самом строгом и точном смысле этого слова, как при тоталитарных режимах.

Эта структура подчинила себе и всю официальную художественную жизнь в СССР, Германии и Италии после 1936 года (неофициальные формы деятельности к этому времени уже были либо выкорчеваны с корнем, либо ушли в глубокое подполье). Основная масса художников работала над государственными заказами на заданные темы. Из их продукции устраивались большие выставки, всегда приурочиваемые к важным юбилеям и событиям партийной жизни и отражающие в своей тематике эти события: «Индустрия социализма», «Кровь и почва», «XX лет Красной Армии», «Пути Гитлера», «Образ Сталина в искусстве», «Народ слушает речь дуче по радио» (в Италии темы эти задавал сам Муссолини) и т. д. Как меры пресечения модернизма, так и средства поощрения искусства, «помогающего строить социализм» или «ответственного за дух народа», при Сталине, Гитлере и Муссолини были одинаковы. В 1937 году в Германии вышел указ о Государственных премиях для художников, через год аналогичные премии — «Премии Кремона» — были учреждены в Италии, советские художники впервые удостоились звания Сталинских лауреатов в начале 1941 года. При распределении этих премий главную роль играли, конечно, не художественные качества произведений, а их тематика.

Апробированный набор тем, сюжетов и предметов, с одной стороны, и характер национальной традиции, с другой, определяли сходство и различия языка искусства в разных тоталитарных государствах.

Что касается его «словарного запаса», т. е. все того же набора тем и предметов, то сходство было здесь почти полным, а различия ограничивались лишь некоторыми этнографическими деталями, специфическими чертами локального пейзажа и прочими морфологическими признаками. С традицией же дело обстояло несколько сложнее.

Спускаясь по ступеням мировой культуры к ее внешненациональным истокам, официальное советское, нацистское и фашистское искусство находило свой идеал в античности: по Марксу — в «неповторимой эпохе детства человечества», по Гитлеру — в «непревзойденном образце для подражания». «Посмотрите на Мирона и вы поймете, сколь прекрасен был некогда человек в своей телесной красоте, и о прогрессе в искусстве можно будет говорить только тогда, когда мы не только добьемся такой же красоты, но по возможности и превзойдем ее»⁴⁹. Поэтому копирование античных слепков стало существеннейшей частью обучения в советских и нацистских художественных учебных заведениях, а солидный процент скульптурной продукции в обеих странах состоял из обнаженных атлетов, изваянных по законам хиазма, золотого сечения и т. д. Эстетические двойники — Манизер в СССР и Климш в Германии сделали блестящие карьеры и выбились в первую пятерку официальных скульпторов своими идеализированными портретами и элегантными ню. Энергичные усилия подобного рода мастеров дали возможность Гитлеру в его речи на открытии Выставки немецкого искусства в Мюнхене в 1937 году с удовлетворением отметить, что «никогда еще человечество в своих внешних проявлениях и по ощущению не подходило ближе к классической античности, чем сегодня».

К собственной национальной традиции отношение у идеологов тоталитаризма было не намного более терпимым, чем к мировой культуре. Они препариро-

вали ее по образу и подобию самих себя, рассматривая ее лишь с точки зрения подхода к искусству соцреализма или национал-социализма, и она представлялась им в виде как бы семейного альбома с фотографиями собственных именитых предков. Все же, что не имело прямого отношения к этой генеалогии, в том числе и подавляющая часть собственной национальной культуры (древнерусская иконопись и вся содержательная сторона немецкой готики, Босх и Эль Греко, Врубель и Либерман, не говоря уже об импрессионизме и обо всем, что за ним последовало), объявлялось ими искусством буржуазным, идеалистическим или еврейским. Точно в соответствии с ленинским тезисом: «...мы из **каждой** национальной культуры берем **только** ее демократические или социалистические элементы, берем их **только и безусловно** в противовес буржуазной культуре»⁵⁰. Апелляция к традиции была нужна им лишь затем, чтобы авторитетом больших имен подтвердить универсальность в качестве художественного языка своего описательного реализма и объявить вандалами своих противников. Творчество русских художников второй половины XIX века, прежде всего передвижников, было объявлено «высочайшим образцом в живописи досоциалистического общества, поднявшимся на такую небывалую высоту, на которую искусство не поднималось ни в одной другой стране мира ни прежде, ни в это время»⁵¹. Эту высоту превзошли лишь художники социалистического реализма — прямые наследники передвижников, — отбросив их социальный критицизм (ибо в советской действительности социальные противоречия были якобы уже преодолены) и развив описательность их реализма, их национальный пафос, их изолированность от мировой художественной культуры. С не меньшей любовью к такого рода искусству относился и Гитлер, по словам которого, «в XIX веке величайшие шедевры в каждой области были сделаны нашими немцами»⁵². Под «величайши-

ми шедеврами» он, а за ним и нацистские искусствоведы, подразумевали в первую очередь произведения Менцеля, Дефреггера, Рунге и прочих немецких художников-реалистов второй половины XIX века. Если они и отличались от русских передвижников, то только тематикой своих работ, но никак не их художественным языком.

Но были и различия. При Гитлере в сферу арийского национального наследия включался и романтизм, под знаком которого шло развитие немецкого искусства первой половины прошлого столетия, а также неоклассицизм и символизм, чьи тенденции получили распространение в конце XIX — начале XX века. Включался сюда и немецкий Ренессанс (Дюрер, Крахны, Альтдорфер и др.), причем педалировался его гипертрофированный интерес к материальной поверхности вещей и начисто отменялись духовные, философские, религиозные основы этого искусства.

Если Гитлер точкой отсчета дегенерации немецкого искусства считал 1910 год, то для теоретиков социализма расцвет национальной живописной школы заканчивался на 80-х годах XIX века. Произведениями передвижников, Репина и Сурикова обрывались экспозиции Государственной Третьяковской галереи в Москве и Государственного Русского музея в Ленинграде, и даже Левитан в последние сталинские годы вызывал подозрения своей якобы склонностью к импрессионизму, а висящие в запасниках картины Серова показывались студентам-искусствоведам как образцы отхода от священных принципов реализма в сторону формализма и декадентства.

Эти несовпадения в понимании национальной традиции придавали разную стилистическую окраску лишь периферии официального искусства разных тоталитарных государств, жестко структурированного по принципу тем и жанров. Романтические портреты К. Шторха, беклиновская символика К. Липольда,

ходлеровский монументализированный аллегоризм А. Кампфа, стилизованные под Альтдорфера исторические батальные сцены В. Пейнера, пейзажи в духе Рихтера, Кранаха, Брейгеля — все это составляло большой процент среди экспонатов официальных немецких выставок. Неоклассицизм Гильдебрандта и Ганса фон Маре откладывал стилистический отпечаток на живопись и скульптуру, решаемый в ключе то монументальной героики, то слащавой жеманности. Непревзойденным мастером этого жанра был любимый Гитлером Адольф Циглер.

Но по мере восхождения по иерархической лестнице тоталитарного искусства — от натюрморта к пейзажу, от портрета к бытовому жанру — эти стилистические расхождения отпадают, и на вершине лестницы, в эпицентре апофеоза — в тематической картине, в образах вождей и в монументальной скульптуре — язык тоталитарного искусства достигает абсолютного тождества. «В центре национал-социализма должно стоять искусство... здоровое, сильное, в котором сочетаются творческая воля с внутренней силой и внешней гармонией сильного характера. Этот идеал красоты ни в коем случае не исключает многообразия личных темпераментов...»⁵³, — требовал Розенберг. Аналогичные требования предъявляли к тематической картине и советские идеологи: «Это требует, во-первых, героической трактовки темы, во-вторых, массовой сцены, многофигурной композиции, сюжетной и повествовательной насыщенности произведения, единства драматического и психологического начала, общей монументальности и величественности картины»⁵⁴. Все это приводило на практике к культу монументального, к вакханалии масштабов и размеров, к гигантомании, достигшей своей кульминации в циклопических изваяниях Сталина на Волго-Донском канале и в неосуществленных проектах Тораха (по хорошо известному в Германии анекдоту: пришедший в мастерскую Тораха

посетитель на вопрос «где мастер», получил ответ: «Профессор — в ухе лошади»).

Первая встреча советского и нацистского искусства состоялась на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Павильон СССР был украшен огромным монументом Мухиной «Рабочий и колхозница», перед павильоном Германии возвышалось «Товарищество» Тораха. «Стоящие рядом друг с другом полные сил могучие фигуры, превышающие натуральный размер, ...идущие нога в ногу, объединенные общей направленностью воли, устремлены вперед, уверенные в себе и уверенные в победе»⁵⁵, — это описание, одинаково применимое как к той, так и к другой скульптуре, включает в себе формулу эстетического идеала тоталитарного искусства. Максимально приблизившиеся к этому идеалу оба эти монумента стали классическими произведениями советского и нацистского искусства (скульптура Мухиной считается таковым и сейчас).

Что касается розенберговского «многообразия личных темпераментов» или, по советской терминологии, «богатства творческих индивидуальностей внутри единого метода социалистического реализма», то на высших ступенях иерархии официального искусства дело сводилось лишь к нескольким эмоциональным интерпретациям уже созданной живописно-пластической формулы. Идеологическая пропаганда требовала апелляции не только к категориям рассудка, но и к элементарным коллективным эмоциям и инстинктам: ненависти, страху, жалости, сентиментальности, любви к природе, чувству материнства и т. д.

Как и в случае с жанрами, область эмоций подвергалась строгой регламентации и дифференцировалась по темам. Главная тема — «образ вождя» — подчинялась четко разработанной иконографии, по которой одно историческое лицо выступает в разных установленных ипостасях, требующих каждая своей композиционной схемы и эмоциональной трактовки.

Эти схемы и трактовки сводились примерно к следующим.

«Ленин/Сталин/, Гитлер — вождь/фюрер». Здесь историческое лицо выступает в своей наиболее абстрактной, символической сути, что требует монументальности решений, величественной трактовки, строгих, обобщенных форм, выражающих надчеловеческий, внеличностный характер образа.

«Вождь — вдохновитель и организатор побед». Эта схема требовала элемента экспрессии, языка жеста, порыва, цветового или пластического контраста, передающих волевою энергию, исходящую от вождя и долженствующую заразить и подчинить себе зрителей.

«Вождь — мудрый учитель». К общей обобщенно-величественной трактовке примешивался элемент психологизма, указывающего на ум, проницательность, простоту, человечность, скромность и прочие приписываемые вождям качества.

«Вождь — друг детей» (с ребенком на руках; варианты — друг молодежи, колхозников, воинов и пр.). В предыдущую схему подмешивались жанровые детали, эмоциональный акцент переносился в сторону умильной просветленности.

Эмоциональный диапазон подобного рода вещей простирался от величавой героики с оттенком суровости эстетических близнецов Томского-Тораха до агрессивного эмоционального напора Вучетича-Брекера, смягчаемых в промежуточных вариантах слащавыми сентиментами Манизера-Климша. Существовали еще бесчисленные изображения сцен из жизни вождей, но они шли уже по другому — более низкому — разряду бытового жанра.

В области тематической картины положительные эмоции сочетаются с отрицательными в соответствии с формулой — «чтобы полюбить человека, надо ненавидеть его врагов». Любовь только через ненависть и ненависть через любовь — такова «диалектика» язы-

ка тоталитаризма. Поэтому даже в изображениях мирного труда всегда присутствует надрыв отчаянной схватки с невидимым врагом, а зрелища трудовых подвигов и военного героизма перемежаются с бесчисленными сценами допросов, расстрелов, военных разрушений и уничтожения врагов, ибо, оказывается, «советский человек испытывает чувство эстетического наслаждения, созерцая зрелище неотвратимо надвигающегося возмездия». (Очевидно, «германский человек» мало чем отличался в этом отношении от «советского».) На этих эмоциях и специализировалось, в соответствии с «личным темпераментом», все многообразное богатство советских и нацистских художников. Впрочем, с развитием тоталитаризма все больше падает спрос даже на такое регламентированное индивидуально-личное выражение. В послевоенном советском искусстве широко распространился и всячески поощрялся так называемый бригадный метод изготовления тематических картин, при котором над одним полотном трудилась группа из 5-10 человек, а потом всем скопом получала Сталинские премии за продукт своего труда. Здесь искусство тоталитаризма осуществляло (конечно, как и все остальное — в извращенном виде) еще одну мечту революционного авангарда — мечту о коллективном искусстве.

С падением Гитлера распалась структура национал-социалистического искусства. Правда, Йозеф Торрах вскоре после войны создал в своей манере символическую скульптуру «Искусство, сбрасывающее оковы», но большого успеха не имел. В гораздо более благоприятных условиях оказались его советские коллеги. Скульптор Томский, переквалифицировавшийся с образа Сталина на ленинскую тему, стал три года назад президентом Академии художеств СССР. Социалистический реализм после смерти Сталина не изменил своей тоталитарной природы, не отказался ни от одной из своих основных догм. Размываются его окра-

ины, расширяется периферия, но в своем ядре он сохраняет ту же организационную структуру и языковую лексику, что и при Сталине. В остальном же мире бездуховный описательный реализм отодвинут сейчас в еще более отдаленные сферы современной художественной культуры, чем те, где он находился в начале 30-х годов. Но он существует, и его представители ждут своего нового звездного часа, чтобы предложить услуги любому тоталитарному режиму, в какой бы части земного шара он ни появился.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Недавно я беседовал с аспирантами одного английского университета. Разговор шел о Китае. Молодые социологи с одобрением рассуждали о новом, бескровном пути к социализму Мао Цзэ-дуна. Я позволил себе усомниться в травоядности новой тоталитарной диктатуры.

— Но откуда вы знаете? У вас же нет информации, — резонно возразили мои оппоненты.

Да, информация у нас одинаковая. Но посмотрите на эти картинки (здесь же, в большом университетском холле, висели китайские плакаты и репродукции с картин, где улыбающийся Мао приветствовал с трибуны восторженные толпы народа). Ведь четырехтысячелетняя художественная традиция Китая никогда не знала ни масляной живописи, ни тематической картины, ни портрета в европейском смысле этого слова, и даже сама форма картины, висящей на стене, была глубоко чужда ее национальному духу. А теперь лишь по разрезу глаз да по серым униформам можно отличить Мао Цзэ-дуна от Сталина, а приветствующих его китайцев от советских трудящихся или немецких штурмовиков. И когда я вижу все это, во мне пробуждаются агрессивные реакции советского человека и хочется крикнуть: осторожно — реализм!

КОММЕНТАРИИ

¹ Н. Lehmann. Haupt. Art under a Dictatorship. New York, 1954, p. 294.

² С. Третьяков. Откуда и куда? — «ЛЕФ» №1, 1923, стр. 193.

³ В. Маяковский. Капля дегтя. — «Манифесты и программы русских футуристов». Мюнхен, 1967, стр. 158-160.

⁴ Н. Чужак. Под знаком жизнестроения. — «ЛЕФ» №1, 1923, стр. 36-38.

⁵ О. М. Брик. От картины к ситцу. — «ЛЕФ» №2 (6), 1924, стр. 27.

⁶ Коммунистов-футуристов. Термины «коммунист» и «футурист» почти отождествлялись и на страницах «Искусства коммуны», а позже «ЛЕФа».

⁷ «Искусство коммуны» №8, 26 января 1919 г.

⁸ «ЛЕФ» №1, 1923, стр. 9.

⁹ М. Левилов. О футуризме необходимая статья. — «ЛЕФ» №2, 1923, стр. 135.

¹⁰ Marinetti. Beyond Communism (1920). — «Marinetti selected writings». London, 1972, p. 153.

¹¹ Ibid., p. 155.

¹² С. Третьяков. Откуда и куда?... стр. 199 и 202.

¹³ Б. Арватов. Утопия или наука? — «ЛЕФ» №4, 1924, стр. 19.

¹⁴ S. Lissitzky-Kupper. El Lissitzky; life, letters, texts. London, 1968, p. 340.

¹⁵ В. Кандинский. Ступени. Москва, 1918, стр. 49.

¹⁶ Mark Shagall. My Life. London, 1965, p. 109-10.

¹⁷ Вот далеко не полный список крупнейших левых художников, покинувших Россию до 1928 года: В. Кандинский, М. Шагал, А. Певзнер, Н. Габо, А. Экстер, Ю. Анненков, З. Серебрякова, К. Сомов, В. Баранов-Россине, М. Добужинский, А. Бенуа, К. Редько, С. Чехонин, Р. Фальк и др. К этому следует добавить художников, которые к моменту революции оказались за пределами России и не вернулись на родину: Л. Бакст, М. Ларионов, Н. Гончаров, О. Цадкин, Архипенко и др. Из авангардистов только Н. Альтман в 1928 году покинул страну, но и он вернулся обратно в 1935 г.

¹⁸ Цит. по: Umberto Silva. Kunst und Ideologie des Faschismus. Milan, 1973, S. 133.

- ²⁰ E. R. Tannenbaum. The Fascist Experience. London - New York, 1972, p. 261.
- ²¹ Е. А. Кацман. Как создавалась АХРР. — «АХРР. Сборник воспоминаний, статей, документов». Москва, 1973, стр. 81.
- ²² Сборник «Советское искусство за 15 лет». Москва, 1933, стр. 310.
- ²³ В. В. Горяинов. Современное искусство Италии. Москва, 1967, стр. 163.
- ²⁴ «Die Kunst im Dritten Reich», 1937, S. 62.
- ²⁵ Сборник «Борьба за реализм в искусстве 20-х годов». Москва, 1962, стр. 158.
- ²⁶ «Советское искусство за 15 лет»..., стр. 390.
- ²⁷ «АХРР. Сборник воспоминаний, статей, документов». Москва, 1973, стр. 90-93.
- ²⁸ Литературное наследство. В. И. Ленин и А. В. Луначарский, переписка, доклады, документы. Москва, 1971, стр. 46.
- ²⁹ К. Малевич. О музее. — «Искусство коммуны», 23 февраля 1919, №12.
- ³⁰ Leon Trotsky. Literature and Revolution. New York, 1957, p. 12.
- ³¹ Литературное наследство..., стр. 714.
- ³² Цит. по: W. Hoftmann. Painting in the Twentieth Century. London, 1956, p. 305.
- ³³ Цит. по: H. Lehmann. Haupt..., p. 79.
- ³⁴ Hitler's Table Talk. 1941-44. London, 1953, p. 370-371.
- ³⁵ Ibid., p. 603.
- ³⁶ «Die Kunst im Dritten Reich», 1938, Nr. 1, S. 4.
- ³⁷ «Искусство», 1937, №6 (июль), стр. 8.
- ³⁸ «Искусство», 1938, №4.
- ³⁹ Ганс Грундиг. Между карнавалом и великим постом. Москва, 1963, стр. 184-185.
- ⁴⁰ Hitler. Mein Kampf. London, 1939, p. 159.
- ⁴¹ «Вопросы теории советского изобразительного искусства». Москва, 1950, стр. 14.
- ⁴² Там же, стр. 92.

- ⁴³ Там же, стр. 81.
- ⁴⁴ Там же, стр. 93-94.
- ⁴⁵ Цит. по: H. Lehmann. Haupt..., p. 176.
- ⁴⁶ «Вопросы теории...», стр. 62.
- ⁴⁷ Это и последующее изречения взяты из журнала «Искусство». С таким же успехом их можно было бы почерпнуть из любого номера «Искусство Третьего Рейха».
- ⁴⁸ «Вопросы теории советского изобразительного искусства»..., стр. 93-94.
- ⁴⁹ «Die Kunst im Dritten Reich», 1938, Nr. 8, S. 232. (Речь Гитлера на открытии Большой немецкой выставки в Доме немецкого искусства в Мюнхене.)
- ⁵⁰ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 20, стр. 16.
- ⁵¹ «Вопросы теории советского изобразительного искусства»..., стр. 29-30.
- ⁵² Hitler's Table Talk..., p. 704.
- ⁵³ «Die Kunst im Dritten Reich», 1938, Nr.1, S. 4.
- ⁵⁴ «Вопросы теории...», стр. 36.
- ⁵⁵ «Die Kunst im Dritten Reich», 1941, S. 103.

Читайте в восьмом номере «Континента»

прозу

**Б. Ямпольского, Вас. Гроссмана,
И. Гохмана, В. Марамзина,
Г. Свирского**

стихи

**И. Бродского (переводы) и
Н. Горбаневской**

статьи

**З. Стыпулковского,
Г. Герлинг-Грудзинского,
Е. Терновского**

Писатель о писателе

Виолетта И в е р н и

«Соцреализм с человеческим лицом»

Способность к двоемыслию, выведенная в инкубаторе размером в одну шестую земной суши, давно принята как факт человеческой истории, социологии и психологии, и, быть может, наступило время внимательного изучения и научного определения этого свойства.

В Советском Союзе название ему уже дано — известно, что советский человек обладает особой, советской, гордостью и особым, советским, патриотизмом. Им создана также особая, советская литература, соединившая классицизм с романтизмом, где романтизм существует как метод построения и разработки сюжетной коллизии и системы образов, а классицизм лежит в основе проблематики, и фундаментом конфликта становится борьба между чувством и долгом с обязательной победой долга у положительного героя.

Основной поток советской литературы чаще всего привлекает внимание как реальное воплощение психологической аномалии, о которой шла речь выше. Однако иногда в официальной литературе возникают имена писателей, деятельность которых началась до проведения эксперимента по изготовлению послушных мозгов и воображений, которые рождены и воспитаны были пусть не в идеальном, но несомненно в свободном обществе. Именно к этой группе писателей принадлежит Валентин Катаев.

Творчество Катаева по внешней видимости органично. В 1936 году, под самый разгар кровавого

пиршества, Катаев выпустил известную теперь каждому советскому школьнику повесть «Белеет парус одинокий», и никакие капризы советской истории не помешали ему закончить это главное свое произведение — уже тетralогию под названием «Волны черного моря» — в самом начале шестидесятых годов. И плавлен ход его повествования, и светел в нем общий тон и ничто не наводит нас на мысль о том, что в мире, описываемом Катаевым, возможна трагедия.

Но вот в течение шестидесятых годов выходят одна за другой три книги Катаева: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик», — и в них вырисовывается столь разноцветная (во всяком случае, двухцветная) фигура автора, что мы получаем возможность говорить о «феномене Катаева», представляющем несомненный интерес и в плане социальном, и в плане художническом, и в плане психологическом (психологии творчества).

«...Наше русское — мое — поколение не было потеряннм. Оно не погибло, хотя и могло погибнуть. Война его искалечила, но Великая революция спасла и вылечила. Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. Только ей одной.

Я сын Революции. Может быть, и плохой сын. Но все равно сын».

Так пишет о себе Катаев в «Траве забвенья». Попробуем не усомниться в его искренности. (Ах как тянет вспомнить пламенный призыв брата Катаева Евгения Петрова и друга его Ильи Ильфа: «Дети, будьте осторожны в выборе родителей!» Но мы — не вспомним. Мы — поверим — не улыбаясь.)

Однако же Катаев позволил себе написать, что его поколение не погибло, что революция спасла его и вылечила! И пишет это он, ученик Бунина, очевидец перманентных чисток, свидетель еженощных исчезновений дальних и близко знакомых, внимательный

наблюдатель, жрец «всесильного бога деталей», — неужели не видел он затравленных, сходящих с ума, спившихся, запутавшихся, предавших себя и других, окаменевших перед наглым, неприкрытым насилием, перед неотступностью своего участия в этом чудовищном спектакле.

Но вот другой Катаев — с его свободно текущей, плавно переплывающей границы жанра прозой, возникающей и живущей легко, почти случайно, так что кажется — если перевернуть страницу, прочитанное исчезнет и никогда уже нигде не найдется — сколько ни ищи; она медлительна, проста, и притягивает, как бесцветная, неуловимо движущаяся морская гладь, которая одна только и властна поймать взгляд в силки и не выпускать, пока не переплавит глаза в соленую воду — свою стихию. И те же неожиданные всплески, вздрагивания: «белый поднос хоккея с движущимися на нем фигурками», водонапорная башня на станции, после боя похожая на флейту: всплеск образа, точного, как выстрел, вздрагивание, перебой медлительного ритма, подобный толчку кардиограммы.

Но самым главным в произведениях Катаева — в особенности в произведениях шестидесятых годов — кажутся нам не сновидения, сцепленные наживо и накрепко с реальностью и фантазией, не явственная устремленность в свое прошлое, к художнической колыбели, к старой культуре, от которой Катаеву не отказаться, ибо она — его естество; не тщательная попытка найти равновесие и равнодействие двух раздирающих его миров — свободного и подсоветского, а отчетливое непонимание автором того факта, что эта его проза при всех реверансах в сторону революции и советской власти как раз этой власти чужда, враждебна и опасна.

Что может быть оскорбительнее для идеологии, претендующей владеть человеческой душой, как владеют мебелью и одеждой, чем признание писателя,

что он «...обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем. Я думаю, что это свойство каждого человека»? Этого вполне довольно, чтобы ускользающая за решетку дозволенного душа стала мишенью.

Но вскоре после этого — плавно, без запинок, не по лестнице ступенчатой, а словно по зимней накатанной горке — о Бунине: «...променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости...»; и странное — без единого намека — умолчание об истинной причине смерти Маяковского; и развязное обхождение с именами Мандельштама и Бабеля, которые будто бы не исчезли в безымянной лагерной яме, а сидят в соседней комнате, попивая вино, а Катаев, ласково и снисходительно улыбаясь, благодарит революцию за их счастливые судьбы, — вся эта жуткая фантазмагория, варево из драгоценных крупниц неумирающего искусства, замешанных на отраве неумирающего рабства, — делает Катаева жалким почти неожиданно для читателя. Это и есть основное ощущение, которое испытываешь при чтении Катаева: жалость, смешанная с восхищением, удивлением и стыдом. Однако при знакомстве с последним произведением Катаева — пьесой под названием «Фиалка» — из тройной приправы к жалости стойко исчезает восхищение и заменяется почти неприлично острым любопытством, какое способно вызвать разве что распахнутое окно нижнего этажа.

Доверяя вкусу хорошего писателя Валентина Петровича Катаева, я сначала восприняла заглавие как ироническое. Прочтя пьесу, я убедилась в том,

что Катаев меня не приглашает улыбаться названию, что это слово — не просто имя симпатичного цветка (которое, однако, став названием пьесы, явственно отдает пошлостью), но что более того — это подпольная партийная кличка героини пьесы Екатерины Герасимовны Новоселовой.

Действие происходит в наши дни, так что Екатерине Герасимовне около восьмидесяти лет, однако и для времен шестидесятилетней давности, когда она, будучи молоденькой курсисткой и революционеркой-подпольщицей, получила эту кличку, очевидна была пригодность подобного имени для поклонницы Чарской, или для маленькой потаскушки, но никак не для серьезной девушки из хорошей семьи, да еще с наганом у пояса, который, наверное, и в дело пускать приходилось. Этой смесью пошлой сентиментальности и жестокости и характеризуется героиня пьесы. Но Катаев утверждает, что Екатерина Герасимовна — человек с твердым и гордым характером, страстный и сильный, — это тот образ, который Катаев, по собственному его свидетельству, считает наиболее достойным воплощения в литературе и искусстве, образ положительного героя, рыцаря без страха и упрека, к созданию которого надрывно призывает советская идеология, прищипывая литераторов, не умеющих разглядеть в тумане двоящейся действительности настоятельно необходимый идеал.

Катаев этот идеал изображает в своей пьесе вовсе не потому, что почувствовал шпоры начальственных всадников. Отдадим ему должное — он действует по убеждению. Именно тем его пьеса и интересна. Именно потому она более, чем какое-либо другое произведение современного советского автора, заслуживает ленты с надписью: «официальный документ».

В пьесе три действующих лица: Она — Екатерина Герасимовна Новоселова, Он — ее бывший муж, Иван Николаевич Новоселов, и нянечка — пожилая, из

интерната. Действие происходит в интернате для старых большевиков, который, разумеется, не называется ни богадельней, ни старческим домом. Для того чтобы в такой интернат попасть, надо иметь определенное количество заслуг (количество определяется соответствующими партийными органами и Министерством социального обеспечения), а также большой партийный стаж.

Екатерина Герасимовна больше двадцати лет живет в этом интернате. Она бодрая моложавая старухашка, занимается общественной деятельностью, встречается с молодежью, к революционным юбилеям и праздникам пишет статьи с воспоминаниями, которые ей неизменно заказывают газеты, — короче говоря, живет обычной жизнью заслуженной пенсионерки. Студенты называют ее «бабушка Фиалка».

И вот эта размеренная и радостная, почти счастливая жизнь нарушается визитом бывшего мужа, которого Екатерина Герасимовна не видела лет тридцать.

Когда-то он изменил ей, влюбившись в красивую и распутную молоденькую женщину, но, занимая ответственный пост, он не мог бы развестись с женой, не повредив своей карьере, и тогда он произвел вполне безболезненную для себя операцию: донес на свою жену. Не было пути вернее, чтобы убрать ее с наибольшей быстротой и наилучшей гарантией от упреков и сцен. Ее, естественно, тут же арестовали, а он женился на своей красавице, которой нужно было только его положение и партийный билет: пропуск в царствие земное.

Однако красавица очень быстро поняла, что он — не самое высокое лицо, что есть люди рангом повыше, и она стала изменять Новоселову, устраивать ему публичные скандалы и сцены и, наконец, бросила его, написав предварительно заявление в его партийную организацию с перечислением всех его

злоупотреблений по службе. Новоселова выгнали с работы и исключили из партии, он постепенно опустился, стал жалким нищим стариком, и вот сейчас, почувствовав приближение смерти, разыскал свою бывшую жену (уже вышедшую из лагеря и реабилитированную), чтобы просить ее прощения. Он не знает, что ей давно уже известна история его доноса, но дело в конечном счете не в этом: он приехал, чтобы просить прощения.

В ожидании Екатерины Герасимовны он сидит в вестибюле интерната, а мимо него провозят в кресле парализованного старика, на лице которого неожиданно живым и острым блеском светятся глаза, и в этом старике Новоселов узнает следователя, которому он когда-то самолично и самозабвенно оболгал свою жену.

Этот эпизод, вполне достойный отдельной пьесы или хотя бы сцены, так и остается эпизодом, свидетельствуя нам о трогательном единении бывших жертв и бывших палачей и о признании их заслуг перед партией равными (вспомним об условиях, необходимых для поступления в интернат). Все это Катаев описывает как бы между прочим, как нечто вполне естественное.

Екатерина Герасимовна возвращается к себе и проходит мимо Новоселова, не узнав его. Он тоже не узнает свою бывшую жену. Няньчка ему подсказывает, что вот же она, только что прошла, и он удивлен и растерян.

И так же удивлена и растеряна Екатерина Герасимовна, которой та же вездесущая няньчка (уж очень ей хочется, чтобы все вышло по-хорошему, с добром и прощением) рассказывает, что внизу ждет ее бывший муж, который, вот, почувствовал приближение конца и приехал повидаться и повиниться.

И тогда Екатерина Герасимовна вспоминает

свое знакомство с ним в одном из марксистских кружков, где она читала лекции:

«(От автора). В то далекое время среди ее кружковцев Новоселов выделялся добросовестностью и страшным упорством. Ей казалось, что он «грызет гранит науки» с вдохновением, с глубокой верой в то, что без знаний невозможно сделаться подлинным коммунистом-революционером. Она видела в нем человека из гущи народной, представителя того нового поколения, которое со славой завершит дело, начатое отцами и дедами».

«...Вместе с тем она не могла не заметить, что знания даются ему с большим трудом. Однако она приписывала это наследию «проклятого прошлого». После рабфака она подготовила и протащила его в институт, который Новоселов, хотя и со страшным трудом, но все же кончил; она написала за него дипломную работу. Теперь перед ним открылось поле служебной деятельности, к чему он, собственно, и стремился. К тому времени она уже стала его женой. Насколько он был туп в науках, настолько оказался умелым администратором. Он сразу же обзавелся полезными связями. У него был острый нюх на нужных людей. Он умел находить их, как дичь, с чутьем охотничьей собаки. Требовались новые деятели, и скоро Новоселов сделался директором того самого института, который он с таким трудом окончил. Это была должность скорее хозяйственная, чем ученая, и здесь он был вполне на месте. У него оказался врожденный талант администратора. Он умел повелевать своими подчиненными. Однако у него хватило ума и хитрости, чтобы придать себе некоторый, чисто академический блеск. Он был мастер надевать разные маски. Как всякий примазавшийся, он умел рядиться. Он был ряженный».

(...) «Он делал доклады, которые ему писала она. Впрочем, он никогда слепо не полагался на нее.

Нередко он вносил свои поправки. Недостаточно глубоко проникнув в суть вопроса, но зато в совершенстве владея общими местами, привычными штампами, в совершенстве овладел общественно-политической фразеологией, взятой из газетных статей и Большой Советской Энциклопедии. Это придавало его речам нечто весьма наукообразное, внушающее уважение».

Я привожу эти длиннейшие цитаты, преследуя сразу несколько целей: во-первых, показать, каким языком написана пьеса; во-вторых, дать представление о ее драматургическом стиле (все приведенные выше отрывки — части монологов, из которых состоит вся пьеса и которые произносятся то от лица героев, то от автора — ими же самими); и, наконец, в-третьих — обрисовать черты отрицательного героя словами автора.

Итак, конфликт пьесы — между рыцарем революции и «примазавшимся», который воспользовался плодами революции и извратил самое идею.

Тот факт, что речь идет о супругах, не может не восприниматься символически, и это явно входит в намерения Катаева: пьеса есть не что иное, как попытка изображения в художественной форме судеб революции в России и объяснения некоторых странностей этих судеб. Поэтому малоинтересный сюжет пьесы (в ней есть сюжет, а фабулы нет, ибо нет действия) должен восприниматься не как семейная драма, а как события, рассматриваемые судом Истории.

И оба главных героя предстают перед нами как истец и ответчик. Как и полагается, у обеих сторон есть защитники: у Новоселова — нянечка, призывающая Екатерину Герасимовну простить, у Екатерины Герасимовны — автор, написавший финал пьесы, где героиня отказывает в прощении уже умершему Новоселову.

Тогда, во время своего визита, Новоселов просил

Екатерину Герасимовну хоть прийти на его похороны, если она не может простить его при жизни. И вот в весенний день ей сообщают, что он умер, и просят приехать уже не простить, а проститься, и нянечка ее о том же просит, и она совсем было решается и идет, но возвращается обратно с полдороги, поняв, что не может видеть его — даже в гробу, — не может проститься с ним, ибо прощание их совершилось давно — тридцать лет назад, а прощение невозможно. И пьеса кончается ее плачем, ее криком: «Люди, простите меня, что я не могу его простить!»

Однако попытаемся рассмотреть обвиняемого хо-рошенько, не уходя при этом от автора, а только руководствуясь им нарисованным — или продекларированным, что здесь подойдет больше, но нас не интересует пока, — образом.

Кто же такой Новоселов?

1. Он человек из народа, т.е. представитель тех самых масс, во имя которых была сделана революция.

2. Учение дается ему с трудом, но он обладает громадным упорством и трудолюбием, а также целеустремленностью.

3. Он талантливый администратор, деловой человек, умелый хозяйственник, и, занимая должность директора института, т.е. хозяйственника, находится вполне на своем месте.

Таков «актив» Новоселова. Из чего же видно, что он — примазавшийся? И если он — примазавшийся, то для кого, собственно, и была сделана Октябрьская революция? Для народа, неправда ли? Вот он и есть представитель народа. И что вообще имеется в виду под словом «примазавшийся»? Вероятно, представитель чуждого класса. Это к Новоселову не относится. Тогда представитель чуждой идеологии? Так ведь революция-то совершалась (как сказано во всех учебниках и заодно в пьесе Катаева) не для представителей какой-либо идеологии, а для на-

родного счастья, правда? Иначе может получиться, что революция была сделана партией большевиков для партии большевиков, потому что примазавшиеся — это те, кто не партия большевиков. А Новоселов и вступил в партию, и учился — ну, туго давалось, ну, с трудом, так ведь не для одних гениев советское государство и партия надрываются — счастье строят, и для простых людей тоже. Тем более — хороший хозяйственник! — да это в России и всегда было на вес золота, а в те времена особенно, потому что карьере свою Новоселов сделал во времена чисток — этого Катаев стыдливо не пишет, но понять нетрудно. Нет, Новоселов весело шагал в ногу со своей революцией. И к чему же он пришел?

1. Он стал рваться к карьере, к власти.

2. Он узнал вкус благополучия и не хотел его терять, наоборот: чем больше он получал, тем большего хотел.

3. Он усвоил и повторял официальную фразеологию, не задумываясь.

4. Он читал доклады, которые писал не сам.

5. Он стал груб с подчиненными и заискивал перед начальством.

6. Он донес на свою жену.

Если вы заметили, в первом случае мы рассматривали качества Новоселова, дававшие ему право считать революцию своей и претендовать на достойное место в государстве, ею созданном (анкета входит сюда как качественный показатель). Во втором случае мы имеем дело с методом, со способами, которыми человек добивается обещанного ему декларациями государства места в жизни. И тут мы можем убедиться в том, что все средства, которыми пользуется Новоселов, были вовсе не им по безнравственности его придуманы, а подсказаны государственной идеологией. Его социальная физиономия новому государству вполне подходила, что же до вопросов нрав-

ственных, то они никогда не стояли в центре внимания советской власти, единственным критерием было революционное правосознание.

Советская нравственность (почему бы не сказать так, если существует советская гордость и советский патриотизм) началась с небезызвестного лозунга «Грабь награбленное!» Для кого же и мог прозвучать этот лозунг призывной музыкой, как не для новоселовых?

А кто она? Героиня? Без страха и упрека?..

«Перед нею всегда стоял несколько абстрактный образ некоего человека из народа, которому революция открыла дорогу к знаниям, и для того, чтобы он мог стать многогранно образованным, полноценным членом социалистического общества, надо ему только помочь». (Один из монологов Новоселовой.)

Итак, она не имела не только представлений о социалистическом обществе, ибо оно существовало лишь на бумаге, но и о тех, для кого собиралась его строить. Судя по всему, это общество должно было быть чем-то вроде счастливого Эльдорадо, где живут идеальные люди.

Избрав в качестве такого идеала Новоселова, она сделала все для того, чтобы он стал настоящим членом социалистического общества: заставляла его учиться, написала за него дипломную работу, потом сочиняла за него доклады. Она начала с иллюзий и кончила подлогом. Она обманывала свое государство с представителем того самого класса, по имени которого оно было названо.

Не будь Катаев в самой сути своей художником, он не сумел бы с такой убедительностью опровергнуть собственные идеи. Ничто так точно не обрисовывает раковую опухоль, появившуюся в ней изначально, природно, генетически, как искренняя и жаркая попытка ее защитить.

Героиня Катаева, буквально воспринявшая все рецепты создания нового человека и нового общества,

изложенные в трудах классиков марксизма, — пришла к созданию монстра новейшей формации. Увидев, кем оказался новый человек, она ужаснулась и оскорбленно отвернулась от него, его не желая простить за то, что он — монстр. Непостижимая логика! — не себя обвинить в калечении человеческой психики, в обмане, в создании и применении варварской теории, по которой нравственные качества являются следствием социального происхождения, а обманутого винить, подопытного кролика, превращенного в страшного шута, в восставшего робота, запрограммированного на «кто был никем, тот станет всем»; обвинить ничтожество, получившее по заслугам не потому, что приведены были в действие нравственные пружины общества, а потому что хватать стал не по рангу, нарушив неписанные законы правящего клана.

Она простить ему не может, что он так ничего и не понял, что так и остался таким, как был. А откуда ему понять, зачем ему понимать, если бывшие и более удачливые его коллеги — как и он, монстры новой формации, — все остались на своих местах, со своими благами, — вот хоть тот же следовательно-паралитик, которого Новоселов увидел в коридоре.

Руки старика, составлявшие списки жертв, тасовавшие доносы, извивавшиеся в пыточных изысках, — были уже мертвы. Но глаза, которые видели все: доносчиков по призванию, доносчиков из страха, доносчиков из корысти; некогда гордых людей, которые раньше и на порог к себе его бы не пустили — униженными, уничтоженными, распластанными, последователей Великого Учения, старательно и взхлеб поливавших себя грязью, — эти глаза остались жить на ушедшем за черту лице, чтобы злорадно встречаться с глазами бывших жертв и бывших коллег по палачеству.

Когда Новоселов узнает о том, что Екатерине

Герасимовне давно известна история его предательства, мы видим, что для него этот факт ничего не меняет в теперешней его одержимости мыслью получить прощение:

«Ну, подлость. Сознаюсь. Я ведь не отрицаю. Но столько лет с тех пор прошло. Катя! Неужели до сих пор не можешь простить!»

И вправду — почему же ей его не простить, если она чувствует себя вполне счастливой, живя в этом доме рядом со следователем, который по ложному доносу ее посадил! Впрочем, следователя она и не осуждала никогда. И та самая партия, которую Екатерина Герасимовна произносит (как Катаев «Революцию» пишет) только с большой буквы — и которая палачества следователя нашла заслугами, достойными привилегий, и сравнивала их с заслугами самой Екатерины Герасимовны, тем самым подтвердив, что они делали одно дело, — эта партия осталась для Екатерины Герасимовны святыней. Но значит и донос на нее собственного ее мужа тоже был необходимой частью великого дела — за что же она его казнит, да еще не с корыстью к ней пришедшего, а за словом прощения перед смертью (ему понадобилось отпущение, ей — нет).

Круг замкнулся. Если в лаборатории создана вместо прекрасного человека патологически извращенная личность, — виноват тот, кто вызвал ее к жизни. И если этот лабораторный опыт производился в полном согласии с теорией, то остается сказать, что теория неправомерно называет себя гуманистической.

Что до причин этого явления, то они просты: не стоит экспериментировать на человеке. Во все времена это называлось вивисекцией. Попытка инкубаторного выведения психики, примененная к людям, естественно появляющимся на свет, обладающим определенным комплексом изначальной информации, заложенной в генетической памяти, не может не кон-

читься трагически и для совершающих эксперимент, и для объектов его. Тот микрокосмос, который мы зовем человеческой душой, — непостижимая бездна сочетаний, возможностей, случайностей. Но элементы, из которых он состоит — все те же, изначально заложенные. Поэтому сама попытка создания нового человека смешна: все равно что, регулярно обрубая мышам хвосты, ожидать бесхвостого потомства.

Существует соединение знаков, символов, понятий, которое необходимо и неотвратно входит в некое целое, называемое «человек». Попытка воздействовать на его природу — означает противопоставление себя человечеству, претензия на место н а д ним, уравнивание себя с Богом. И приравнивают, не боясь, — отсюда и заповедник «Фиалок».

Стремление к свободе (без сформулированных ограничений) есть не результат той или иной философской или социальной концепции, а органическая потребность человеческого духа, неизбежная, подобно физическим потребностям тела. И Катаев, говоря в своем этюде о Бунине («Трава забвенья»), что Бунин променял Родину и Революцию на чечевичную похлебку «так называемой свободы и так называемой независимости», демонстрирует совершенно извращенное представление о свободе как о некоей материальной субстанции, как о собственности, как об объекте купли-продажи, как о предмете, подлежащем товарообмену. И тут он блистательно проговаривается, открыто противопоставляя понятия «родина» (советская) и «революция» понятиям «свобода» и «независимость» — как несовместимые и взаимоисключающие. Видимо, по его убеждению, право первородства заключается в добровольном и восторженном рабстве.

А Новоселов, при всей жалкости своей, при всей грязи, которую старательно наваливает на него автор, вдруг вырастает, когда в нелепую и по-человечески неразумную, дурную минуту начинает рассказывать

Екатерине Герасимовне о второй своей жене, о пленительной мерзавке, потаскухе с «...маленькими, как бы не до конца разрезанными пальчиками,...с блестящими, фаянсовыми, как бы мокрыми веками серо-голубых глаз», не в силах и через тридцать лет превозмочь любви к ней, и ненависти, и тоскливой жадности, и оскорбленного мужского достоинства, и горечи, и зависти, и печали. Он рассказывает о ней взахлеб, забыв о том, кому и где говорит, забыв о сидящей в нем и съедающей его смерти, и в нем нет в этот момент ничего безобразного, а есть даже какая-то мрачная красота, темное какое-то величие. И именно эта сцена в пьесе — единственная драматургически полноценная.

Как только Катаев на минуту забывает о своей адвокатско-прокурорской схеме и выпускает на волю художника в себе, он этим художником и становится, и мы, продравшись сквозь дебри газетного вздора, составленного из замусоленных и презираемых уже всеми слов, — сквозь это самоунижение художника — видим выписанную им великолепную сцену низменного величия, отталкивающей, но истинной страсти.

Такое же не предусмотренное автором впечатление, что бабушка Фиалка, производит и Клавдия Заремба, образ которой составляет своеобразный фон и в то же время одну из вставных новелл «Травы забвенья». Это история молоденькой девушки, которой ЧК поручила завести роман с белым офицером, руководителем военного заговора, и она этот роман завела, и полюбила офицера, и отдала его потом в руки ЧК, и всю жизнь потом думала, что его расстреляли, и всю жизнь любила память о нем, но о поступке своем не жалела. Автор в полной уверенности, что создает образ положительного, едва ли не идеального героя (героини), а читателя коробит от патологии. И писательское перо — как если бы само чуяло бы нравственный и художнический изврат — выводит корявости,

натужности, притянутости — литературную патологию. Оскудевает язык, слог отдает прусской шагистикой, образ теряет плотность и объем — проза слепнет.

И вот финал истории с Клавдией Зарембой: будучи в Париже уже в шестидесятых годах, автор встречается с тем самым белым офицером, который теперь, конечно же, нищенствует, опустошен, жалок, никому не нужен. Он, оказывается, сумел тогда сбежать из машины по дороге к месту расстрела. Теперь он глубокий старик, и Клавдию, умершую недавно с именем его на устах, он просто не помнит. Не помнит, и все тут. (О предательской роли ее он ничего не знал.)

Женщину, которую он когда-то любил, с которой жил, как с женой, которую вместе с ним арестовали и, как он мог думать, из-за него расстреляли, он забыл! А автора вот узнал сразу и разговорился с ним, хотя в начале этой повести Катаев объяснял, что офицера этого знал он мало, издали. И через сорок лет тот его узнал, а любимую некогда женщину, из-за него погибшую, — забыл! Когда в качестве задачи появляется идеологический подлог, что может быть результатом, кроме писарской развязности?

Весьма примечательно в этом плане отношение Катаева к двум предательствам: Новоселова и Клавдии Зарембы. Клавдия Заремба именно этой своей ролью заслужила, по Катаеву, ореол героини, а предательство Новоселова не заслуживает прощения даже после его смерти. Так сказать, наши на чужой территории — разведчики, а чужие на нашей — шпионы. Каков нравственный уровень! Впрочем, в соответствии с революционным правосознанием (нравосознанием).

В самом начале нашей статьи шла речь о двоещности Катаева — и творчества его, и мировоззрения.

Одну его сторону мы рассмотрели подробно, говоря о пьесе «Фиалка» и об истории «девушки из сов-

партшколы»: признание законным революционного насилия (Клавдия Заремба), абсолютная солидарность с линией партии (Екатерина Герасимовна), убежденность в том, что нравственный бандитизм не есть естественное следствие первого и второго (т.е. революционного насилия и всей последующей деятельности коммунистической партии), а является частным случаем и, значит, дает возможность бесследного устранения в тех же обстоятельствах. Фактический результат: потеря художественной формы вплоть до совершенной беспомощности (хотя бы в цитированных выше отрывках из пьесы).

Другой стороны мы касались, говоря о кусках прекрасной прозы, каких немало в произведениях Катаева (кроме, разве, все той же пьесы). Причем куски эти появляются тогда, когда автор благодатно забывает об идеологических котурнах и обращается к своему внутреннему миру. Но это не простая рассеянность, не капризная непоследовательность литературного баловня, — это нечто более интересное.

В «Святом колодце» вдруг появилось на свет странное слово «мовизм». Некоторые приняли это за шутку, кто-то — за мистификацию, кто-то — за простое оригинальничанье. Но хотя повествование в обеих вещах Катаева, где это слово употребляется — «Святом колодце» и «Траве забвенья» — и носит характер лирической иронии (или, если хотите, иронической лирики), но отличается строгостью стиля и не дает никаких оснований подозревать Катаева в зубоскальстве или вульгарном изобретательстве. Не того все же ранга он писатель.

Между тем словом «мовизм» Катаев определяет художественный метод якобы созданной им литературной школы. Вот как он сам пишет об этом в «Святом колодце»:

«Она (богатая старуха-американка. — В. И.)... обрадовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши,

узнав, что я являюсь основателем новейшей литературной школы мовистов, от французского слова mauvais — плохой, суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена».

Именно этот отрывок и наводил на мысль о шутке или мистификации, ибо здесь Катаев делает все, чтобы привлечь внимание к слову «мовизм», но ничего не формулировать, не раскрывать сущности этого понятия.

Однако в «Траве забвенья» он упоминает мовизм в связи с эстетическими взглядами Эдмона Гонкура — и вполне серьезно: «Как жалко, что нам не хватило времени написать наш «Революционный катехизис искусства»! — с горечью воскликнул Эдмон Гонкур. И как не хватало этого катехизиса мне, тогда еще не открывшему мовизма». «...На протяжении всех трехсот страниц с топотом опрокидывать все священные мнения, вековое восхищение, академические программы профессоров эстетики, всю эту старую веру искусства, еще более лишенную критического духа, чем религиозная вера...» Нет, нет, успокойтесь, товарищи, это не я написал, а Гонкур!

«Интеллектуальное «наплевательство» на всеобщее мнение: самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и только обладая этим даром, можно создавать оригинальные вещи...»

Короче говоря, нужно было быть не Буниным, а, по крайней мере, Маяковским. Катаев говорит здесь о первых пореволюционных годах, о внутреннем своем бунтарстве против старых литературных форм, в котором он вполне солидаризовался с великолепной

мятежностью Гонкура и которое привело его к Маяковскому, как к наиболее яркому выразителю мятежного духа России того времени. Но короткое его замечание о мовизме как ином, хоть и не чуждом гонкуровскому, эстетическом «катехизисе» дает нам понять, что обрел его Катаев позже, в наше время, а прямая параллель между Гонкуром и Маяковским позволяет утверждать, что Маяковский хоть и остался кумиром Катаева, но не одно только дерзкое сокрушение привычных критериев взял у него Катаев для своего мовизма. Иначе зачем вообще было изобретать этот термин? Достаточно было бы присоединиться к Гонкуру или провозгласить себя последователем Маяковского. Катаев же делает это всегда с оговорками — например, считая себя в равной степени и учеником Бунина, которому (и сам Катаев часто об этом говорит) творчество Маяковского было органически чуждо и враждебно.

Приведем еще один отрывок из «Святого колодца», имеющий отношение к мовизму и свидетельствующий об эстетической позиции Катаева:

«Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того, и другого — терпит фиаско. Я уверен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было бы для меня невыносимо. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма».

В этой формуле мовизма возникает как будто образ гармонии: соединение в художнике двух миров

— действительного и воображаемого — в равной пропорции. Однако воображаемый мир художника есть не что иное, как модификация действительного мира; ее виды и формы зависят от индивидуальности художника, от дальности его воображения, от глубины и густоты духовного обволакивания, которому подвергается действительный мир, проецируясь на восприятие художника. Поэтому в формуле Катаева никакой гармонии нет: она ведь наполовину включает в себя «протокольность» действительности как таковую, так что действительности в ней оказывается не половина, а по крайней мере три четверти. Советский человек постоянно существует в двух планах действительности: один — это видимые факты и события, другой — их интерпретация, название, которое в девяноста случаях из ста подменяет собой факт, становится на его место, образуя некий фантом, так что жизнь теряет четкие очертания и превращается в полуиллюзию, в тумане которой чрезвычайно трудно находить истинную меру вещей. «Если на клетке с тигром видишь надпись «лев», не верь глазам своим».

Катаев — вполне советский человек, мы в этом убедились. Его мировоззрение воспитано государством, основанным на насилии. Но его мироощущение родилось раньше, чем возлюбленное им государство, и оно осталось мироощущением свободного человека. Попыткой примирить эти взаимоисключающие категории и является мовизм.

В этом смысле — как метод отражения советской действительности — мовизм несомненно удался Катаеву. Отражение не прямое, а косвенное, не проекция, а преломление; форма, выраженная иной знаковой системой. Однако для автора этот результат — не желаемый, даже вряд ли им самим увиденный. Побочный. То, что он сам хотел бы выдать за действительность — сентенции о свободе и революции — в им же созданной форме повествования выглядят

топорными и чужеродными, напоминают бессвязные выкрики проснувшегося в поту человека, которого чем-то сильно напугали во сне. Мовизм как попытка примирить свободу с несвободой — просто не получился: скрещения не произошло. (Эта чисто лысенковская попытка напоминает известный анекдот: что получится от скрещения ежа с ужом? Полтора метра колючей проволоки.)

Несмотря на вполне похвальные намерения, эксперименты Катаева в области изящной словесности показались властям предержащим еретическими. Социалистический реализм предписывает выдавать желаемое за действительное, и чтобы было как можно более похоже на правду. В его намерения вовсе не входит отражение жизни как таковой, а лишь отражение магических знаков и формул — все тех же фантомов. И Катаев со своим мовизмом оказался в оппозиции соцреализму, чьи жрецы и блюстители немедленно накинулись на него, так и не сумев, впрочем, что-либо толком ему инкриминировать. Щитом ему была созданная все в тех же шестидесятых годах книга о Ленине — «Маленькая железная дверь в стене», — написанная без всякого мовизма, с помощью самого добротного ремесла, но зато демонстрирующая чистые ризы партийного мировоззрения. А мовизм остался попыткой подправить соцреализм, исподтишка добавив ему душевности и духовности, т. е. попыткой придать ему человеческое лицо, но подобно тому, как социализм, обретая человеческое лицо, теряет черты социализма, а настоящий, «классический», советского образца социализм ополчается на него, как на более опасного врага, чем капитализм, так и соцреализм, обретя человеческое лицо под именем мовизма, немедленно потерял сходство с ним, за что и был осужден властями. Но после того как голос Катаева вошел в наёмный хор слесарей, артистов, доярок, академиков, писателей и шоферов такси, еди-

нодушно приветствовавших высылку Солженицына на страницах советской прессы; после опубликования пьесы «Фиалка», наконец, — его репутация приобрела блеск, вполне достойный советского классика.

Когда эта статья была уже готова и терпеливо дожидалась публикации, Катаев выпустил еще одну повесть — «Кладбище в Скулянах». Если бы он специально задался целью подтвердить все основные положения этой статьи, то и тогда не сделал бы больше, чем последней своей повестью. «Фиалка» и «Кладбище в Скулянах» — два взмаха качелей, противоположные друг другу. Первое целиком и полностью принадлежит Герою социалистического труда, высокого ранга сановнику (я чуть было не написала — «в мундире, украшенном орденскими ленточками»). Второе — Катаеву-мовисту, которому удалось за вновь полученные регалии купить право захлопнуть за собой дверь писательского кабинета.

Он продолжает свою тему — единства с прошлым не как с ушедшим необратимым временем, но как со временем, накапливающимся и существующим рядом с нами в ином измерении пространства. Оно невидимо, но оно есть — и довольно всего лишь протянуть руку, чтобы коснуться жизни прадеда или деда, или своей собственной — пятьдесят, шестьдесят лет назад. Время, шагающее мимо человека в его «вчера», соприкасающееся с ним в каждой отдельной точке пространства видимого, там, позади, сливается в единый бесконечный ряд, в единый человеческий род, где каждый представитель поколения перестает быть только одним собой, но становится всеми, жившими до него, ибо исчезает непрочная перемычка, которая разделяла их при жизни: тело, физическая форма существования.

«Я умер от холеры на берегу реки Прут, в Скулянах, месте историческом». Так начинается повесть, в которой лица прадеда с материнской стороны

Елисея Алексеевича Бачея, сына его Ивана Елисеевича и правнука Валентина Петровича Катаева сливаются в одно непрерывно меняющееся лицо. Первый — участник войны 1812 года, второй — участник завоевания Кавказа, третий — участник первой мировой войны. Три русских офицера, причастных к тяготам России, к ее мощной и небезгрешной истории, ко всем несправедностям, ко всем радостям, ко всей скуке и ко всей славе ее, становятся олицетворением самого тока времени.

«Кто правнук и кто прадед?

Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще не открытым, неведомым законам».

Записки прадеда, Елисея Бачея, переплетаются с записками деда, Ивана Елисеевича, те и другие — с чисто биографическими моментами жизни самого Катаева, все вместе — с воображаемыми монологами деда и прадеда (хотя вовсе не исключено, что и записок на самом деле не существовало, что и они — вымысел, это, в сущности, никакого значения не имеет), и самым естественным образом соединяется все это с раздумьями автора. Эта линия, говорящая о бессмертии человеческого рода — о бессмертии истории, вбирает в себя другую, более скромное место занимающую в повести — линию чисто духовную и в конкретном и в обобщенном смысле — линию другого деда, священника Василия Алексеевича Катаева.

«...Я скончался 6 марта 1871 года в 10 часов вечера в городе Вятке после тяжелой болезни, окруженный своей семьей. Перед тем как умереть, я испытал невыносимые телесные муки.

...Мое человеческое сознание давно уже погасло, но взамен его началось новое, вечное, необъяснимое и никогда уже не угасающее сознание, как бы непод-

вижное, но вместе с тем охватившее весь существующий мир, все его бесконечное движение.

В нем, в этом странном нечеловеческом сознании, заключалось нескончаемое прошлое, настоящее и нескончаемое будущее. В этом мире я продолжал свое ни с чем не сравнимое, вечное существование, в котором так ничтожны должны были казаться отметки времени...»

Вряд ли можно усомниться в том, что в данном случае мы имеем дело не просто с литературным экспериментом, и не только показать внутреннее единство каждого человека с родом своим, с историей своей страны является целью этого произведения. Оно утверждает независимую жизнь духа как такового, отчуждение сознания от бытия, надмирность его и вечность. Оно рассматривает человеческую жизнь как частный случай воплощения вечного Духа, как случайность, как мгновение в вечной жизни сознания. Вряд ли что-нибудь может быть более далеким и враждебным марксистскому мировоззрению, в верности которому так любит клясться Катаев. Но тут же, в этой же повести — как и во всех более ранних — он считает необходимым напомнить всем и себе, что он — «сын революции». Действительно ли он не видит и не понимает, что соединение такого рода невозможно, что таким образом он не продолжает родивший его поток, а служит ему плотинкой? И что быть одновременно и потоком и плотинкой нельзя? И что нельзя одновременно служить и Богу, и Маммоне?

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Колонка редактора

ОПЯТЬ О САХАРОВЕ

В своей предыдущей колонке о вручении академику Андрею Дмитриевичу Сахарову Нобелевской премии мира за 1975 год я позволил себе сравнить это событие с заочным чествованием мученика гитлеровских концлагерей Карла Осецкого. На неискушенный взгляд, это могло показаться тогда эдакой публицистической фигурой. Но не прошло и месяца, как из Москвы поступило новое тому подтверждение: выдающемуся ученому, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату всех мыслимых в нашей стране премий официально предложено в семьдесят два часа покинуть пределы столицы. Поистине: нет предела административному восторгу современного Третьего отделения!

И так год за годом, день за днем, час за часом. А он идет сквозь них, через гонения и угрозы, под злобный лай их, хорошо оплаченных борзописцев — Первый, Великий, Святой мученик погрязшего в лжи и равнодушии современного мира.

В то время, когда гремели фанфары нобелевской церемонии и тысячи жителей Осло, в единодушном порыве объединились в факельном шествии в его честь, он стоял перед зданием суда, где судили Сергея Ковалева, и это человеческое бдение было познавательнее многих громогласных протестов на Западе.

Сейчас в Париже находится Леонид Плющ. Много людей на земле боролось за его освобождение в течение последних двух лет. Даже французские коммунисты решили в конце концов «попахать» вместе

со всеми, дабы уже совсем не потерять реноме «демократов» у избирателей, особенно молодых. Но прежде всего надо и здесь назвать Андрея Дмитриевича Сахарова. Он призывал, напоминал, ходатайствовал, писал письма и делал отдельные заявления: помогите, уберегите, спасите Леонида Плюща!

В этом весь он, весь смысл его жизни и деятельности, и каждый из нас, его друзей и знакомых, прекрасно отдает себе отчет в том, что без САХАРОВА в этом горестном мире было бы много безотраднее и холоднее.

Критика и библиография

НА ПОЛЯХ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГИ САХАРОВА

Манифест Андрея Сахарова не нуждается в объяснениях. Нет нужды также разъяснять, почему этот текст важен для всего мира: важен своим содержанием, авторством и местом написания. Важен для Запада, для России и для нас, поляков, ибо наша судьба и наше будущее неразрывно связаны с судьбой той России, которая вырвалась из духовного рабства.

Имя Сахарова приобрело всемирную известность 8 лет назад. За эти годы Сахаров, подвергающийся непрерывным преследованиям, стал одним из важнейших символов духа свободы и разума, ведущего борьбу с деспотизмом, давящим своей силой или кажущимся всесилием. Само существование Сахарова вдохновляет мир. Одновременно слово его, как неожиданно обнаруженный шип, разрывает завесу штампованных фраз и умолчаний, которой прикрываются на Западе многочисленные фокусники публичных выступлений, не желающие видеть

то, от чего прежде всего зависит судьба мира.

Речь идет прежде всего о том, — надеюсь, что я не искажаю мысли Сахарова, видя в этом главный смысл его призыва, — что строй Советского Союза не является «внутренним делом» этой страны, которым могут спокойно заниматься ее жители. Это — один из важнейших факторов, определяющих мировую ситуацию. Мысль, по сути, тривиальна. Однако таковой ее не считают. Наоборот. Даже с точки зрения формально признанных основ международного права, нарушение прав человека не является «внутренним делом» отдельных государств; все государства, согласившиеся подписать Хартию прав человека, — даже если их режимы вопиющим образом противоречат всем нормам этого прекрасного документа, — тем самым согласились, что нарушение неотъемлемых прав человека в любой стране — в Советском Союзе, в Чили, в Индонезии или в Чехословакии — подлежит международному кон-

тролю, независимо от наличия или отсутствия средств, которые могли бы эффективно вынудить правителей соблюдать эти права. Есть достаточно свидетельств, что хотя моральный нажим не может, конечно, сам по себе вызвать изменений какого-либо строя и заставить правящий класс отказаться от своих привилегий, он, тем не менее, дает результаты и в отдельных случаях позволяет добиться различных уступок.

Советский строй не является «внутренним делом» этой страны и в еще одном значении, о котором пишет Сахаров: советская система правления прямым и очевиднейшим образом связана с советской имперской экспансией, а она может в определенных условиях — невзирая на нынешние намерения ее руководителей — стать детонатором глобальной войны, гибели цивилизации, а возможно и гибели человечества. Если мы признаем (а мало кто решится не признать этого), что дело спасения человечества от глобальной войны имеет абсолютный приоритет по сравнению со всеми другими, то легко сделать отсюда вывод, что внутренний советский режим несравненно важнее

для мира, чем режим любой другой страны, ибо возможность вспышки мировой войны в результате внутренних тенденций строя ни в одном другом случае (Китай, США или державы меньшего размера) не может быть сравнима даже приблизительно.

И действительно, советский строй не только усилил (или, скорее, спас) и упрочил экспансионизм царизма, дав ему новую идеологическую базу, называемую, в зависимости от обстоятельств, марксизмом-ленинизмом, пролетарским интернационализмом, бессмертной дружбой народов, борьбой за мир. Он создал также неизвестные ранее способы мобилизации материальных и общественных средств, как инструментов экспансионизма, называя, в свою очередь, эту способность к мобилизации освобождением трудящихся от эксплуатации (средства производства, включая людей, являются собственностью государства, государство — собственность партии, а партия — собственность ее вождей), демократическим централизмом, моральным единством общества или еще как-нибудь. Одно из важнейших и необходимейших орудий этой мобилизационной способности — монополия

на средства массовой информации и лишение общества информации о мире, т. е. попросту содержание людей в темноте. Невежество миллионов людей — граждан огромной державы — и их изоляция от мира является, по очевидным причинам, дополнительным фактором, усиливающим опасность мировой войны; люди, лишённые средств, позволяющих самостоятельно оценивать события и информацию о событиях, беззащитны, как материально, так и духовно, перед лицом государства. Трудно, однако, рассчитывать на то, что принцип свободного обмена информацией, признанный на словах в Хельсинки, мог бы в ближайшем будущем перестать быть тем, что он есть — бумажным украшением, успокаивающим совесть западных сторонников «детанта». Советская система не может расширить границы этой свободы без нажима на нее, ибо существование ее зависит от невежества общества и всей системы дезинформации. Нажим такой отнюдь не невозможен и способствует он ослаблению, а не усилению угрозы войны.

Эти выводы, очень легко доказуемые, трудны для принятия, хотя и по разным

причинам, как для правительств демократических стран Запада, так и для западных некоммунистических левых сил (о коммунистах я уж и не говорю). В первом случае причина и нежелания, и страха перед «вмешательством во внутренние дела» советского блока заключается не столько в нагромождении множества экономических и социальных хлопот в этих странах, сколько в удобной иллюзии, что советский империализм будет накормлен и успокоен (как обещает), если все им завоеванное до сегодняшнего дня будет легализовано. В крайнем же случае всегда остается аргумент: «Не будем же мы начинать мировую войну из-за того, что угнетают украинцев или оккупируют Чехословакию!» — как если бы мировая война была единственной альтернативой целой цепи актов трусливого умиротворения. Что же касается моральной стороны проблемы или нарушения прав человека, то всегда найдутся объекты менее опасные: протесты против пыток в Чили или казни басков в Испании имеют то преимущество, что они ничего не стоят; не следует отсюда, что они излишни; речь идет о том, что моральное воз-

мушение против деспотизма со странной регулярностью особенно ярко вспыхивает там, где деспотические режимы, являясь деспотическими, одновременно слабы в международном соотношении сил и не имеют возможности репрессий по отношению к осуждающим их правительствам или моралистам.

Что же касается некоммунистических и не находящихся у власти левых сил, то у них есть дополнительный повод для самообмана (впрочем, есть малочисленные исключения; я отношу к ним группу, публикующую в Нью-Йорке журнал Dissent — одно из самых честных политических изданий, какие мне известны. Они делят мир на левых и правых — никогда не формулируя четко критериев раздела — и по неясным причинам советскую систему размещают — «несмотря ни на что» — слева («конечно, мы знаем, были совершены различные ошибки, даже преступления, есть там много недостатков, но все-таки...») А что — все-таки — остается неизвестным; самые смелые позволяют себе даже легко намекать, что и китайский строй еще не достиг полного совершенства, но таких немного). Это — «несмотря ни на что»

представляет собой ядро и ступок всей левой мысли; «несмотря ни на что» советская система получила свидетельство, выданное Историей и научно открытое левыми, а следовательно, она находится на более высоком уровне, чем демократические системы Запада, где ведь еще существуют частные предприятия и земельная собственность. Таким образом мы получаем принципы распределения морального возмущения: преследование басков в Испании может быть очень хорошим объектом ужаса. А иракские курды, о которых Сахаров к месту упоминает в своем обращении? Они таким объектом быть не могут. Кто знает, сколько в последние годы было вырезано курдов? Но Ирак — «прогрессивен», ибо им правят антисиионисты (конечно, не антисемиты; прогресс человечества достиг в последнее время таких успехов, что антисемитизм полностью исчез с лица земли; не найдется левого моралиста, который смог бы показать антисемита! Их нет, они пропали к облегчению человечества. Зато антисиионистов развелось огромное количество, и все они необычайно прогрессивные). Случайно сложилось так, что

Ирак входит в блок государств-экспортеров нефти, трудно поэтому ожидать от политических лидеров западных демократий, чтобы они занимались судьбой курдов. Всегда найдется какой-нибудь деспотический режим поменьше, не имеющий нефти, не связанный дружбой ни с Советским Союзом, ни с Китаем, а тем самым отлично подходящий для потрясения совести. К тому же, чем деспотизм действенней и эффективней, тем меньше известно о его внутренних делах, а это также помогает правильному распределению морального возмущения: все знали о пытках и преследованиях в Греции полковников, ибо деспотизм там был скверно организованный, а контроль информации — неумелый, но кто знает, что происходит в Северной Корее?

Сегодня, правда, реже слышится среди левых та потрясающая бессмыслица, которой Троцкий до конца жизни кормил себя и своих читателей: в Советском Союзе рабочий класс полностью лишен политической власти, лишен элементарных прав, растоптан и обращен в рабство, но тот же рабочий класс по-прежнему осуществляет там диктатуру,

ибо заводы и земля являются собственностью государства. Но все-таки большая часть левых все еще стыдится признать, что советизм — это абсолютистская и деспотическая система управления, силой охраняющая классовые привилегии, проявляющая исключительно сильную империалистическую тенденцию. Все черты этого общества, о которых пишет Сахаров, — мучительная нищета людей, безнадежность жизни, социальный, национальный, культурный и религиозный гнет, насилие как главное орудие во всех внутренних и внешних делах — все они «в принципе» известны. Неизвестно только «в принципе», каким образом эта страна, которая могла бы обеспечить своему населению благословенную жизнь — богатая всеми видами сырья, благоприятная в климатическом отношении, обладающая огромной незаселенной или слабо заселенной территорией, богатой и разнообразной культурной традицией, выдающимися умами и талантами, стала пугалом человечества и не может даже, как это делал традиционный империализм, воспользоваться своей имперской мощью для улучшения жизни своего населения,

а расходует все богатства на бесконечное усиление военной и полицейской машины экспансии и гнета.

Ложь, в которой живет значительная часть западных левых, двойные стандарты их оценок, практика систематического замалчивания, хронические добровольные иллюзии не позволяют этим левым найти общий язык со свидетелями из коммунистического мира. Неизбежным является недоверие и подозрительность по отношению ко всем левым группировкам, которые провозглашают демократические декларации, выражая одновременно лишь частичные «оговорки» в связи с восточным социализмом, либо замалчивая его вообще. В этом отношении особенно характерно поведение так называемых «либерализованных» коммунистических партий, прежде всего итальянской. Конечно, потеря Москвой полного контроля над коммунистическими партиями за границами «блока» — факт значительный и важный. Фактом значительным является заявление итальянских коммунистов о признании ими принципа многопартийной демократии, свободных выборов, и свободы печати, как «стратегии», а не «тактики» дви-

жения (это, видимо, нужно понимать как обещание, что принцип этот будет жить долго, а не коротко, если коммунисты придут к власти). Имеет значение и то, что они не хотят оправдывать такие события, как оккупация Чехословакии. И, тем не менее, не совсем ясно, почему нужно принимать эти декларации дословно. И дело не в объективных убеждениях коммунистических руководителей; дело даже не в свидетельствах опыта (где бы коммунисты ни приходили к власти, гражданские свободы и демократические институты уничтожались — из этого правила не было исключения; почему теперь мы должны ждать чего-то иного?). Существенно скорее то, что и итальянские коммунисты, возражая по поводу тех или иных мероприятий советского правительства, по-прежнему называют себя последователями ленинизма (обещавшего уничтожить демократические институты и сдержавшего обещание) и по-прежнему считают себя частью «движения», другой частью которого является советское государство. Нет, следовательно, никаких оснований полагать, что они откажутся от святой веры, что советская политическая сис-

тема представляет собой «исторически высшую» и чрезвычайно прогрессивную форму общественной организации и несмотря на те или иные «неверные» поступки всегда заслуживает полной поддержки в любом конфликте с «буржуазными» демократиями. Критика коммунистами отдельных «ошибок» может казаться чем-то неслыханным только на фоне господствовавшего некогда принципа безоговорочного и абсолютного энтузиазма и восторга по поводу каждого слова советских вождей и каждого удара исторически прогрессивной палки. Такая критика не может, однако, вызывать доверия, если итальянские коммунисты не в состоянии признать советский социализм тем, чем он есть на самом деле — инструментом тоталитарного гнета, государством, которое с точки зрения гражданских прав, уровня жизни, способности к техническому прогрессу, законности, отношений между людьми, доступа к информации, развития культуры (т. е. с точки зрения важнейших черт, по которым определяется общественная организация) стоит ниже всех «буржуазных» демократий западного мира со всеми их хлопотами, корруп-

цией и недостатками. Допущение это, конечно, фантастическое, ибо признав все это, коммунисты перестали бы быть коммунистами или, во всяком случае, порвали бы с ленинизмом и ленинским наследством.

* * *

Присуждение Сахарову Нобелевской премии мира в октябре 1975 г. нужно приветствовать с признательностью не только потому, что это как нельзя более заслуженная награда неутомимому борцу; это еще и свидетельство того, что угрозы и шантаж Москвы не всегда оказываются эффективными. Акт этот можно сравнить с другой Нобелевской премией мира, присужденной в 1936 г. Карлу фон Осецкому, ждавшему тогда смерти в гитлеровской тюрьме. Как известно, после награждения Карла фон Осецкого, Гитлер запретил немцам принимать Нобелевские премии. Сопоставление этих двух событий, отдаленных сорока годами, дает обильную пищу для размышлений.

Для нас, народов советской зоны, призыв Сахарова исключительно важен в связи с нашим национальным положением. В борьбе

за гражданские права, демократические институты, за право на национальное самоопределение в этой зоне не могут быть помощью ни правительства западных демократий, ни западные левые, ни западные правые; такой помощью может быть содружество народов и наций, живущих в советском лагере. Правительства западных демократий не только признали послевоенные границы между блоками (не просто между государствами) как основу европейского порядка, они выразили свою большую заинтересованность в сохранении стабильности советской системы, чем в ее разрушении. Нельзя себе представить ситуацию, в которой Польша сама по себе могла бы получить право на национальное самоопределение и демократические институты, а все остальное осталось бы без изменений. Отворачиваться от России и Украины, равнодушно относиться к их делам и стремлениям — очень вредно как для нас, так и для русских и украинцев. Это значит передавать в руки официальной пропаганды все дела, связанные с взаимоотношениями народов, которые жили и будут жить рядом друг с другом. Советские власти

именно того и хотят, чтобы поляки, русские и украинцы знали бы друг друга, и общались только через машину власти и ее пропагандистские лозунги, даже в них не веря. Русские являются первой жертвой имперской экспансии, в которой они используются как инструмент. Многие русские знают об этом и знают, следовательно, что русские не смогут стать свободными до тех пор, пока советская власть угнетает другие, нерусские народы. Те русские, которые принимают всерьез принцип национального самоопределения, как по отношению к народам зависимым — полякам, чехам или венграм, так и по отношению к народам нерусских республик — это не только наши союзники и друзья, это самые серьезные союзники, какие у нас есть. Неправда, будто бы исторически закоренелая вражда отделила нас непреодолимым барьером. Такая вражда излечивается в условиях свободы и свободного обмена информацией, необходимой для того, чтобы рациональное согласие вытеснило старую ненависть. Трудно найти более серьезные исторические поводы для взаимной ненависти, делившей французов и англичан,

но она утратила свою силу — хотя следы традиционного недоброжелательства можно встретить по обеим сторонам канала, — перестала мешать сотрудничеству. Конечно, польско-русские и польско-украинские отношения наладить труднее, но не потому, что прошлое было более тяжелым, а потому, что на отношения эти гораздо дольше давила ложь. Официальные же лозунги дружбы не только не способствуют погашению традиционной вражды, но разжигают ее, ибо все знают, что так называемая «польско-советская дружба» — это ничто иное, как выражение и освящение того факта, что Польша не является суверенным государством, а находится под контролем иностранной державы. Выталкивать из поля зрения вопрос наших отношений с Россией и Украиной равнозначно капитуля-

ции перед официальной ложью; соглашение и дружба с неофициальной Россией и Украиной — главное условие, дающее возможность победы дела борьбы за свержение общественного и национального гнета. Альтернативная возможность — острый кризис, ведущий к взрыву, разрушающему советскую систему и сопровождающемуся многонациональной резней, значительно увеличивающей опасность глобальной войны. Этой перспективы не хотят — несмотря на все то, что их разделяет, — ни Сахаров, ни Солженицын; ибо эта перспектива перечеркнет надежды на то, что европейская цивилизация выдержит натиск варварства.

Лешек Колаковский

Нью-Хэвен, 26. X. 1975

ПОЛУМЕРТВАЯ И НЕМАЯ

(Автограф пропущенных строк)

...Молчание Анны Ахматовой, о котором часто поминают западные исследователи, никогда не было молчанием в самом деле. Оно всегда было словом, хотя порой беззвучным, речью, хотя порою и безгласной.

Передо мною один из машинописных экземпляров «Поэмы без героя».

Минуем «Часть первую». Начинается «Часть вторая. Intermezzo. (Решка)». Звучат обозначенные римскими цифрами строфы — от первой до восьмой. Затем нумерация продолжается — девятая, десятая строфы, но звук выключен. Слова отсутствуют, одни точки, подменяющие слова. Ряды точек. Колонки пустых строк. К строфе IX сделан знак примечания — читаем авторскую ссылку: «Пропущенные строфы — подражание Пушкину. См. 'Об Евгении Онегине'»...

Для Ахматовой ссылка на Пушкина, который, объясняя наличие пропущенных строк в «Евгении Онегине», ссылался на Байрона — не только очередная мистификация, но и надежный заслон.

Строфа X в «Решке» — колонка точек, прерываемая, наконец, словами:

...И проходят десятилетия,
Войны, смерти, рожденья. Петъ я
Сами знаете, не могу.

Публикуемый материал получен в самый последний момент перед сдачей номера в печать. В связи с этим мы его помещаем в разделе, не совсем соответствующем этому материалу. — *Ред.*

VII

Не отбиться от рухляди пестрой,
 Это старый чудит Калиостро -
 Сам князюшкин сатана,
 Кто над мертвым со мной не плачет,
 Кто не знает, что совесть значит
 И зачем существует она.

VIII

Карнавальная полночь римской
 И не пахнет. Напев херувимской
 У закрытых церквей дрожит.
 В дверь мою никто не стучится,
 Только зеркало зеркалу снится,
 Тишина тишину сторожит.

IX. 15/

И...се...мной...но...Седьмал"
 Полу...мрт...в...и...на...
 Рот...се...св...и...открыт,
 Лицо...рот...отражен...на...
 Не...с...и...и...красот
 И...с...и...и...на...

Не странно ли, что из-за смертей и рождений — ведь во все десятилетия одни умирают, другие рождаются! — поэт не может писать? Да и война не помешала Ахматовой писать. Ее стихи военного времени, опубликованные множество раз, известны всем.

Заключительные строки X строфы — о войне, рожденьях и смертях — это тоже времянка, заслон.

8 июня 1959 года Анна Андреевна впервые прочла мне IX строфу. 19 ноября 1960 года она продиктовала мне все подлинные, скрывающиеся под точками, строфы. А в начале 63-го в мой экземпляр «Поэмы без героя», в «Решку», вписала их поверх точек своею рукой. Вместо «Войны, смерти, рожденья» — «Пытки, ссылки и смерти». Вместо: «Сами знаете» — «В этом ужасе».

...И проходят десятилетия,
Пытки, ссылки и смерти. Петь я
В этом ужасе не могу*.

«Выпущенных строф» в «Решке» оказалось не две, а больше. Привожу фотокопию подлинника. Страницу и оборот страницы.

VIII

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

IX¹⁵

*И со мною моя «Седьмая»,
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,*

* С вариантом *казни* это трехстишие печаталось за границей.

*Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.*

Х

*Враг пытал: А ну, Расскажи-ка,
Но ни слова, ни стоны, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетия
Пытки, ссылки и смерти... Петь я
В этом ужасе не могу.*

Ха

*Ты спроси у моих современниц:
Каторжанок, стоятниц, пленниц —
И тебе порасскажем мы,
Как в беспмятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.*

Хв

*Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором:
(Мы увенчанные позором)
«По ту сторону ада мы»...*

Одна из приводимых тут строф, IX, уже печаталась: и за границей и у нас. Остальные, насколько мне известно, нет. И ни в одном из многочисленных списков «Поэмы» я не встречала автографа.

В IX поминается

...«Седьмая»,
Полумертвая и немая...

«Седьмая» — это седьмая элегия, заключающая собою цикл «Северных элегий»*. 28 мая 1965 года Анна Андреевна прочла мне «Седьмую», предупредив: «Черновик». Сохранились у меня в памяти только две первые строчки этого черновика:

А я молчу. Я тридцать лет молчу.
Молчание арктическими льдами... —

и сразу припомнились мне строчки, оканчивающие стихотворение 1940 года — «Ива»:

И я молчу... Как будто умер брат.

Прочитав мне «Седьмую», Ахматова объяснила, что озаглавлена эта элегия о молчании будет так: «Последняя речь подсудимой».

В 1940 году «И я молчу...» сказано было Ахматовой после могучего взлета ее поэзии, после «речей», произнесенных в тридцатые годы. После создания таких шедевров, как «Борис Пастернак», «Не прислал ли лебедя за мною», «Если плещется лунная жуть», «Творчество», которые печатались. После «Урока географии», «С Новым Годом! С Новым горем!», «Черепков», после поэмы «Реквием», которые не печатались и не напечатаны на родине до сих пор. Молчание Ахматовой всегда было духовно-деятельным, за ним скрывался ее воистину «непокоренный стих». Еще одно тому доказательство — пропущенные строфы в «Поэме без героя». «Загремим мы безмолвным хором»... Молчащие строки, подмененные до времени

* Завершены только те четыре из семи «Северных элегий», которые Ахматова, считая их оконченными, опубликовала в сборнике «Бег времени» (М., «Советский писатель», 1965). Еще две: «И никакого розового детства», «В том доме было очень страшно жить» остались недоработанными, также как и заключительная «Седьмая».

точками, перекликаются с молчанием «Последней речи подсудимой». Одолевая немоту, «безмолвный хор» звучит, даже гремит из-под точек.

7 декабря 1975 г.

Москва

Ж у р н а л « Б Ъ Д Е Щ Е »

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

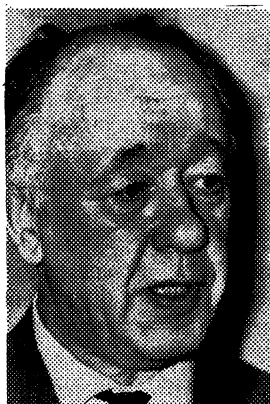
Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

Наша анкета

БЕСЕДА С ЭЖЕНОМ ИОНЕСКО

В о п р о с. Г-н Ионеско, наша современность переживает такой стремительный период, что буквально каждый день приносит нам невероятные известия, ошеломительные новости. Политические, национальные, общественные и религиозные стороны жизни напряжены до предела. И за этим круговоротом событий и идей часто теряется ощущение направленности времени, его смысла. Как бы вы определили это направление?



О т в е т. Действительно, нашему времени нельзя отказать в огромной значительности. И его направление мне кажется совершенно определенным. Для этого лишь надо понять, увидеть въяве, что сейчас творит историю не война, не вооружение, а идеология — исход любой борьбы решают идеи, философия. Я поясню, что я хочу этим сказать.

Психология идеологической пропаганды такова, что она не предлагает вам выбор идей, а целеустремленно направляет на вас определенную идею. Чем стандартней и прямолинейней идея, тем быстрее она превращается — точнее сказать — закрепляется в лозунге. Для многих людей такие слова, как капитализм, колониализм — уже не понятия, выражающие общественные идеи, а, так сказать, приложения к лозунгам. Лозунги эти всем известны. Известно и то,

что империализм, капитализм — это очень плохо, их надо преодолеть и изжить. И в этом — огромное влияние всей левой идеологической пропаганды. Она не задает себе вопрос о сущности самого явления империализма, она попросту говорит: «американский империализм». Появление американцев во Вьетнаме, в Корее левая пропаганда называет «империализмом», а советская экспансия, советизация Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии — это «братская помощь». Но даже в тех странах, где советская экспансия не дошла еще до своего кульминационного периода, — как в африканских странах или в Португалии — советская пропаганда там пытается обрести победу не только путем вооружения и материальной помощи, но прежде всего — идеологией.

Я уже неоднократно говорил, что именно идеология выиграла войну во Вьетнаме. У американских солдат было самое современное вооружение, огромные технические, военные и материальные ресурсы. По сути дела, их силы во много раз превосходили силы их противников. И что же? Американские солдаты, в сущности, не знали, за что они боролись. За свободу? За какую свободу? О том, что они были призваны освободить эту страну от советской, коммунистической экспансии, они как будто забыли. А Северный Вьетнам был начинен марксистской и коммунистической пропагандой. У них были свои идеалы социальной справедливости. Они хорошо знали, что им нужно. И вот тогда понятие свободы, которую защищали американцы, стало расплывчатым, ничего не говорящим, левые и коммунистические круги бросили идеологический лозунг, где американцев клеймили как агрессоров. Вспомните бесконечные статьи, демонстрации, выступления против пребывания американцев во Вьетнаме. В общественной психологии американцы остались «агрессорами», а не освободителями. Идеология выиграла. И объясните все это левому

молодому человеку, который спрашивает меня: что делали американцы во Вьетнаме, так далеко от своей страны? Но этот же молодой человек, как и все левые круги, не обмолвится и словом, не устроит демонстрации протеста против того террора, который учинил Северный Вьетнам после победы.

Вот вам другой пример, что в наше время самых крупных побед пытаются достичь — и достигают — путем идеологии. Я имею в виду эту пресловутую «разрядку напряженности», о которой так много говорили и которая, как кажется, сейчас переживает серьезный кризис. Не правда ли, какая странная «разрядка напряженности», в которой советская сторона не только не стремится к сглаживанию идеологической напряженности, к терпимости, а напротив, всячески поощряет идеологическую борьбу. И эта борьба, как уверяет Брежнев, не должна ослабевать ни на минуту. В чем же тогда «разрядка»? В том, чтобы Европа распахнула все двери для коммунистической пропаганды, в то время как Советский Союз останется за бронированной стеной. И я не вижу другого смысла осуществления подобной разрядки, как лишь максимальное ослабление, идеологическое и духовное, Европы.

Тут бы я хотел заметить, что левой и коммунистической пропаганде, и теоретически, и практически, удалось создать благоприятные условия для возможности такой односторонней «разрядки» прежде всего многолетней борьбой с американцами. Нам свойственно ненавидеть людей, которые нам помогли. Американцы дважды спасали Европу. Они и сейчас остаются единственной реальной силой свободы, реальной поддержкой Европы. И я буду рассматривать уход американцев как большое поражение Европы, если эта «разрядка напряженности» и нынешний президент США вынудят их уйти. Вот вам еще одна победа идеологической пропаганды: никто и никогда не упрекает Советский Союз за пакт с гитлеровской Германией (Мо-

лотова-Риббентропа), но зато охотно и по всяким поводам вспоминают агрессию США.

В о п р о с. Для многих представителей русской культуры, недавно покинувших Советский Союз, был неожиданным и весьма болезненным открытием тот факт, что западная интеллигенция в подавляющем своем большинстве оказалась сильно сочувствующей коммунистическим идеям, советскому тоталитарному режиму, и не только сочувствующей, но и стремящейся его оправдать и возвеличить. Чем вы объясняете это явление?

О т в е т. Разумеется, прежде всего — марксизмом. Европейские левые круги — это та интеллигентная буржуазия, которая обладает тем, что я называю «дурной совестью». Буржуазия — удивительная генерация людей, у которой издавна был какой-то инстинкт самоуничтожения. Самым большим критиком буржуазии была всегда буржуазия. Самые значительные антибуржуазные писатели были из буржуазной среды — Бальзак, Бодлер, Золя. Из этой же среды был и Маркс. Неверно было бы думать, что усилия буржуазной интеллигенции действительно направлены на улучшение жизни трудящегося. Теперь, когда реальное положение дел показало несостоятельность большинства марксистских предсказаний, изменилось и отношение буржуазии к марксизму. Судите сами: социальное положение рабочего в капиталистическом мире резко переменялось, он работает не четырнадцать часов, а семь-восемь, существуют профсоюзы, защищающие его права, статут социального обеспечения, гораздо более развитый и высокий, чем в социалистических странах, забастовки, которые там не существуют. И энергия буржуазного интеллигента направляется в другую сторону — внутрь своего же класса: мелкая буржуазия выступает против крупной, хотя руководствуется якобы идеями социальной справедливости. Вот это я и называю «дурной совестью».

Марксизм перестал быть для них экономической доктриной, он стал вроде религиозного исповедания, в их отношении к марксизму есть что-то мистическое. И из Европы, где никто их не преследует за исповедание марксизма, Москва им представляется этакой идеологической Меккой, в марксистском духе абсолютно непогрешимой. Поэтому сколько бы ни писалось о лагерях, репрессиях против инакомыслящих, отсутствии свободы печати и других гражданских прав в Советском Союзе, они глухи и слепы.

В о п р о с. Г-н Ионеско, считаете ли Вы, что духовное пробуждение России, которое выразилось в появлении таких людей, как Сахаров, Солженицын, в движении инакомыслящих, в национально-религиозных движениях и, конечно, в разочаровании в марксизме, может оказать влияние на дух мыслящей Европы?

О т в е т. Когда в шестьдесят седьмом году я писал в «Фигаро литерер» по поводу пятидесятилетия советской власти, что мы отмечаем полвека страха, ненависти, геноцида, преступлений, то левые газеты меня называли грязным реакционером и фашистом. Но вот прошло какое-то время, всего восемь лет, и как мне кажется, некоторые круги западной интеллигенции приходят к какому-то прояснению, их левизна начинает заметно исчезать. Конечно, события в России сильно этому способствовали. Огромную заслугу в этом я вижу Солженицына, который действительно великий человек. Он принес на Запад правду, необходимую нам всем. И не только Солженицын — другие русские писатели, такие, как Максимов, такие свидетели, как Кузнецов, Панин, нам многое открыли. В этом свидетельстве о правде большое значение и вашего журнала.

В о п р о с. Что Вы думаете о роли религии в современном мире?

О т в е т. Я думаю, что эта роль, как и сегодня,

так и всегда, имеет огромное значение. Я знаю, что в Восточной Европе, в странах социалистического лагеря происходит глубокое религиозное обновление, появляется новое религиозное сознание. Это обновление захватывает широкие круги. Церкви переполнены, в них много молодежи.

То, что мы видим на Западе, и в частности, во Франции — не особенно утешительно. Религия во Франции вырождается, она теряет свою сакральность, секуляризируется, поглощается марксизмом. Очень широки круги левых католиков, о которых можно было бы сказать, что они гораздо более левые, чем католики. Во всяком случае, полувековой русский опыт религиозного сопротивления, борьбы за духовные ценности, на Запад проник еще мало.

В о п р о с. Какие писатели, на Ваш взгляд, оказали на Вас влияние?

О т в е т. Я могу назвать нескольких, которых я знаю, люблю, и часто перечитываю. Это Флобер, Пруст, Кафка, Достоевский, Боргезе.

В о п р о с. А из новейших писателей?

О т в е т. Думаю, что никто. На мой взгляд, нынешняя литература в значительной степени, если можно так выразиться, обезврежена. Литература двадцатого века покоится на Кафке, Джойсе, Прусте и Фолкнере, и, с некоторыми оговорками, Селине. И все, что было после них, в сущности является лишь освоением этой литературы. В истории культуры всегда бывают скачки: накопления и освоения. То же самое было и с живописью: после импрессионизма, давшего новую эстетику и мироощущение, шло поглощение, освоение этой живописи, пока Клее, Кандинский, Мондриан не придали ему новый эстетический разгон, новый принцип.

Но о современной русской литературе я хочу сказать особо. Как мне кажется, мы еще не знали такой литературы, в которой бы документ и искусство со-

седствовали рядом. Это литература документа, литература человеческой правды. О ней нельзя говорить в обычных эстетических категориях, как о хорошей или плохой, когда за ее каждое слово писателя ожидает каторга, тюрьма или психбольница. Для нее нужны другие оценки. Писать в России — это героизм. Писать — это почти приближаться к святости. Когда Солженицын нам рассказывает о том, что он пережил на дне дантовского ада, мы чувствуем, что здесь не только литература, но сама истина. И этот поиск истины отличает таких замечательных писателей, как Солженицын, Пастернак, Мандельштам, Ахматова. Вот как я хотел бы определить современную русскую литературу — она движется, имея в виду не литературные или эстетические задачи, а истину. Правду. Свидетельство. Я должен сказать, что я чувствую большое уважение к русским писателям.

В о п р о с. Какие Ваши литературные планы на ближайшее будущее?

О т в е т. Сейчас я ставлю пьесу, которая на днях должна появиться в издательстве «Галлимар». Она называется «Человек с чемоданами». Но прежде чем вы ее увидите или прочтете, я хочу вам сказать одну важную для меня вещь. Я думаю, что сейчас уже недостаточно сарказма, тяжелого сарказма, от которого часто смех холодеет на губах. И я обязан становиться все более и более патетическим. Мне повезло — или не повезло — и я никогда не был на каторге, поэтому то, что я могу о ней сказать, будет менее глубоко, менее исторично, чем у свидетелей каторги. Но это не значит, что я не могу говорить о несчастьи других — наша история все больше и больше становится ожиданием жалости и милосердия...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Анатолий Гладилин — Тигр переходит улицу. Рассказ	5
Иосиф Бродский — Колыбельная Трескового мыса. Поэма	25
Иржи Гохман — Чешский хэппенинг. Роман	37
Иван Елагин — Цирк. Стихотворение	89
Василий Гроссман — Жизнь и судьба	95

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Давид Анин — К столетию народничества	113
Ефим Эткинд — Наши присяжные	152
Яков Виньковецкий — Письмо из России в Россию	183

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Эдуард Штейн — О «математике» души и «музыке интеллекта» эстонского народа	219
Эмиль Моргевич — Письмо о польских тюрьмах	232

ЗАПАД — ВОСТОК

Андрей Сахаров — Мир через полвека	241

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

о. Павел Флоренский — Троице-Сергиева Лавра и Россия	257
Василий Розанов — Из «Последних листьев». Публикация Л. Флейшмана	281

ИСТОКИ

Николас Бетелл — Последняя тайна (<i>Окончание</i>)	289
Йозеф Смрковский — Неоконченный разговор	312
Людек Пахман — Послесловие к политическому завещанию Й. Смрковского	327

ИСКУССТВО

Игорь Голомшток — Язык искусства при тоталитаризме 331

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Виолетта Иверни — «Соцреализм с человеческим лицом» 393

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Опять о Сахарове 419

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Лешек Колаковский — На полях последней книги Сахарова 421

Лидия Чуковская — Полумертвая и немая 430

НАША АНКЕТА

Беседа с Эженом Ионеско 437



Континент

**Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском**

В журнале печатаются:

Раймон Арон, Евгений Барабанов, Иосиф Бродский, Александр Галич, Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Игорь Голомшток, Милован Джилас, Эжен Ионеско, Лешек Колаковский, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Леопольд Лабедз, Джордж Мини, Виктор Некрасов, Людек Пахман, Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Странник, Иозеф Чапский, Лидия Чуковская, Зинаида Шаховская, Александр Шмеман, Карл-Густав Штрём, Ефим Эткинд и другие авторы.

**На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы**

**Главный редактор журнала
Владимир М а к с и м о в**

**Цена номера в розничной продаже - 12 нем. марок
Стоимость подписки на год - 40 нем. марок
Пересылка за счет подписчика**

ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК



ГОД ИЗДАНИЯ 38-й
№ 44 (1806)
29 октября 1975 г.

№ 44 (1806)

— 735 —

Ст. 713

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

713 О лишении гражданства СССР Максимова В. Е.

Учитывая, что Максимов В. Е. систематически совершает действия, наносящие ущерб престижу Союза ССР и не совместимые с принадлежностью к советскому гражданству, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» за действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить 'гражданства СССР Максимова Владимира Емельяновича, 1932 года рождения, уроженца гор. Ленинграда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 30 января 1975 г.

№ 947—IX.
